

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2015

№ 5 (37)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук", Высшей аттестационной комиссии



***Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

***Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

***Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Дж.Ф. Бейлин Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

***Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)

M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Алексеева А.А. Отзывы пациентов родильных домов Новосибирска и Лондона: репрезентация оценки (на материале сайтов flamp.ru и nhs.uk).....	5
Антипов А.Г. Формантная подсистема деривационной морфемии русских говоров в морфонологическом аспекте	26
Баркович А.А. Функциональность диады «коммуникационный – коммуникативный»: дискурсивный аспект	37
Блохинская А.В. Славянская составляющая современной языковой ситуации в Приамурье	53
Колоколова Л.П. Ключевые слова в функционально-когнитивной сфере «Жизнь человека».....	60
Меркулова Э.Н. О лингвистическом статусе и некоторых речевых функциях английской дублетной ксенолексики в русском языке.....	73
Нестерова Н.Г. Радиотекст как гипертекст	89
Орлова Н.В. Субъекты картины мира в современных российских журналах «для самых маленьких».....	100
Тубалова И.В. Стиль личностно-ориентированных дискурсов как сфера проникновения инодискурсивных стилевых влияний.....	108

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Айзикова И.А. Образ Палестины в творчестве В.А. Жуковского. Статья первая	124
Костецкая Е.В. Поэтика пространства в очерковой прозе «Тобольских губернских ведомостей» (1850–1860-е гг.).....	145
Мельникова С.В. Пространство «духовного глада» и апостольского подвига: образ Сибири в мемуарах дореволюционного православного духовенства	157
Туляков Д.С. Уиндем Льюис – критик модернизма.....	172
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	185

CONTENTS

LINGUISTICS

Alekseeva A.A. Reviews by patients of Novosibirsk and London maternity hospitals (on the material of flamp.ru and nhs.uk).....	5
Antipov A.G. Formant subsystem of derivational morphemics of Russian dialects in the morphonological aspect.....	26
Barkovich A.A. Functionality of the “communicational–communicative” dyad: discursive aspect.....	37
Blokhinskaya A.V. The Slavic component of the modern language situation in the Amur region	53
Kolokolova L.P. Key words in the functional-cognitive sphere “Man’s Life”	60
Merkulova E.N. On the linguistic status and speech functions of English xenolexis which has its doublets in the Russian language	73
Nesterova N.G. Radio text as a hypertext.....	89
Orlova N.V. Subjects of the picture of the world in modern Russian magazines “for the youngest”	100
Tubalova I.V. The style of personality-oriented discourses as a sphere of stylistic influence of other discourses	108

LITERATURE STUDIES

Ayzikova I.A. The image of Palestine in the works of V.A. Zhukovsky (Article I).....	124
Kostetskaya E.V. The poetics of space in the prose essays of <i>Tobolsk Provincial Bulletin</i> (1850s–1860s)	145
Melnikova S.V. The space of “spiritual hunger” and of apostolic heroic deed: image of Siberia in memoirs of pre-revolutionary Orthodox clergy	157
Tulyakov D.S. Wyndham Lewis the critic of modernism	172
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	185

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1 + 811.111
DOI 10.17223/19986645/37/1

А.А. Алексеева

ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ НОВОСИБИРСКА И ЛОНДОНА: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОЦЕНКИ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ FLAMP.RU И NHS.UK)

В статье анализируются языковые средства выражения оценки, которые использовались в отзывах о родильных домах Новосибирска и Лондона. Делается вывод о принципиальном сходстве в репрезентации оценок в отзывах на русском и английском языках: наиболее часто роддома оцениваются с точки зрения этичности/неэтичности поведения персонала, самым распространенным средством выражения оценки являются слова аксиологической семантики, хотя наряду с ними используются также и другие лексические, а также фразеологические, морфологические и синтаксические средства.

Ключевые слова: оценка, классификация оценок, слова аксиологической семантики, отзывы, наивный медицинский дискурс.

Оценка окружающей человека действительности – неотъемлемая часть ежедневного познания мира. Оценивание различных объектов действительности и событий проявляется в различных устных и письменных текстах. Исследование оценки с точки зрения лингвистики порождает, в частности, вопросы о том, в чем состоят сходство и различия в выражении оценки в тех или иных типах дискурса, насколько сильно зависят особенности этого выражения от конкретного языка.

Довольно любопытным в этом отношении является сравнительно недавнее совместное исследование математиков нескольких стран, результаты которого нашли отражение в статье «Human language reveals a universal positivity bias» [1]. В ходе анализа на материале 24 корпусов 10 различных языков (причем под корпусом в этой работе понимались самые разные ресурсы, такие как Твиттер, тексты песен и т.д.) было отобрано 100 000 слов, которые затем предлагались носителям этих языков для оценивания по «шкале счастья» [1. С. 2389]. Главный вывод, к которому пришли исследователи, состоит в том, что любой человеческий язык демонстрирует тенденцию к позитивному оцениванию действительности; тем самым была доказана так называемая гипотеза Поллианны, выдвинутая в 1969 г. К. Бюхером и Ч. Осгудом. Однако при всей кажущейся объективности результатов, полученных посредством использования больших данных (big data), возникает вопрос о том, правомерно ли не учитывать контексты употребления слов, взятых для анализа. Этот вопрос мы задавали первому автору статьи в электронном письме, но, к сожалению, так и не получили на него ответа. Кроме того, в исследова-

нии никак не затрагивалась проблема этнокультурной специфики оценки – результаты представлены как общие для абсолютно разных языков и культур.

Между тем многочисленные исследования показывают, что категория оценки, будучи универсальной языковой категорией, все же обладает этнокультурной спецификой: «В разных цивилизациях и в разные эпохи понятия добра и зла, отрицательного и положительного мыслятся неодинаково. Члены одного общества расценивают одно и то же явление индивидуально, хотя существует общепринятая точка зрения <...>» [2. С. 39]. Различия в категории оценки связаны с различиями ценностных ориентиров: существуют и противопоставляются «ценности индивидуальные (персональные, авторские), микрогрупповые (например, в семье, между близкими друзьями), макрогрупповые (социальные, ролевые, статусные и др.), этнические и общечеловеческие» [3]. При изучении ценностной картины мира В.И. Карасик исходит из того, что в языке она «реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с юридическими, религиозными, моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными фольклорными и известными литературными сюжетами» и что «между оценочными суждениями наблюдаются отношения включения и ассоциативного пересечения, в результате чего можно установить ценностные парадигмы соответствующей культуры» [Там же].

Так, Л.А. Сергеева, сравнивая ценностное отношение к миру у русских и чехов и отмечая сходства в этом отношении (например, наличие общих оценочных архетипов «отрицательное – отрицательно» и «свой/чужой», сходство в интерпретации пространства и количества), находит и ряд различий: в чешском языке более широко представлен критерий утилитарности оценок; человек и его моральные качества оцениваются с позиций разума, сознания, реже – чувства, причем эти две черты ценностной картины мира сближают чешскую лингвокультуру с немецкой [4].

Этнокультурная специфика проявляется на уровне оценок базовых концептов. Например, в результате сопоставительного анализа английских и казахских паремий Н.М. Жанпейсова и А.Ж. Жумаханова пришли к выводу, что в большинстве казахских паремий выражается нейтральная оценка свободы, а большая часть английских паремий репрезентирует положительную оценку [5. С. 86]. А.А. Ставцева и Л.П. Ревенко, сравнивая фразеологизмы как средство оценки интеллектуальных способностей человека в английском и русском языках, отмечают в частности, что в английском языке интеллектуальная деятельность оценивается с точки зрения ее эффективности/неэффективности, тогда как в русском языке оценивание по этому критерию не наблюдается; также в ряде английских фразеологизмов содержится количественная оценка, выражаемая семами ‘много’/‘мало’, чего не наблюдается в русском материале [6. С. 129].

Оценочность в той или иной степени свойственна всем видам дискурса, и поэтому существует достаточное количество работ, в которых анализируются особенности репрезентации оценки в различных дискурсах. В условиях ограниченного объема данной статьи, а также ввиду того, что подвидов персонального и институционального дискурсов довольно много, мы не можем рассмотреть особенности репрезентации оценки в каждом из них. Поэтому

остановимся для примера на особенностях оценочной категории рекламного, научного и политического дискурса, для того чтобы впоследствии сравнить эти особенности со спецификой вербализации оценки в рассматриваемом нами дискурсе.

Исследователи рекламного дискурса сходятся во мнении, что основная его черта – это использование авторами различных средств вербализации положительной оценки. Е.Ю. Ильинова отмечает, что «главная стратегия внушения в РТ [рекламном тексте] – это навязывание позитивной оценки. Она задается изначально и остается неизменной на всем протяжении текста» [7. С. 48]. Для рекламы характерно использование относительной оценки, предполагающей оценивание одного товара или услуги через сопоставление с другим с выводом о превосходстве первого, а также всеобщей оценки, подразумевающей опору на традиционные ценностные доминанты дискурса (для рекламы это этические и эстетические нормы) [Там же. С. 48–49]. Н.А. Андримонова, И.Я. Балабанова отмечают, что в рекламном дискурсе частотны «как общеоценочные лексемы, специально акцентирующие в высшей степени положительную оценку товара, так и те, которые качественно дифференцируют товар. Оценочность как категориальное свойство рекламного текста представлена в нем многопланово и дифференцируется по ряду параметров – оценка товара (общая и частная), оценка адресата с учетом ценностных категорий (красота, здоровье, комфорт и т.д.)» [8. С. 148]. Э.В. Булатова отмечает, что оценка в рекламном дискурсе может проявляться в виде семы, и тогда она претендует на объективность, четче осознается адресатом [9. С. 17]. Исследователь также указывает на такие свойства оценки в данном типе дискурса, как трансформация оценочного значения слов под влиянием контекста и способность принимать участие в метафоризации [Там же]. Л.А. Кочетова провела интересное диахронное количественное исследование оценочности рекламного дискурса и пришла к выводу, что на рубеже XX–XXI вв. по сравнению с доиндустриальным периодом (XVIII–XIX вв.) в рекламном дискурсе уменьшилось общее количество прилагательных, выражающих положительную оценку, а также прилагательных в превосходной степени, «что совпадает с усилением значимости информативной тональности рекламного текста, вызванной стремлением к объективности рекламного сообщения, и предполагает, соответственно, отказ от субъективности» [10. Сер. 2. С. 106].

Политический дискурс в отличие от рекламного очень часто ориентирован на трансляцию отрицательной оценки, поскольку ему присуща полемичность, «театрализованная агрессия», направленная «на внушение отрицательного отношения к политическим противникам говорящего, на навязывание (в качестве наиболее естественных и бесспорных) иных ценностей и оценок» [11]. Именно поэтому в политическом дискурсе разных лингвокультур столь важна вербализация архетипа «свой/чужой». Так, Н.А. Левковская утверждает, что концептуальная система англоязычной политической идеологии организована именно вокруг этого архетипа, «который выполняет функцию социально-политической идентификации и обуславливает выбор языковых средств, которые приобретают в тексте нужную автору оценку под влиянием формируемых стереотипов и образов» [12. С. 169]. Те же тенденции наблю-

даются, в частности, и в русскоязычном политическом дискурсе (см., например, [13. С. 6–7]. Отрицательная оценка в политическом дискурсе может выражаться морфемами, например уменьшительными и уничижительными суффиксами (*politic-ard* ‘плохой политик’ во французском, банд-юг-а, Борь-ка (о Ельцине) в русском и т.д.), а также морфологическими средствами – прилагательными в сравнительной и превосходной степени и синтаксическими – порядком слов [14. С. 9–11], но основным средством ее репрезентации является слово, причем «в контексте политического дискурса дескриптивные по исходному значению прилагательные могут получать оценочное значение и быть основой метафоры», например «оранжевая революция», «черный рынок» и т.д. [Там же. С. 10]. При этом Е.Л. Зайцева отмечает, что в русскоязычном политическом дискурсе отрицательная оценка выражается в основном эксплицитно, а во франкоязычном – имплицитно [Там же. С. 20].

Что касается научного дискурса, то, несмотря на доминирование в нем, в отличие от рассмотренных выше рекламного и политического дискурсов, информативной составляющей, ориентации на поиск, выявление, закрепление и трансляцию объективного знания, истины, ему отнюдь не чужда категория оценочности. Связано это с тем, что «научный дискурс в целом и отдельные его блоки в частности представляют собой своего рода диалог с другими учеными: автор полемизирует с ними, развивает, обобщает, дает свою интерпретацию ранее высказанным мнениям» [15. Ч. 2. С. 62]. Так, Н.В. Данилевская пишет, что «можно говорить об эвристической деятельности именно как о деятельности познавательно-оценочной» [16. С. 39] и что «оценка является несомненным фактором текстообразования. Она принимает активное участие в формировании и выражении нового научного знания» [Там же. С. 40]. Автор опирается на понятие интеллектуальной экспрессии, введенное М.Н. Кожинной, и отмечает, что этот вид экспрессии реализуется в тексте через рациональную и эмоциональную оценку и это «ведет к повышению эффективности общения, к решению его главной задачи – выражению и верификации нового научного знания в доступной (отчасти и красивой, изящной) форме» [Там же. С. 42]. Репертуар лексических средств выражения оценки в научном дискурсе является довольно ограниченным, однако он включает в себя не только рационально-оценочные единицы («интересный», «глубокий», «удачный» и т.д.), но и эмоционально-оценочные («превосходный», «блестящий» и др.), причем, по мнению Н.М. Разинкиной, «такие слова постепенно, под влиянием различных причин теряют свою яркость, превращаются в штампованное средство выражения авторской субъективной оценки» (цит. по: [Там же. С. 63]).

Объектом исследования в данной работе является так называемый наивный медицинский дискурс. Надо сказать, что медицинский дискурс уже довольно давно стал объектом изучения в зарубежной лингвистике, а отечественные языковеды активно занялись его исследованием в последние пятнадцать лет. Как отмечает В.В. Жура, на Западе устная медицинская коммуникация изучается в рамках этнографического дискурс-анализа и коверсационного анализа, которые основываются на двух подходах – процессуальном анализе и микроанализе дискурса, причем «в рамках первого подхода исследование общения врача с пациентом проводится путем его кодификации при

помощи определенного набора смысловых категорий (V. Francis, B. Korsch, D. Roter и др). Последователи второго подхода, продолжая традиции этнографического изучения речи, рассматривают способы речевой деятельности участников медицинского общения, преимущественно врачей (P. Atkinson, S. Fischer)» [17. С. 6]. Исследователи, которые занимаются конверсационным анализом, описывают устную медицинскую коммуникацию «в терминах разговорных последовательностей и смежных пар (в качестве структурных единиц), мены коммуникативных ролей <...> (J. Heritage, D. Maynard, C. West и др.)», тогда как «для этнографического дискурс-анализа устного общения в медицинской сфере <...> характерен больший интерес к широкому социальному и культурному контексту (N. Answorth-Vaughn, D. Tannen, S. Wallat и др.)» [Там же].

Работы отечественных лингвистов посвящены описанию общих характеристик медицинского дискурса в целом и отдельных его разновидностей, таких как научный, научно-популярный и наивный медицинский дискурс, а также медицинских дискурсов различных лингвокультур: Л.С. Бейлинсон [2001], Н.В. Гончаренко [2008], Е.А. Костяшина [2008], В.Б. Куриленко, М.А. Макарова, Л.Д. Логинова [2012], Л.С. Шурафина [2013], Ж.Н. Макушева, Е.Е. Руденко, А.Ю. Шубина [2015] и т.д. Ряд исследователей занимаются изучением коммуникативного поведения врачей, стратегий и тактик, реализуемых в процессе этого общения: И.С. Гаврилина [2005], М.И. Барсукова [2007], Э.В. Акаева [2007] и др. Когнитивным аспектам медицинского дискурса, в частности проблемам метафоризации, посвящены работы С.Л. Мишлановой [2002], А.Н. Усачевой [2002], С.В. Лебедевой и О.С. Зубковой [2006] и т.д. Жанры медицинского дискурса исследуются в работах Ю.В. Рудовой [2008], Л.С. Бейлинсон [2009], Е.А. Пономаренко [2015] и др.

Несмотря на большой исследовательский интерес к теме медицинского дискурса, такой его подтип, как наивный дискурс, отдельно изучается довольно редко. Кроме того, если феномен суггестивности и языковые средства суггестии медицинского дискурса исследуются повсеместно, поскольку суггестивность медицинского дискурса признается одной из основополагающих его черт, ведь «врач как носитель особого знания выступает в качестве модифицированного жреца» и «именно близость медицинского и религиозного типов дискурса ведет к значительной степени суггестивности медицинского общения врача с пациентом» [18. С. 67], то феномен оценки в применении к медицинскому дискурсу остается все еще малоизученным.

В качестве методологической основы для исследования была выбрана классификация оценочных предикатов Н.Д. Арутюновой по основанию оценки [19. С. 198]. Эта классификация, по мнению Ю.А. Фоминой, «является наиболее детальной, затрагивает ряд аспектов и позволяет: во-первых, разграничить чисто оценочные признаки («хорошо/плохо») и признаки, сочетающие оценочный смысл с дескриптивным; во-вторых, определить характер дескриптивного признака (сенсорно-вкусовой, утилитарный и т.д.); в-третьих, проследить уровень эмоционального / рационального в частных оценках (в сенсорных оценках будет выше уровень эмоционального, нежели рационального)» [20. С. 154]. Соглашаясь с Н.В. Сердобольской и С.Ю. Толдовой в том, что «классификация, предлагаемая Н.Д. Арутюновой, в значитель-

ной степени ориентирована на оценку объекта, а не ситуации» [21. С. 436], мы рассматриваем типы оценок, выделенные Н.Д. Арутюновой, применительно к любым единицам языка, поскольку в анализируемом нами материале нередко встречается именно оценка ситуации родовспоможения и ухода за роженицей и ее ребенком, а не отдельных конкретных объектов.

В ходе пилотного исследования было проанализировано 40 отзывов на русском и английском языках (по 20 на каждом из них), отобранных методом сплошной выборки. В общей сложности эти микротексты насчитывают 40 396 знаков с пробелами. Были собраны отзывы о трех роддомах Новосибирска: муниципальном родильном доме № 4, родильном доме ЦКБ СО РАН и негосударственном родильном доме «Авиценна», а также о трех роддомах Лондона: Queen Charlotte's Hospital, The Royal London Hospital, Chelsea and Westminster Hospital.

Для начала охарактеризуем анализируемый дискурс по тем параметрам, которые были предложены В.И. Карасиком [22]: «участники, хронотоп, цели, ценности (в том числе и ключевой концепт), стратегии, материал (тематика), разновидности и жанры, прецедентные (культурогенные) тексты, дискурсивные формулы».

О.С. Макарова и А.К. Устюжанинова в статье «Критика медицинского сообщества в блогосфере» отмечают, что этот тип дискурса «создается как специалистами, так и неспециалистами для наивного адресата (т.е. неспециалиста)» [23. Т. 13. С. 137]. Специфика нашего исследования, материалом для которого послужили тексты отзывов на родильные дома Новосибирска и Лондона, оставленные соответственно на сайтах flamp.ru и nhs.uk, состоит в том, что исследуемый дискурс является «двусторонне наивным»: отзывы оставляют неспециалисты в основном для таких же неспециалистов, хотя данный сайт вполне допускает обратную связь со стороны представителей тех заведений, отзывы на которые оставляют клиенты.

Хронотоп наивного медицинского дискурса в принципе не ограничен рамками конкретных заведений и не регламентирован по времени, поскольку общение между пациентами, обмен мнениями, впечатлениями о тех или иных врачах, больницах, лекарственных препаратах и т.д. может происходить не только в стенах медицинских учреждений, но и в любом другом месте, а также в любое время и быть любым по длительности. Специфика дискурса, анализируемого нами в рамках данного исследования, состоит в том, что его хронотоп – это интернет-пространство, в котором обмен информацией и мнениями (что, кстати, является целью данного дискурса) может происходить между людьми, находящимися не только в любых частях обозначенных городов (Новосибирска и Лондона), но и за их пределами.

Ценностями этого дискурса являются «информация из первых рук», культура письменной речи, проявляющаяся прежде всего в четкости, ясности, лаконичности изложения. Эти ценности, разумеется, нигде не зафиксированы, но подразумеваются по умолчанию. Если говорить о сайте flamp.ru, то он предполагает поощрения за количество отзывов – так называемые «награды». Так, награда «Писатель» дается за 15 написанных отзывов, «Гуру» – за 50 отзывов, «Экспресс-вкус» – за 3 отзыва в рубрике «Доставка еды», «Путешественник» – за 3 отзыва о местах в неродном городе или городах и т.д.

Ключевыми концептами дискурса можно назвать «опыт», «впечатление», «мнение».

Основными стратегиями данного дискурса являются информативная, а также стратегия убеждения (в первую очередь потенциальных пациентов, но также и представителей медучреждений, о которых оставляются отзывы). Кроме того, можно выделить стратегию похвалы и расспроса. В данном дискурсе используются и конфронтационные стратегии – обвинение (прежде всего представителей медучреждений, но иногда и пациентов в вербальной агрессии, «необъективности» отзыва), и связанная с ним стратегия дискредитации, реализующаяся, в частности, с помощью тактики наклеивания ярлыков. Помимо стратегий можно выделить также различные тактики, например тактику совета, рекомендации.

Тематика наивного медицинского дискурса охватывает широкий круг проблем, связанных с медициной, а в анализируемом нами материале это вопросы, связанные с родоразрешением, а также дородовым и послеродовым наблюдением за женщиной и уходом за новорожденным.

Наивный медицинский дискурс может быть представлен различными устными и письменными жанрами, например беседой, записью в блоге и т.д., однако мы анализировали один конкретный жанр отзыва на сайте, в связке с которым часто идут треды – «письменные полилоги, которые образуются в процессе общения коммуникантов в онлайн-дневнике, публикации сообщений (постов, постингов)» [24. С. 151].

Интертекстуальность не очень характерна для данного типа дискурса, хотя некоторые ее элементы все же можно встретить: это могут быть цитаты из песен, фильмов, литературных произведений, интегрированные в текст отзыва для придания ему большей экспрессивности.

Дискурсивные формулы включают в себя, прежде всего, различные способы вербализации оценки, которые будут детально проанализированы ниже. Кроме того, дискурсивные формулы связаны с конкретными стратегиями и тактиками, избираемыми авторами отзывов. Например, тактика благодарности предполагает следующие клише: «благодарю за...», «(большое/огромное) спасибо за ...», «хочется поблагодарить (кого) за (что)», «отдельные слова благодарности хочу сказать ...» и т.д. Тактика совета реализуется в таких речевых формулах, как «всем советую (этот роддом, этого врача)», «не ходите (в этот роддом, к этому врачу)» и т.д.

1. Репрезентация общей оценки

Отметим прежде всего, что к числу слов с общеоценочными значениями Н. Д. Арутюнова относит прилагательные «хороший» и «плохой», а также их разнообразные синонимы (прекрасный, превосходный, дурной, поганый и др.), и все они «выражают холическую оценку, аксиологический итог» [19. С. 198].

В отзывах на новосибирские роддома общая оценка репрезентируется в основном с помощью прилагательных и производных от них наречий («хороший» – «хорошо», «замечательный» – «замечательно», «отличный», «прекрасный», «отменный», «великолепный», «идеально», «неплохой», «нор-

мальный»): «отлично приняли»¹, «Общее впечатление от родов и от роддома осталось *хорошее!*» и т.д. В ряде случаев использовалось наречие «не очень» в роли определения: «питание *не очень*», «кормят, конечно, *не очень*».

Существительные, выражающие общую оценку, используются в переносном значении, причем степень образности в некоторых из них ощущается довольно слабо («молодец», «прелесть», «чудо», «плюс»), а в других – сильнее: «*обходите* данный роддом за 100 км!», «послеродовому отделению в 2008 *твердая двойка*», «родовому отделению *твердая пятерка*», «*Снимаю одну звезду* за еду». Отметим, что использование таких существительных, как «плюс», «минус», «тройка», «пятерка», «звезда» и т.д., обусловлено спецификой самого сайта, на котором нужно ставить оценки, графически это выражается в количестве звездочек возле отзыва.

В отдельных случаях общая оценка репрезентируется с помощью фразеологизмов: «Роды здесь обходятся недешево, но *это стоит того*». Иногда она передана целым предложением. Так, фраза «Видимо, я не из тех людей, которые будут вами восхищаться из-за того, что мы ушли от вас живыми и почти здоровыми» представляет собой по сути сплав эвфемизма и иронии, транслирующий идею о том, что описываемый роддом оставил в целом отрицательное впечатление.

В отзывах на роддома Лондона общая оценка выражается похожим образом – в основном с помощью прилагательных с разной степенью интенсивности признака: «good», «fine» ‘хороший’², «great» ‘прекрасный’, «amazing» ‘потрясающий’, «wonderful» ‘чудесный’, «excellent» ‘отличный’, «best» ‘лучший’ – «appalling» ‘отвратительный’, «horrendous», «horrible» ‘ужасный’, «worst» ‘худший’. Приведем некоторые примеры: «*Great staff at the delivery suite!*» ‘Отличный персонал в родильном отделении!’, «*Staff were wonderful, especially in the birth centre*» ‘Персонал был *чудесным*, особенно в родильном отделении», «*Postnatal care for me was fine*» ‘Обо мне *хорошо* заботились в послеродовом отделении», «*We discharged ourselves early due to the horrendous level of care*» ‘Мы рано выписались из-за *отвратительного* уровня ухода’, «*It was a horrible experience*» ‘Это был *ужасный* опыт’.

Другие способы выражения оценки включали в себя гиперболы: «*I thought I was going to die there*» ‘Я думала, я там *умру*’, сравнения: «*It was worse than being in a zoo*» ‘Это было *хуже, чем в зоопарке*’, метафоры: «*I thought nightmare would finish <...>*» ‘Я думала, *кошмар* закончится <...>’, идиомы: «*Thumb up for you, guys*» ‘*Браво, ребята*’, метафоры: «*I went to hell and back during these 2 hrs*» ‘Я *побывала в аду и вернулась обратно* за эти 2 часа’. Однако подобные средства единичны.

2. Репрезентация частной психологической оценки

Поскольку рождение ребенка и пребывание в родильном доме связаны с мощнейшими эмоциональными переживаниями женщин, то неудивительно,

¹ Здесь и далее фрагменты отзывов приводятся с исправлением орфографических и пунктуационных ошибок, а также опечаток. Все остальное (стилистика, выбор слов и их порядок и т.д.) дается в исходном виде.

² Здесь и далее перевод слов и фрагментов текстов наш. – А.А.

что в отзывах довольно часто давалась психологическая (эмоциональная) оценка персонала, бытовых условий и т.д.

Необходимо сделать следующую оговорку. В классификации Н.Д. Арутюновой есть очень близкие, на наш взгляд, типы частных оценок – гедонистические, или сенсорно-вкусовые («привлекательный» – «непривлекательный», «душистый» – «зловонный»), и эмоциональные оценки, которые характеризуются осмыслением мотивов оценки («радостный» – «грустный»). Эти два типа пересекаются: так, прилагательные «приятный» – «неприятный» являются примерами как сенсорно-вкусовых, так и эмоциональных оценок. В своем исследовании мы проводили границу между сенсорно-вкусовыми и эмоциональными оценками следующим образом: слова аксиологической семантики, связанные с обозначением определенного чувства, мы расценивали как слова, выражающие эмоциональную оценку, а к категории слов с сенсорно-вкусовой оценкой относили слова, содержащие оценку с точки зрения восприятия действительности различными органами чувств – обоняния, осязания, зрения, слуха, вкуса. Иными словами, сенсорно-вкусовые оценки мы связываем с областью физического, телесного, а эмоциональные – с областью духовного.

В основном эмоциональная оценка была выражена в отзывах о новосибирских роддомах с помощью глагола «понравиться», а также прилагательного «довольный»: «*Не понравилось* то, что когда переводили в родовое отделение, никто даже не помог понести пакеты, которые я с собой собрала», «Роды принимала молодая врач с какой-то нерусской фамилией. Очень *понравилась*», «Так *понравилась* заведующая»; «Я осталась *довольна* всем», «Что касается послеродового отделения, осталась *довольной*»; «Осталась очень *довольна* роддомом». Стоит отметить, что эти слова мы рассматриваем именно как репрезентанты эмоциональной, а не общей оценки, как могло бы показаться логичным, поскольку, хотя они и выражают некую целостную оценку, но все же, на наш взгляд, больше связаны с выражением именно конкретной эмоции (радости, удовлетворения), а не «холического итога».

Встретились и другие слова разной частеречной принадлежности, выражающие эмоциональную оценку: «Рожала тоже бесплатно, о чем потом очень и *пожалела*», «Палаты в послеродовой двухместные с душем и туалетом, что очень *радует*», «По сервису послеродовому: я *в восторге!*».

Эмоциональная оценка выражается в отзывах о лондонских роддомах не очень часто, примеры фактически единичны. Среди средств, выражающих этот тип оценки, – слова соответствующей семантики: «Unfortunately, she left me *feeling upset and more anxious* than when I went in» ‘К сожалению, после ее ухода я *почувствовала себя расстроенной и более обеспокоенной*, чем тогда, когда я зашла’, «I was *really scared*» ‘Я была *очень напугана*’, «I felt *quite unsettled and shocked*» ‘Я чувствовала себя *весьма обеспокоенной и шокированной*’, «labour ward *horror*» ‘ужас в родильном отделении’, «In this lovely moment for the parents it's *so disappointing* when someone ruined it in this way» ‘Очень *печально*, когда кто-то портит такой приятный для родителей момент’. В двух случаях оценка усиливается с помощью модального глагола и сравнительной степени прилагательного: «I *couldn't have been happier*» ‘Я была на седьмом небе от счастья’ (букв. ‘Я не могла быть счастливее’), идиомы: «I

was *brought to tears*» ‘Меня довели до слез’. В большинстве случаев выражаемая оценка отрицательная.

3. Репрезентация частной этической оценки

Отношение персонала к роженицам и их детям очень важно для каждой из них. Именно поэтому большинство «аксиологически заряженных» языковых единиц выражают именно этическую оценку. Положительный полюс оценки данного типа – проявление доброты, заботы, милосердия, чуткости, внимательности; отрицательный полюс – проявление равнодушия, невнимательности и грубости.

Этическая оценка в отзывах о новосибирских роддомах репрезентируется, прежде всего, отдельными прилагательными, наречиями и существительными соответствующей семантики: «Я встретила только *доброжелательных* сотрудников», «*грубые* нянечки, врачи и даже уборщицы, «В общем, полная *доброжелательность* и ничего “криминального”. Со схватками также приняли абсолютно *доброжелательно*», «И даже уборщицы очень *вежливы*», «Я реально обалдела от такого *хамства*», «Все было *по-человечески*», «замечательная женщина, *понимающая* и *внимательная*», «разговаривала *корректно*, отвлекала беседами, а сама в это время ставила эпидуралку», «очень *чуткий* и *внимательный* специалист», «Я рожала своего сына под ее чутким контролем и *заботой*», «Ну и женщины, которые кормят, – *самые милые* люди в этом заведении)))», «Как в родовом, так и в послеродовом отделении все были *добры* и *заботливы*», «*отношение* очень *теплое*», «Вела роды и беременность Серебrenикова Елена Сергеевна – *замечательный* врач <...> и *человек*». В последнем из приведенных примеров прилагательное «замечательный», само по себе, вне контекста выражающее общую оценку, приобретает в сочетании с существительным «врач» нормативную оценку, поскольку служит для оценивания профессиональных качеств, а в сочетании со словом «человек» – этическую, так как в этом случае оцениваются моральные качества врача.

Глаголы также участвуют в выражении этической оценки, но в большинстве случаев косвенно. Рассмотрим следующий пример: «Во время родов, *утешая*, *называли зайчиком*, *терпели* мои “жарко/холодно, открыть/закрыть окно”». Слова и выражения «утешать», «называть зайчиком», «терпеть» и др. не указывают прямо на наличие у людей положительных этических качеств, однако описывают их поведение как соответствующее этическим нормам, как проявление доброты, внимательности, заботы.

Иногда репрезентация этической оценки осуществляется не только за счет слова соответствующей семантики, но также и благодаря употреблению определенной синтаксической конструкции, в частности сравнительного оборота или придаточного: «нянечки *как с младенцем* с тобой возятся», «соседка по палате до родов подхватила ОРВИ <...> так с ней носились, *как с маленькой*», «отношение было *как к своему домашнему человечку*», «И врачи, и акушерки так суетятся около тебя, *как будто ты лежишь тут одна*».

Рассмотрим другие примеры. В предложении «*Добрее* и жизнерадостней человека *я еще не видела!*» прилагательное «добрый» стоит в форме сравнительной степени, но фактически в сочетании с фразой «я еще не видела» представляют собой элитив. Усилению оценки способствует также использо-

вание риторического восклицания. В другом примере использована конструкция со сравнительной степенью прилагательного и модальным глаголом, выражающая значение желательности: «Понятно, что это моя ноша, но *могли бы быть почеловечнее*».

Рассмотрим еще один пример: «4 взрослые женщины *умудрились посмеяться* над тем, что хочу подписать сервис исключительно с мужем (так как планировали совместные роды), сказали, что *без мужика я ни на что сама не способна*». В данном случае отрицательная этическая оценка выражается в первую очередь словом «умудриться». «Большой толковый словарь» под ред. С.А. Кузнецова дает следующее определение этому слову: «Сделать что-л. нежелательное, чего легко можно было избежать» [25]. В словарном значении этот глагол, таким образом, несет отрицательную нормативную оценку, но в сочетании с глаголом «посмеяться» все же выражает именно этическую оценку: врачи отнеслись без должного понимания к желанию роженицы, хотя могли бы проявить в этом случае по крайней мере сдержанность, не унижая ее своим поведением. Более того, использование разговорно-сниженного слова «мужик» и литоты «ни на что не способна» в косвенной речи также показывает невнимательное и довольно грубое отношение к пациентке.

В некоторых случаях оценка выражается только благодаря контексту. С этой точки зрения интересен следующий пример: «У меня были тяжелые и малоэффективные роды, от меня совершенно ЗАБЕСПЛАТНО не отходили ни на шаг <...>». В данном предложении нет отдельных слов и выражений, в словарном значении несущих этическую оценку. Она репрезентируется в контексте с помощью, во-первых, наречия «забесплатно», что усиливается графическим приемом (написанием caps lock(ом)), во-вторых, фразеологизма «не отходить ни на шаг». В целом эта фраза передает следующий смысл: медперсонал оказал роженице помощь не из желания нажиться на чужой сложной ситуации, и роженица оценивает этот поступок как проявление доброты, милосердия. Иными словами, в данном случае мы имеем дело с адгерентной (речевой,okkaзиональной) оценкой.

В отзывах о лондонских роддомах самое большое внимание уделяется этическим аспектам взаимодействия медперсонала с роженицами, причем заметен явный перекоc в пользу отрицательных этических оценок: было выявлено почти в 2 раза больше контекстов, выражающих негативные оценки, по сравнению с количеством контекстов, в которых были позитивные оценки.

Наиболее частотными репрезентантами оказались, что неудивительно, прилагательные «rude» ‘грубый’ и наречие «rudely» ‘грубо’: «*Rude staff at the Royal London Hospital maternity ward*» ‘Грубый персонал в родильном отделении Royal London Hospital’, «*I was spoken to so rudely I felt compelled to leave a review on this site*» ‘Со мной разговаривали так *грубо*, что я вынуждена оставить отзыв на этом сайте’. Во многих случаях прилагательное «rude» дополняется иными прилагательными, выражающими также этическую, либо нормативную, либо психологическую (эмоциональную) оценку: «*The midwife in the delivery suite was extremely rude and unhelpful*» ‘Акушерка в родильном отделении была *очень грубой и не оказывала никакой помощи*’, «*The general staff are rude and arrogant*» ‘Администраторы *грубы и высокомерны*’, «*very rude, obnoxious staff*» ‘*очень грубый, неприятный персонал*’, «*The midwife*

was *rude and condescending*» 'Акушерка была *грубой и надменной*', «A receptionist on the delivery suite has to be *the most blatantly rude, downright nasty person ever!*» 'Администратор родильного отделения был, очевидно, *грубейшим, откровеннейшим* человеком на свете!', «The midwife we faced at the night was *the most rude and unprofessional* medical staff I have ever seen» 'Акушерка, с которой мы столкнулись ночью, была *самым грубым и непрофессиональным* медработником, которого я когда-либо встречала'. Как видно из приведенных примеров, в ряде случаев оценка усиливается за счет формы элитива (как в последних двух контекстах), а также использования времени Present Perfect в сочетании с наречием «never»: «I have never come across such *rude, arrogant and obnoxious* staff as this hospital employs» 'Я никогда не сталкивалась с такими *грубыми, высокомерными и неприятными* сотрудниками, как те, которые работают в этой больнице'.

Приведем примеры других прилагательных и существительных, участвующих в выражении негативной этической оценки: «a huge degree of *disrespect*» 'огромная степень *неуважения*', «an *unsympathetic* voice» 'голос, лишенный *соосстрадания*', «No *apologies*, no *explanation*» 'Никаких *извинений*, никаких *объяснений*', «The way they treat you is *abhorrent*» 'С тобой *гнусно* обращаются', «They were *cold* and had a *very uncaring* attitude» 'Они были *холодны* и *совершенно не проявляли заботу*'.

Для выражения или усиления этической оценки используются также идиоматические выражения: «I quickly realised that rudeness & poor administration is *part & parcel* of that hospital» 'Я быстро поняла, что грубость и плохое администрирование – это *неотъемлемая часть* этой больницы', «She <...> *rolled her eyes* at me when I asked simple questions» 'Она *закатывала глаза*, когда я задавала простые вопросы'.

В ряде контекстов этическая оценка выражается с помощью нескольких языковых средств. Рассмотрим следующий пример: «They have absolutely *no communication skills whatsoever*. They took all our questions as an offense for their knowledge and had *no* patience and time for us. *Impossible* to have a normal conversation with them. At the end we were not asking *any* questions, *this is how bad it was*» 'У них *нет совершенно никаких коммуникативных навыков*. Они воспринимали все наши вопросы так, как будто мы сомневаемся в их знаниях, и у них *не было терпения и времени для нас*. С ними *невозможно вести нормальный диалог*. В итоге мы не задавали вообще никаких вопросов – *вот насколько все было плохо*'. В данном пассаже красной нитью проходит идея полного отрицания, выражаемая местоимениями 'no', 'any', 'whatsoever', прилагательным 'impossible': «no communication skills whatsoever» 'совершенно никаких коммуникативных навыков', «had no patience and time for us» 'не было терпения и времени для нас', «impossible to have a normal conversation» 'невозможно вести нормальный диалог'.

Рассмотрим другой пример: «We received the visit of a *non-specialist* nurse who started to *criticise* what my wife was doing, and then they grabbed the towel from her hands and poured a jar of warm water that we were using into the sink without even asking!! That was really *rude*. They *should have tried* these words: "I would like to show you something different, can I..."» 'К нам пришла медсестра-*неспециалист*, которая начала *критиковать* то, что делала моя жена, и затем

она выхватила полотенце у нее из рук и без спроса вылила кувшин теплой воды, которым мы пользовались, в раковину!! Это было *очень грубо*. Ей следовало *попробовать* обратиться к нам с такими словами: “Я бы хотела показать вам, как сделать по-другому, могу ли я...””. Кроме очевидного способа выражения оценки – с помощью выражения «really rude» ‘очень грубо’, в данном случае использованы и другие средства. Сам по себе глагол «criticise» ‘критиковать’ не выражает оценку, однако в сочетании с определением медсестры, которая это делала (non-specialist ‘неспециалист’), создается образ человека-непрофессионала, который при этом высокого мнения о себе и о своих умениях и пренебрегает потребностями и желаниями пациентов. На выражение этической оценки также работает восклицательное предложение и модальный глагол «should» с перфектным инфинитивом, выражающий критику действий медсестры.

Средства выражения положительной этической оценки не столь разнообразны и в основном представлены прилагательными и существительными соответствующей семантики: «Some of the staff are very *polite* and *willing to help* and explain more» ‘Некоторые члены обслуживающего персонала очень вежливы и готовы помочь и давать больше разъяснений’, «Overall I felt *well looked after & respected*» ‘В целом я чувствовала, что обо мне *хорошо заботятся* и что меня *уважают*’, «The staff were very *sympathetic and reassuring*» ‘Персонал был настроен очень *благожелательно* и оказывал *поддержку*’, «very *nice* midwives and nurses» ‘очень *милые* акушерки и медсестры’, «everyone who cared for me and my baby did so with calm efficiency and *kindness*» ‘все, кто заботились обо мне и моем ребенке, делали это со спокойной сноровистостью и *добротой*’, «*amazing care* from doctors, midwives and nurses» ‘*потрясающая забота* со стороны докторов, акушерок и медсестер’, «From antenatal to postnatal care I had *excellent support*» ‘Начиная с предродового отделения и заканчивая послеродовым я получала *отличную поддержку*’.

4. Репрезентация частной нормативной оценки

Под нормативной оценкой понимается соответствие оцениваемого явления установленным нормам, стандартам, правилам, а также критерию истинности. Одной из рабочих гипотез исследования было предположение, что в отзывах о родильных домах должно быть много суждений, содержащих нормативную оценку, поскольку соответствие работы и поведения медперсонала, а также состояния медучреждений установленным стандартам и правилам является важным критерием при выборе определенного роддома и его оценки постфактум. Однако в проанализированных нами отзывах о новосибирских роддомах подобные оценки встречались не очень часто. В основном в них оценивается профессионализм врачей, акушерок и медсестер: «Нина Николаевна *грамотно* вела роды», «Еще хочу поблагодарить акушерку Марину, *профессионала* своего дела», «*Профессионально* врачи все сделали», «Врач у меня был Макагон А.В., настоящий *профессионал*», «Родила я не сама, а вместе с бригадой внимательных и *знающих свое дело специалистов*». В отдельных случаях оцениваются слаженность работы медперсонала и соответствие роддома санитарно-гигиеническим нормам. В этих случаях мы рассматривали такие слова, как «чистый», «грязный», «порядок», «беспорядок» и т.д. как репрезентанты нормативной оценки, поскольку чистота, порядок, слажен-

ность работы коллектива являются показателями соответствия стандартам, нормам, установленным в медицинских учреждениях: «В общем, *чистота, порядок*, огромная светлая палата, душ, везде кнопки вызова врача», «Народу очень много, но одновременно тишина и *порядок*», «В операционном зале все *четко, строго и отлажено*».

В англоязычном материале соответствие поведения медперсонала установленным стандартам и нормам характеризуется с помощью слов «professional» ‘профессиональный’, «professionalism» ‘профессионализм’, «unprofessional» ‘непрофессиональный’, «competent» ‘компетентный’, «unorganized» ‘неорганизованный’, «proper» ‘надлежащий’, «improper» ‘ненадлежащий»: «We were really impressed by the *lack of professionalism*» ‘Мы были совершенно поражены *отсутствием профессионализма*’, «*very unorganised staff all over the place*» ‘*совершенно неорганизованный персонал во всем отделении*’, «the midwives are very *competent*» ‘*акушерки очень компетентны*’, «We were lucky to be serviced by some *competent professionals*» ‘Нам повезло, что нас обслуживали несколько *компетентных профессионалов*’, «*No proper check was done*» ‘Не было сделано *должного осмотра*’. Как уже было сказано выше, нередко характеристика с точки зрения соответствия/несоответствия нормам дается параллельно с характеристикой с точки зрения этики: «She was *rude, condescending and completely unprofessional from start to finish*» ‘Она вела себя *грубо, высокомерно и абсолютно непрофессионально от начала до конца*’.

Поведение медперсонала характеризуется также и другими средствами:

– сравнениями: «This hospital is run on rules *worse than prison next door*» ‘Управление в этой больнице основывается на правилах, которые *хуже, чем в тюрьме по соседству*’;

– идиомами: «My birth was assisted by MW who never delivered baby before, and it was her 1st day in this hospital. They *had no idea* even where towels and gloves are, let alone leading me through the labour» ‘На моих родах ассистировала акушерка, которая никогда раньше не принимала роды, и это был ее первый день в этой больнице. Она *понятия не имела*, даже где лежат полотенца и перчатки, не говоря уже о том, как принимать мои роды’;

– модальными глаголами: «We *had to* call them on several occasions» ‘Нам *приходилось* звать их несколько раз’;

– конструкцией Present Continuous + наречие «always», сочетание которых передает оттенок раздражения: «They *were always running out of* one medication» ‘У них *вечно кончалось* одно лекарство’;

– восклицательными конструкциями и иронией: «Some of them didn't bother to write down which pills were given and at what time! They were asking my wife if she remembered what was given to her and when!! *Amazing*» ‘Некоторые из них не потрудились записать, какие таблетки давались и в какое время! Они спрашивали мою жену, помнит ли она, что ей давали и когда!! *Отлично*’;

– модальными словами: «Didn't take the advice (*thankfully!!!*), got a taxi and was in hospital in 30 mins» ‘[Я] не послушала совета (*и слава богу!!!*), села в такси и была в больнице через 30 минут’.

В некоторых случаях оценка возникает лишь в контексте, как, например, в следующей фразе: «It was impossible for my wife to rest due to the noise made

by the nurses talking out loud and laughing all the time even at 3am <...> during 6 consecutive days» 'Моя жена не могла отдохнуть из-за шума, который производили медсестры, громко разговаривавшие и смеявшиеся все время, даже в 3 ночи <...> 6 дней подряд'.

Бытовые условия роддомов также подвергаются нормативной оценке, которая выражается посредством слов соответствующей семантики: «The wards are very *clean and hi-tech*» 'Отделения очень *чистые и высокотехнологичные*', «Toilets were *a bit dirty* at times, but that's to be expected in such a busy ward» 'Туалеты были *грязноватыми*, но это ожидаемо в таком оживленном отделении', «a *clean and modern hospital environment*» '*чистая и современная обстановка в больнице*'. В некоторых случаях используются гиперболы: «The noise was *deafening* 24hrs a day» 'Шум был *оглушительным* 24 часа в сутки', «We *didn't get a wink of sleep* due to the noise and overcrowding» 'Мы *глаз не сомкнули* из-за шума и переполненности', «And above all, the filth of the bathrooms on the postnatal ward was so disgusting with *blood everywhere and bins overflowing*» 'И в довершение всего грязь в туалетах в послеродовом отделении была просто отвратительной, *повсюду была кровь и переполненные мусорные корзины*'. Эмоциональности описанию также добавляют сравнения: «Felt like *having a baby in barn*» 'Было такое чувство, *будто я рожая ребенка в хлеву*', «I also appreciated that the hospital *feels like a small town rather than a hospital* <...>» 'Мне также понравилось, что больница *больше похожа на маленький городок, а не на больницу* <...>'.

5. Репрезентация частной гедонистической оценки

Гедонистическая оценка предполагает оценивание по шкале «приятно/неприятно». Данный тип оценки встретился нам лишь в трех примерах отзывов на русском языке: «Послеродовые дни я провела в очень *комфортных* условиях!», «Очень хорошо, что сейчас она работает в медцентре "Авиценна", где созданы все условия для подготовки и проведения *комфортных* родов», «кормят *вкусно*». Этот факт также оказался довольно неожиданным, поскольку удовольствие или неудовольствие от пребывания в родильном доме, которое создается комфортными/некомфортными условиями проживания, вкусной/невкусной пищей и т.д., также, по нашему мнению, должно составлять важную часть впечатления от роддома. Однако, как показало исследование, эти критерии не являются столь важными для рожениц, по крайней мере на фоне других параметров.

Таким образом, в отзывах на родильные дома прослеживаются следующие тенденции.

Наиболее часто роддома Новосибирска оцениваются с точки зрения этичности/неэтичности поведения медперсонала. Для рожениц оказываются очень важными проявление дружелюбия, доброты, заботы, внимательности, а черствость, грубость и равнодушие оцениваются крайне отрицательно. Также довольно часто роддома получают оценку, связанную с конкретными эмоциями рожениц (понравилось/не понравилось, довольна/не довольна и т.д.). Нередки и общие оценки, представляющие собой итоговое, целостное впечатление от пребывания в роддоме. В меньшей степени роддома оцениваются с точки зрения соблюдения определенных норм, соответствия стандартам. Реже всего в отзывах присутствуют гедонистические оценки. Утилитарные,

телеологические, а также интеллектуальные оценки, выделяемые в классификации Н.Д. Арутюновой, в нашем материале отсутствуют.

Репертуар языковых средств, выражающих все вышеперечисленные типы оценок, достаточно ограничен. Подавляющее большинство единиц – это слова аксиологической семантики. Намного реже встречаются метафоры, причем в основном они стерты, и фразеологизмы. Морфологические и синтаксические конструкции (элятив, модальные глаголы, сравнительные обороты и придаточные, риторические восклицания) единичны.

В отзывах на лондонские роддома представлено 4 типа оценки – общая, этическая, нормативная и психологическая (эмоциональная). В большинстве случаев выражена этическая оценка, в наименьшем количестве случаев – психологическая. Примеров отрицательной оценки больше, чем примеров положительной, т.е. отзывы пишутся скорее не для того, чтобы выразить благодарность за оказанные услуги и поделиться позитивными впечатлениями, а для того, чтобы обратить внимание руководства роддомов на недостатки этих медучреждений и отговорить потенциальных клиентов обращаться в описанные роддома.

Большая часть языковых средств, репрезентирующих оценку, – это слова аксиологической семантики. Другие средства, такие как идиоматические выражения, модальные глаголы, видо-временные конструкции, сравнения, восклицательные предложения, используются реже.

При сравнении типов и языковых средств выражения оценки в русских и английских отзывах наблюдаются в основном сходства. Как в русских, так и в английских отзывах центральное место занимает этическая оценка. Таким образом, для женщин самым важным критерием оценки является степень доброжелательности и вежливости медперсонала, его готовности помочь роженицам и поддержать их. Также довольно важным критерием является степень соответствия роддома и поведения персонала определенным стандартам, нормам, правилам, однако в намного меньшей степени, чем этичность/неэтичность поведения персонала. Кроме того, в довольно большом количестве отзывов имеет место общая оценка роддома. С точки зрения языковых средств выражения оценки можно также наблюдать определенное сходство: основным средством являются слова аксиологической семантики, а другие лексические, а также фразеологические, морфологические, синтаксические средства чаще являются дополнительными по отношению к основным и в целом встречаются реже, чем оценочные слова, особенно в русских отзывах. Еще одно сходство связано с тем, что помимо ингерентной (узальной) оценки в отзывах нередко можно встретить примеры высказываний и слов с адгерентной (окказиональной) оценкой.

Если сравнить проанализированный нами наивный медицинский дискурс с рекламным и политическим, то главное его отличие от них можно увидеть в большей сбалансированности положительных и отрицательных оценок. Как было отмечено выше, рекламному дискурсу свойственно наличие довольно большого количества положительно-оценочных суждений для привлечения внимания потенциальных клиентов, а политическому – наоборот, отрицательных, реализующих стратегию «театрализованной агрессии». В этом смысле наивный медицинский дискурс ближе к научному дискурсу, в кото-

ром в общем-то в равной степени представлены отрицательные и положительные оценки, во всяком случае выбор полюсов оценки определяется конкретной стратегией автора (согласием/несогласием с другими учеными и т.д.), а не онтологическими свойствами самого дискурса как такового. Близость наивного медицинского дискурса к научному определяется еще и тем фактом, что они оба предполагают довольно ограниченный набор способов выражения оценки (в основном использование слов аксиологической семантики) в отличие от рекламного и политического дискурса, в которых наряду с оценочной лексикой широко используются метафоры, фразеологизмы, различные грамматические конструкции и другие языковые и паралингвистические средства, способные оказать определенное речевое воздействие на читателя и даже манипулировать его сознанием. Нельзя утверждать, что суггестивная функция не свойственна научному и наивному медицинскому дискурсам, однако манипулятивные цели преследуются этими дискурсами намного реже, чем рекламным и политическим.

Исследование позволило выявить ряд методологических проблем, которые являются в принципе ожидаемыми: «Несмотря на довольно широкую изученность этой категории [оценки], существует множество спорных или открытых вопросов. К таким можно отнести проблему определения границ оценочной семантики и отсутствие единой всеобъемлющей классификации оценок» [20. С. 154].

В некоторых случаях было не совсем понятно, как интерпретировать определенные слова и выражения: выражают ли они оценку или нет, а если да, то какую? Рассмотрим предложение: «Для ребенка в *неограниченном* количестве были салфетки, памперсы». Если считать, что в этом предложении слово «неограниченный» несет в себе положительную оценку, то какого она типа? В классификации Н.Д. Арутюновой наиболее подходящим типом в данном случае, на наш взгляд, является нормативная оценка. Однако в этом случае остается открытым вопрос: с какими стандартами, нормами, правилами соотносится данное понятие – «неограниченное количество»? Можно увидеть в этом слове не качественную, а количественную оценку, т.е. оценку по шкале «много/мало». Подобная интерпретация возможна и в других случаях, например: «Роды здесь обходятся *недешево*». Однако есть и такие случаи, которые не укладываются в рамки классификации качественных оценок и при этом не могут быть интерпретированы как количественные. По нашим наблюдениям, причем не только на представленном в данной статье материале, подобными неоднозначными словами являются лексические единицы со значением скорости: «Если что-то не получается, можно вызвать девушек из детского – *махом* подойдут, помогут», «Ценник *шибко быстро* растет» и т.д. В первом из приведенных предложений слово «махом», возможно, следует считать средством выражения нормативной или этической оценки, поскольку оно отражает идею о том, что медперсонал готов прийти на помощь и что его действия соответствуют стандартам (возможно, даже превышают их). Во втором предложении словосочетание «шибко быстро» тоже можно интерпретировать как средство выражения нормативной оценки. Однако тут возникает вопрос: каковы ориентиры для этой нормы? Можно ли сказать, что медленно растущие цены – это норма, некий стандарт?

Данное пилотное исследование предполагается продолжить на материале отзывов на заведения разных типов (театров, музеев, салонов красоты, авто-салонов и т.д.), для того чтобы выявить специфику выражения оценки в каждом из случаев с учетом, в частности, гендерных различий авторов отзывов.

Литература

1. Peter Sheridan Dodds, Eric M. Clark et al. Human language reveals a universal positivity bias In PNAS 2015 112 (8). P. 2389–2394.
2. Соколова М.А. Выражение признаков интеллекта фразеологизмами русского языка (на фоне испанского языка): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1995. 186 с.
3. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. С. 166–205. [Электронная версия]. <http://philologos.narod.ru/ling/karasik.htm> (дата обращения: 17.08.2015).
4. Сергеева Л.А. Ценностный аспект языкового сознания (по данным русского и чешского языков). Электронная версия: www.rusoil.net/pages/3411/sergeeva.doc (дата обращения: 17.08.2015).
5. Жанпеисова Н.М., Жумаханова А.Ж. Концепт СВОБОДА в английской, русской и казахской лингвокультурах // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по материалам XIII Междунар. науч.-практ. конф. № 6 (13). Новосибирск, 2014. С. 81–86.
6. Ставцева А.А., Ревенко Л.П. Фразеологические средства оценки интеллектуальных способностей человека в русском и английском языках // Лингвистические и методические стратегии обучения иностранцев русскому языку как средству межкультурной коммуникации: Междунар. семинар-совещание, проводимый в рамках IV Байкальского экономического форума, Иркутск, 21–23 сентября 2006 г.: материалы / науч. ред. Н.Н. Рогозная. Иркутск, 2006. С. 127–132.
7. Ильинова Е.Ю. Рекламный дискурс: ценности, образы, ассоциации // Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. М., 2011. С. 38–56.
8. Андрамонова Н.А., Балабанова И.Я. Оценочность как неотъемлемый компонент семантической структуры рекламного текста (на материале французского и русского языков) // Вестн. ТГГПУ. Филологические науки. Лингвистика. 2011. №4(26). С. 148–154.
9. Булатова Э.В. Организация эмоционально-оценочной стороны рекламного текста: лексические приемы экспрессии // Журналистика и массовые коммуникации, 2011. С. 14–22.
10. Кочетова Л.А. Динамика оценочной стратегии рекламного дискурса // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2: Языкознание. 2013. №1(17). С. 103–108.
11. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. № 3. М., 2002. С. 32–43 [Электронная версия]. <http://www.philology.ru/linguistics1/demyankov-02.htm> (дата обращения: 17.08.15).
12. Левковская Н.А. Эксплицитная и имплицитная оценочность англоязычного политического дискурса // Вестн. Москов. гос. лингв. ун-та. Сер. Языкознание. 2011. № 21(627). С. 169–177.
13. Алексеева А.А. «Крым наш»: конфликтные речевые тактики в социальной сети «ВКонтакте» // Политическая лингвистика: перспективы развития научного направления // Политическая коммуникация: перспективы развития научного направления: материалы Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 26–28 августа 2014 / гл. ред. А.П. Чудинов; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». Екатеринбург, 2014. С. 6–9.
14. Зайцева Е.Л. Выражение отрицательной оценки в политическом дискурсе (опыт сравнительно-сопоставительного исследования российских и французских печатных средств массовой информации): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Чебоксары, 2006. 25 с.
15. Геляева А.И., Макитова Т.Т. Репрезентация согласия как специфической дискурсивной категории (на материале научных монографий) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014. № 11 (41): в 2 ч. Ч. 2. С. 62–64.
16. Данилевская Н.В. Об особом статусе оценки в научном тексте // Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 2 (22). С. 37–43.
17. Жура В.В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском общении: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2008. 40 с.

18. Шуравина Л.С. Медицинский дискурс как тип институционального дискурса // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86. С. 65–67.
19. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд. М., 1999. 896 с.
20. Фомина Ю.А. Аспекты изучения языковой оценки // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2007. № 20. С. 154–161.
21. Сердобольская Н.В., Толдова С.Ю. Оценочные предикаты: тип оценки и синтаксис конструкции // Диалог 2005: Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии, Звенигород, 1–6 июня 2002 г. М., 2005. С. 436–443.
22. Карасик В.И. О типах дискурса. Электронная версия. <http://rus-lang.isu.ru/education/discipline/philology/disrurs/material/material2/> (дата обращения: 17.08.15).
23. Макарова О.С., Устюжанина А.К. Критика медицинского сообщества в блогосфере // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 6: Журналистика. С. 137–142.
24. Гермашева Т.М. Исследование лингвистических и паралингвистических характеристик блог-дискурса // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2010. Вып. 126. С. 150–155.
25. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова: доступ на сайте gramota.ru (дата обращения: 17.08.15).

**REVIEWS BY PATIENTS OF NOVOSIBIRSK AND LONDON MATERNITY HOSPITALS
(ON THE MATERIAL OF flamp.ru AND nhs.uk).**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp 5–25.

DOI 10.17223/19986645/37/1

Alekseeva Alina A., Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: alina.alekseeva@gmail.com

Keywords: evaluation, classification of evaluation, words with axiological meaning, reviews, naïve medical discourse, flamp.ru, nhs.uk.

The article is written in the framework of discourse linguistics. The object of analysis is naïve medical discourse which is created by non-specialists in medicine, first of all, for non-specialists, but also for medical institutions representatives. The analysis of this discourse is given in the article. This analysis is carried out according to the scheme elaborated by V.I. Karasik. The article deals with language means of evaluation expression which are used in the reviews of maternity hospitals of Novosibirsk and London left on two websites – flamp.ru and nhs.uk. The novelty of the research is determined, firstly, by the novelty of the source of material and, secondly, by the comparative aspect of the work. Research in discourse linguistics, connected with medical discourse in particular, works on the general evaluation theory and its ethno-cultural specifics and the study of evaluation in various types of discourse serve as the methodological basis of the present research. For the analysis of the empirical material the classification by the reason of evaluation made by N.D. Arutyunova was used. However, in the present paper the types of evaluation described in Arutyunova's classification are used as applied to any language unit, not only evaluative predicates. On the basis of 40 reviews analysis (20 microtexts in Russian and 20 microtexts in English), a conclusion about the fundamental similarity in evaluation representation in Russian and English reviews was made. Most often maternity hospitals are evaluated from the point of view of ethics in staff's actions; thus, for parturient women the degree of kindness, politeness of the staff, their willingness to help play an important role. Also, rather often maternity hospitals are evaluated from the point of view of complying with norms and meeting standards, and one can also see general evaluation of a maternity hospital in many of the reviews. The most widely spread means of evaluation expression are words with axiological meaning belonging to different parts of speech (adjectives, adverbs, nouns and verbs), although some other lexical and phraseological, morphological and syntactic means are also used. Moreover, in the reviews of London maternity hospitals such means are more diverse and more frequent. In both Russian and English reviews words and expressions with inherent and adherent evaluation are used. The possibility of making a comparative analysis of language means of evaluation representation in various discourses and on the material of other languages is considered as a promising direction of further research.

References

1. Dodds, P.S. et al. (2015) Human language reveals a universal positivity bias. *PNAS*. 112 (8). pp. 2389–2394.
2. Sokolova, M.A. (1995) *Vyrazhenie priznakov intellekta frazeologizmami russkogo yazyka* (na

fone ispanskogo yazyka) [Expression of signs of intelligence by phraseology of the Russian language (in the background of the Spanish language)]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.

3. Karasik, V.I. (2002) Kul'turnye dominanty v yazyke [Cultural dominants in language]. In: Karasik, V.I. *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Linguistic Circle: Personality, Concepts, Discourse]. Volgograd: Peremena. [Online]. Available from: <http://philologos.narod.ru/ling/karasik.htm>. (Accessed: 17th August 2015).

4. Sergeeva, L.A. (c. 2011) *Tsenkostnyy aspekt yazykovogo soznaniya (po dannym russkogo i cheshskogo yazykov)* [The value aspect of linguistic consciousness (in the Russian and Czech languages)]. [Online]. Available from: www.rusoil.net/pages/3411/sergeeva.doc. (Accessed: 17th August 2015).

5. Zhanpeisova, N.M. & Zhumakhanova, A.Zh. (2014) [The concept of freedom in English, Russian and Kazakh language cultures]. *Nauka vchera, segodnya, zavtra* [Science yesterday, today and tomorrow]. Proc. of XIII International Scientific and Practical Conference. 6 (13). Novosibirsk: SibAK. pp. 81–86. (In Russian).

6. Stavtseva, A.A. & Revenko, L.P. (2006) [Phraseology means of assessing the intellectual abilities of the person in Russian and English]. *Lingvisticheskie i metodicheskie strategii obucheniya inostrantsev russkomu yazyku kak sredstvu mezhkul'turnoy kommunikatsii* [Linguistic and methodological strategy of teaching the Russian language to foreigners as a means of intercultural communication]. Proc. of international workshop, held in the framework of the IV Baikal Economic Forum. 21–23 September 2006. Irkutsk. Irkutsk State University. pp. 127–132. (In Russian).

7. Il'inova, E.Yu. (2011) Reklamnyy diskurs: tsennosti, obrazy, assotsiatsii [Advertising discourse: values, images and associations]. In: Kolokol'tseva, T.N. (ed.) *Reklamnyy diskurs i reklamnyy tekst* [Advertising Discourse and advertising text]. Moscow: Flinta: Nauka.

8. Andramonova, N.A. & Balabanova, I.Ya. (2011) Estimation component of semantic structure of advertisement text (based on the Russian and French languages). *Vestnik TGGPU. Filologicheskie nauki. Lingvistika – Philology and Culture*. 4(26). pp. 148–154. (In Russian).

9. Bulatova, E.V. (2011) Organizatsiya emotsional'no–otsenочноy storony reklamnogo teksta: leksicheskie priemy ekspressii [Organization of emotional and evaluative parts of the advertising text: lexical expression techniques]. *Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 1, Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury*. 4(95). pp. 14–22.

10. Kochetova, L.A. (2013) Dynamics of the evaluation strategy in advertising discourse. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie – Science Journal of Volgograd State University. Linguistics*. 1(17). pp. 103–108. (In Russian).

11. Dem'yankov, V.Z. (2002) Politicheskyy diskurs kak predmet politologicheskoy filologii [Political discourse as an object of political science]. In: Gerasimov, V.I. & Il'in, M.V. (eds) *Politicheskaya nauka. Politicheskyy diskurs: Istoriya i sovremennyye issledovaniya* [Political Science Philology. Political discourse: history and modern studies]. V. 3. Moscow: RAN INION. [Online]. Available from: <http://www.philology.ru/linguistics1/demyankov-02.htm>. (Accessed: 17th August 2015).

12. Levkovskaya, N.A. (2011) Eksplitsitnaya i implitsitnaya otsenочnost' angloyazychnogo politicheskogo diskursa [Explicit and implicit evaluation potential of English-speaking political discourse]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya Yazykoznanie*. 21(627). pp. 169–177.

13. Alekseeva, A.A. (2014) [“Crimea is ours”: conflict speech tactics in Vkontakte social network]. *Politicheskaya kommunikatsiya: perspektivy razvitiya nauchnogo napravleniya* [Political communication: the prospects of development of the research field]. Proc. of the International Conference. Ekaterinburg. 26–28 August 2014. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University. pp. 6–9. (In Russian).

14. Zaytseva, E.L. (2006) *Vyrazhenie otritsatel'noy otsenki v politicheskom diskurse (opyt sravnitel'no–sopostavitel'nogo issledovaniya rossiyskikh i frantsuzskikh pechatnykh sredstv massovoy informatsii)* [Expression of negative evaluation in the political discourse (the experience of a comparative study of Russian and French printed media)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Cheboksary.

15. Gelyaeva, A.I. & Makitova, T.T. (2014) Representation of agreement as specific discursive category (by the material of scientific monographs). *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 11 (41): II. pp. 62–64. (In Russian).

16. Danilevskaya, N.V. (2013) On specific status of evaluation in scientific text. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya – Perm University Herald. Russian and Foreign Philology*. 2 (22). pp. 37–43. (In Russian).
17. Zhura, V.V. (2008) *Diskursivnaya kompetentsiya vracha v ustnom meditsinskom obshchenii* [Discourse competence of a doctor in an oral medical communication]. Abstract of Philology Cand. Diss. Volgograd.
18. Shuravina, L.S. (2013) Meditsinskiy diskurs kak tip institutsional'nogo diskursa [Medical discourse as a type of institutional discourse]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 37 (328). pp. 65–67.
19. Arutyunova, N.D. (1999) *Yazyk i mir cheloveka* [The language and the world of man]. 2nd ed. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
20. Fomina, Yu.A. (2007) Aspekty izucheniya yazykovoy otsenki [Aspects of the study of language evaluation]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 20. pp. 154–161.
21. Serdobol'skaya, N.V. & Toldova, S.Yu. (2005) [Evaluative predicates: evaluation type and construction syntax]. *Dialog 2005: Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii* [Dialogue 2005: Computational Linguistics and Intellectual Technologies]. Proc. of the Conference. Zvenigorod. 01–06 June 2002). Moscow: Nauka. pp. 436–443. (In Russian).
22. Karasik V.I. (2002) *O tipakh diskursa* [About types of discourse]. [Online]. Available from: <http://rus-lang.isu.ru/education/discipline/philology/diskurs/material/material2/>. (Accessed: 17th August 2015).
23. Makarova, O.S. & Ustyuzhanina, A.K. (2014) Health Care Professionals: Discursive Strategies in the Sceptic Blogosphere. *Vestnik NGU. Seriya: Istoriya, filologiya*. 13:6. pp. 137–142. (In Russian).
24. Germasheva, T.M. (2010) Linguistic and paralinguistic features of the blog-discourse. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science*. 126. pp. 150–155. (In Russian).
25. Kuznetsov, S.A. (ed.) (2014) *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Big Explanatory Dictionary of the Russian Language]. [Online]. Available from: <http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/>. (Accessed: 17th August 2015).

УДК 811.161.1'28 (075.8)
DOI 10.17223/19986645/37/2

А.Г. Антипов

ФОРМАНТНАЯ ПОДСИСТЕМА ДЕРИВАЦИОННОЙ МОРФЕМИКИ РУССКИХ ГОВОРОВ В МОРФОНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В статье решаются задачи морфонологического описания формантной подсистемы деривационной морфемии русских говоров, определяются особенности семантического функционирования русских формантов сложной морфонологической структуры как объект сопоставительной диалектологии русского языка. Предлагается функциональное описание формантной подсистемы в динамическом морфонологическом аспекте, связанное с моделированием формально-семантической вариантности суперморфемных единиц диалектного словообразования.

Ключевые слова: деривационная морфемика, диалектная морфонология, формантная подсистема, морфонологическая вариативность, суперморфемные форманты.

Функционирование системы русского диалектного словообразования как объект разноаспектного описания структурно-семантических особенностей производных слов позволяет моделировать подсистемы диалектного словообразования, морфемии и морфонологии (ср., например: [1–4]). В задачи данной статьи входит рассмотрение вопроса о функционировании формантной подсистемы деривационной морфемии русских говоров в аспекте её морфонологической структуры.

Современный контекст морфонологического описания формантной подсистемы связан с когнитивными экспериментами – созданием представлений о том, каким образом информация о формальных сдвигах становится востребованной в системе конструирования значения и имеются ли категориальные основания для функционального описания морфонологических моделей в системе средств языковой репрезентации. Две линии системного описания, используемые в диалектной морфонологии, развивают идеи функционального словообразования и когнитивной семантики, интегрируют морфонологические объекты в ракурсе мотивационно-деривационных функций и когнитивного моделирования [5].

Функционирование морфонологических моделей русских диалектных формантов обусловлено динамическими факторами синтагматических и парадигматических изменений посткорневой части фонологической структуры производных лексем. В этой области явлений морфемного шва реализуются процессы формального (синтагматического) взаимодействия словообразовательных морфем, отражающие специфику семантического (парадигматического) функционирования морфонологических единиц словообразовательной формы дериватов.

Системное морфонологическое описание формантной подсистемы русских говоров предполагает анализ формальной динамики структуры форман-

та, связанной с изменением характера морфемной членимости и словообразовательной мотивированности слова. Поэтому рассмотрение морфонологических моделей формантов, их функций в морфемной подсистеме русских говоров раскрывает специфику уровневого строения диалектных дериватов, системные функции морфонологических структур в номинативно-деривационном аспекте, парадигматические изменения словообразовательных морфем, влияющие на категориальное функционирование словообразовательных моделей.

Формантные модели деривации слова в русском диалектном словообразовании определяются нами в качестве особых схем морфонологической вариантности, имеющих алломорфную природу, функционирующих по образцу редупликационных моделей и выступающих в качестве парадигматического фактора таксономической организации словообразовательной системы [3, 6]. Семантическое функционирование морфонологических вариантов формантов и значение морфонологической формы форманта выступают в функции дополнительного маркера морфемной членимости и словообразовательной мотивированности дериватов. Морфонологические переменные формантов трактуются в качестве компонентов их внутренних форм.

Семантические функции вариантных морфонологических форм форманта направлены на снижение правил фузионного словообразования (регулярность функционирования морфонологических позиций замещается морфемно-словообразовательным и семантическим распределением). Морфонологический аналитизм проявляется в формировании в системе диалектных словообразовательных моделей формантных подсистем, оформленных формантными вариантами с большим формально-семантическим диапазоном по сравнению с единицами подсистем литературного словообразования (о составе, значениях и продуктивности единиц формантной подсистемы диалектных дериватов с суф. *-ник*, включающей на эталонном уровне русских говоров более 60 формантных варианта, см. в кн.: [3. С. 60–66]). На микродиалектном уровне формантные подсистемы сужаются, но структурно-семантические и функциональные признаки морфонологических вариантов остаются более выразительными. Так, в словообразовательной системе кемеровского говора нами зафиксированы четырёхфонемные (*-а/ник*, *-е/ник*, *-и/ник*, *-й/ник*: *картофл-я/ник*, *кедр-е/ник*, *грабель-и/ник*, *кофе-й/ник*), пятифонемные (*-ат/ник*, *-ар/ник*, *-ов/ник*, *-ав/ник*, *-аж/ник*, *-аль/ник*, *-ан/ник*, *-ин/ник*, *-иш/ник*, *-ев/ник*, *-ель/ник*, *-ен/ник*, *-ет/ник*, *-еч/ник*, *-еш/ник*, *-ин/ник*, *-иш/ник*, *-ор/ник*, *-оч/ник*, *-ош/ник*, *-уш/ник*: *колб-ят/ник*, *овч-ар/ник*, *кедр-ов/ник*, *кров-ав/ник*, *смород-яж/ник*, *молоч-аль/ник*, *молок-ан/ник*, *овч-ин/ник*, *смород-иш/ник*, *кон-ев/ник*, *рој-ель/ник*, *горш-ен/ник*, *горш-ет/ник*, *горш-еч/ник*, *горш-еш/ник*, *лос-ин/ник*, *колб-иш/ник*, *кочк-ор/ник*, *мат-оч/ник*, *литов-ош/ник*, *мат-уш/ник*); семифонемные (*-ов/ен/ник*, *-ов/иш/ник*: *горох-ов/ен/ник*, *колб-ов/иш/ник*) формантные варианты суф. *-ник*, выполняющие разнообразные номинативные и экспрессивные функции [7]. Данные формантные варианты выступают в роли единого посткорневого деривационного форманта и вследствие одновременной актуализации непосредственных и опосредствованных словообразовательных мотиваций выделяются полимотивационно как компоненты вариантной внутренней формы слова [8].

Как суперморфные комплексы, формантные варианты обусловлены интерференцией морфемно-словообразовательной структуры дериватов. Взаимодействие морфонологических форм формантов с внутренней формой слова имеет компонентный характер стратификации семантической структуры производных номинаций. Ср. функцию семантической дифференциации однокоренных синонимов: *молоч-ник* 'посуда', *молоч-ан/ник* 'тот, кто покупает и продает молоко', *молоч-ав/ник*, *молочальник*¹ 'молочай', *молоч-аж/ник* 'гриб', *молоч-аль/ник*² 'травя', *молоч-ит/ник* 'тот, кто продает молоко', *молоч-от/ник* '1) тот, кто продает молоко; 2) полотенце, которым вытирают вымя коровы'. Комплексная морфемная структура формантных вариантов, направленная на выражение компонентов номинативного значения дериватов, отражает морфонологический процесс функционирования сложных аффиксов в синхронии [6. С. 21 и след.]. Формантные варианты функционируют как суперморфемы – полиморфные структуры вариантных деривационных форм, грамматикализованных в системе порождения новых средств деривации.

Специализация деривационных значений таких суперморфем протекает за счёт разрушения дублетных форм, характерных для формально избыточного диалектного словообразования. В условиях грамматической и лексической специализации морфонологических процессов возможно усложнение фонемной структуры слова, что показывает роль семантического параметра функционирования суперформантов. Мотивационный параметр оказывается основным для классификации сложных морфемных последовательностей, их вычленения в словообразовательной структуре слова в качестве морфемных блоков или суперморфов. Бинарная структура опосредованных мотиваций воздействует на идентификацию вариантной внутренней формы, и при осознании мотивирующей семантики ассоциативной опорой выступает формантный компонент как целое или компонентное образование [6. С. 101–110]. Свободное позиционное распределение алломорфов и фонеморфов компенсируется процессами семантической деривации. Отсюда дифференциация вариантных единиц структуры слова, «...когда фонетическое расщепление ассоциируется с психическим расщеплением» [9. С. 325]. Такие суперморфемы, интегрирующие сочетания интерфиксов и/или субморфов и аффиксов [10], выполняют функции суперформантов, специализируются на выражении «новых» деривационных значений и участвуют в организации лексико-словообразовательных отношений. Усиление или нейтрализация значения предыдущих морфов последующими влияет на морфонологическую членность морфемных блоков и их деривационную продуктивность.

В плане выражения словообразовательной семантики формирование суперморфемных формантных моделей регулируется морфонологическими правилами [11. С. 279–283]. Развивая лексическую функцию, алломорфы маркируют мотивационные значения слова, пропозициональные и номинативные значения в семантической структуре словообразовательных типов. Семантические позиции алломорфов в рамках типов категоризуются в системе морфонологической динамики формантных комплексов, полимотивационных в аспекте функционального распределения по ономастическим значениям словообразовательных моделей. В когнитивном значении суперморфемные модели формантов представляют собой схемы морфонологиче-

ской категоризации, направленные на оформление семантических расстояний между морфонологическими вариантами. Моделирование функционально-семантических оппозиций алломорфов внутри типа зависит от величины и глубины семантических расстояний, степени семантической абстракции словообразовательной семантики и морфонологической релевантности алломорфного варьирования. Лексические функции суперморфем одного типа проявляются в функциональном закреплении единиц формантной подсистемы за разными номинативными категориями [6. С. 116–141].

Ономасиологическая специализация формантных вариантов выполняет парадигматическую функцию: морфонологическая динамика суперформантов используется как классификационный механизм типа, таксономический и категориальный параметр его морфонологической формы. Синтагматическая структура суперморфемных формантов отражает этот механизм конструирования словообразовательного значения: таксономический компонент семантики «новой» ономасиологической категории маркируется субморфной, варьирующейся частью форманта, а общее деривационное значение «старой» категории – основным вариантом форманта, постоянным компонентом суперморфемы, показателем словообразовательного типа. Субморфная часть формантных вариантов выполняет поэтому референтную функцию, эксплицируя идиосемы номинативных дериватов (отождествляя классы референтов в границах одной, частично или полностью противопоставленных ономасиологических категорий: *налив-ник* ‘блин или оладья, намазанные сверху сметаной’, *налив-ай/ник* ‘пирог из чёрной муки, политый сверху жидкой начинкой (наливой)’, *налив-аш/ник* ‘ватрушка из пресного или кислого теста с жидкой начинкой’; *мош-ник* ‘1) тот, кто добывает и продаёт мох, 2) тетерев’, *миш-ар/ник* ‘1) утеплённый мхом хлев, 2) болото’; *миш-ан/ник* ‘1) тёплый хлев для скота, 2) кладовая для хранения овощей, зимовки пчёл’). Противопоставляя ономасиологические категории в рамках типа, единицы алломорфного варьирования форманта специализируются на формировании самостоятельных средств морфонологической деривации в зоне системной морфонологической деривационной переходности.

Как объект сопоставительной диалектологии русского языка формантная подсистема русских говоров предстает в качестве динамической морфонологической микросистемы, имеющей ряд отличий от подсистемы производящих.

1. Формантные варианты различаются позиционно, и их место в пределах подсистемы определяется семантической функцией. Продуктивные формантные варианты имеют свои сферы специализации, оформляя различные семантические подтипы в границах словообразовательных типов. Подсистема производящих основ при возможной семантической специализации морфонологического строения направлена в основном на организацию формальной структуры модели, преодоление формальной идиоматичности.

2. Структура формантных вариантов функционально неоднозначна в семантическом плане. Разные её компоненты (постоянный и вариативный) обеспечивают вхождение суперформантов в общую модель словообразования и её семантические подтипы. Переменная часть формантного варианта позволяет дифференцировать синонимы и многозначные слова и является

дополнительным средством системной мотивированности морфемной структуры слова. Морфонологические модели производящих иногда используются в этих целях, однако основное назначение вариантов основ состоит в структурной организации мотивирующих классов слов.

3. Позиционное описание формантных вариантов в системе говора позволяет определить структурные и семантические функции этой подсистемы средств морфологической деривации. В результате определения места каждого варианта в системе говора в соответствии с его функцией проводится сопоставление с единицами других диалектных зон русского языка. В итоге рассмотрение функционирования формантных вариантов на микро- и макродиалектном уровнях даёт общую схему реализации того или иного варианта и приводит к обобщению морфемно-деривационного потенциала вариантных единиц формантной подсистемы русских говоров.

Семантическое функционирование формантной подсистемы не исключает такой же специализации морфонологических средств подсистемы производящих. В этом случае морфонологическая вариантность производящей базы слов одного словообразовательного типа рассматривается в структуре формантной подсистемы как часть средств выражения тех или иных аспектов лексических и деривационных значений.

Приведём фрагмент описания такой специализации, полученный нами в ходе исследования морфонологических моделей производных полисемантов кемеровского говора.

Морфонологическая вариантность производящих основ выступает в качестве средства формальной дифференциации семантических структур производных полисемантов (наряду с формантным алломорфированием, моделями словообразовательной вариативности (словообразовательной синонимии), а также различными редупликационными моделями аффиксального словопроизводства, распространенными в диалектном словообразовании). С данными процессами напрямую соотнесены морфонологические характеристики многозначных дериватов, являющиеся отражением общих тенденций системного функционирования словообразовательных моделей. Словообразовательная синонимия относится при этом к ведущим деривационным явлениям формальной дифференциации семантических структур многозначных дериватов – семантически тождественных однокоренных единиц, оформленных разными словообразовательными морфемами.

В русских диалектах функционирование вариантных словообразовательных структур может отражать не только асимметрию, но и симметрию процессов вариативности в формально-семантической структуре производного слова. С симметрией моделей диалектной вариативности связано функционирование морфонологических моделей полисемии (ср., например, вариативность интерфиксального компонента в структуре словообразовательных синонимов, противопоставленных и в плане своих семантических структур: *бурелом* '1) поваленное в лесу дерево и собир.; 2) сильный ветер', *буролом* '1) то же, что *бурелом* в первом значении; 2) то же, что вальщик (работник на лесозаготовке, лесоруб)').

Тенденция к симметрии вариативных деривационных форм полисемантов отражает особенности функционирования синонимичных словообразова-

тельных типов. Ср. дифференциацию лексико-семантических вариантов за счёт формантных средств синонимичных словообразовательных типов девербативов с суффиксами *-л(о)* и *-льниц(а)*: *ботало* '1) шест для запугивания рыбы и загона её в рыболовную сеть; 2) рыболовная сеть; 3) болтливый человек'; *ботальница* '1) рыболовная сеть; 2) болтливая женщина'. В результате действия грамматической категоризации формальное различие словообразовательных формантов используется для дифференциации семантических структур многозначных дериватов. Ср.: *вертёха* '1) обычно о ребенке: непоседа, егоза; 2) то же, что ветреник: ветреный, легкомысленный человек'; *вертячка* '1) балованный ребенок, шалун; 2) суетливая женщина; 3) то же, что ветреница: женщина легкого поведения'. На когнитивном уровне семантические структуры данных полисемантов хотя и репрезентируют базовые компоненты акционального фрейма «'Кто-либо – субъект (ЛСВ 1, 2, 3)' – 'быть в движении'», оказываются полностью противопоставленными по набору смысловых репрезентаций, конкретизирующих семантику субъекта действия. В качестве основного средства формальной дифференциации пропозиции на языковом уровне выступает синонимия словообразовательных формантов, точнее – их функциональная семантика в рамках одной ономаσιологической категории характеризующих номинаций.

Многозначные дериваты с синонимичными формантами могут быть противопоставлены и в рамках разных ономаσιологических категорий. Ср. функционирование однокоренных номинаций лиц и артефактов в границах одного классификационного фрейма «Охота»: *зверятник* '1) охотник на промысловых животных; 2) вольера для содержания отловленных животных'; *зверовщик* '1) то же, что зверятник в первом значении; 2) скупщик мяса и шкур'. Используемые в данных полисемантах приёмы формальной дифференциации лексико-семантических вариантов убеждают и в том, что в актах номинативной деривации семантическое функционирование охватывает деривационную форму слова в целом, распространяясь на единицы морфонологической структуры. Формальные оппозиции маркируют семантические структуры полисемии не только благодаря разным словообразовательным формантам, но и посредством их морфонологических вариантов. Алломорфирование формантов, приводящее к появлению суперморфемных структур типа *-ят/ник* и *-ов/щик*, активизирует морфонологические формы дериватов с интерфиксальными элементами (*'ат*) и (*ов*) в контактной зоне суффиксальных морфов, которые позиционно выполняют структурно-семантические функции. Сами суперморфемы впоследствии могут выступать в роли самостоятельных формантов.

Морфонологические процессы, направленные на формирование структур производных полисемантов, оцениваются в аспекте формирования иконических деривационных форм, порождаемых с опорой на автономное функционирование морфонологических единиц. В этом смысле морфонологическая структура многозначных производных функционирует как уровень, оказывающий провоцирующее воздействие на динамическое функционирование слова по моделям регулярной полисемии, поскольку сам процесс формальной дифференциации лексико-семантических вариантов пропорционален деривационной продуктивности морфонологических характеристик, или их способ-

ности функционировать в качестве самостоятельных деривационных средств, асимметричных правилам своей морфонологической обусловленности. Следовательно, как уровень формальной дифференциации плана содержания многозначных дериватов морфонологические характеристики полисемантов выполняют функции семантической индексации, маркируя модели стратификации значений.

Функционирование таких проявлений диаграмматического иконизма в сфере словообразования можно объяснить тем, что морфонологические явления обусловлены семантическими отношениями производного знака и именно поэтому они отражают проницаемость основных его уровней внутри деривационной формы, определяя роль морфонологических характеристик в процессе формирования структуры лексического значения. Означающее полисеманта становится важным фактором категоризации картины мира, раскрываемой в тенденциях функционирования мотивационно связанных многозначных номинаций, что отражает ономазиологические функции морфонологических характеристик при формировании словообразовательного значения. Выступая как особый номинативный уровень, морфонологическая структура участвует в выражении информации о внутренней форме слова. Поэтому морфонологическое преобразование обнаруживает обусловленность процессами лексической категоризации. На этом основании алломорфия производящих основ представляет собой в мотивационном аспекте процесс, отвечающий прежде всего за тождество категоризируемых мотивационно связанными лексемами признаков (отсюда их функции структурной индексации, предсказывающей направление производности, и структурная роль самих морфонологических альтернатив, поддерживающих правила образования формальной структуры слова). По нашим данным алломорфирование производящих основ может выступать в семантической функции, поддерживая лексико-семантические оппозиции в системе говора. Это означает, что морфонологические процессы в области производящей основы могут выполнять функции не только структурной, но и семантической индексации – моделирования мотивационных расстояний между лексемами, формально близкими в области своих внутренних форм и, следовательно, мотивирующей семантики. В условиях тождества посткорневой части дериватов семантические структуры полисемантов могут дифференцироваться через морфонологическую форму основной алломорфии, используемой поэтому в функции маркирования семантических сдвигов в области внутренних форм. Отмечаемая вариативность мотивировочных признаков позволяет проводить ономазиологическое описание семантических расстояний, возникающих в диалекте между формально противопоставленными дериватами.

Выражение различных номинативных аспектов мотивирующей семантики основывается на симметрии моделей формальной вариативности производящих баз. В диалектах эта тенденция актуальна даже в случае дериватов низкой степени словообразовательной мотивированности, представленной в нашем материале примерами частичной структурной мотивации. При этом дифференциация семантических структур таких лексем с осознаваемым формантным компонентом (по сути своей демотивированных) осуществляется за счёт формальной модификации лексикализованной внутренней формы, се-

мантизируемой только в аспекте формальной экспрессивности тех противопоставлений в области производящей базы, которые создаются в структуре дериватов морфонологически значимыми фонетическими оппозициями (ср.: *волтырь* 'наrost, утолщение на стволе дерева'; *волдырь* 'вздутие на кожном покрове'; *бадик* 'палка, используемая при ходьбе, костыль'; *батик* 'ткань').

Структура дериватов высокой степени словообразовательной мотивированности характеризуется через тип семантической связи значений мотивирующего и мотивированного слова, оформляемой с опорой на продуктивные морфологические процессы в области производящих баз. С алломорфией производящей основы прежде всего напрямую связано выражение различных номинативных аспектов мотивирующей семантики, значимых для вариативности посткорневой части дериватов. В частности, ведущие типы морфонологической вариантности основы мотивирующего слова направлены на символизацию деривационных историй, что позволяет проводить описание их продуктивности в мотивационном аспекте:

1. Морфонологические структуры дериватов, маркированных основными чередованиями гласных (*автогѣн* ~ *автогѣн-щик*), характеризуются усилением тенденции к асимметрии словообразовательной формы, что приводит, в частности, к омонимии словообразовательных структур. Поэтому реализация вокалических альтернатив не является обязательной, продуктивной (ср.: *автогѣн* ~ *автогѣн-щик*, *автогѣн-щик*), хотя они могут приводить к семантическим расстояниям между структурами дериватов, пограничных со структурами словообразовательной омонимии. Ср.: *бродень* '1) рыболовный невод, который волокут по дну водоема; 2) неодобр. о гуляке, бездельнике'; *брeдeнь* '1) то же, что бродень в первом значении; 2) во мн. ч. бредни: то же, что болотники, высокие болотные охотничьи сапоги'. Ономасиологическая модель дифференциации структур таких полисемантов базируется на совмещении черт мотивационной полисемии и омонимии.

2. Регулярность основных альтернатив гласных с морфонологическим нулем основывается, напротив, на их сигнификативной значимости – предотвращении омонимии словообразовательной формы. Ср.: *рожь* – *рж-иц(е)* 'поле, засеянное рожью'; *рож(а)* – *рож-иц(а)*, *рож(ать)* – *рож-ѣ/ниц(а)*; *ржа(ть)* – *рж-а-чк(а)*. Закономерна эта тенденция и в случае семантической дифференциации однокоренных дериватов (ср.: *ведрѣ* – *ведѣр-ница* 'корова' и *ведрѣ* – *ведѣр-е/ник* 'шкафчик, полка для ведер').

3. Морфонологическая маркированность дериватов консонантными альтернативами является средством оформления мотивационно четких дериватов, что компенсирует последствия фузии. Консонантные альтернативы, предсказывая направление отношений словообразовательной производности, обеспечивают минимальную «перегрузку» семиотического кода, направленную на сохранение тождества отсылочной части (ср.: *клубник(а)*, *клубнич-н(ый)* – *клубнич-ник* 'пирог из клубники', *клубничн-ик* 'клубничный пирог'). Поэтому, маркируя семиотические признаки мотивирующей основы, консонантные альтернативы являются средством выражения концепта мотивирующего слова, усиливая степень мотивированности производного знака, предсказывая актуализацию идиосем, идентифицируя словообразовательное зна-

чение дериватов. Степень продуктивности консонантных чередований прямо пропорциональна степени фузии: чем менее продуктивен морфонологический вариант основы, тем сильнее семантическая оппозиция между производящей и производной лексемами (ср.: *рук(a)*, *руч-н(ой)* → *руч-(н)ик* 'ручной тормоз', *руш-(н)ик* 'полотенце с вышивкой'). Таким образом, глубина фузионного процесса оказывается симметричной степени словообразовательной мотивированности и семантическим сдвигам в структуре деривата (ср. степень идиоматичности семантики дериватов в последней иллюстрации). Среди консонантных оппозиций необходимо выделить важнейшее средство дифференциации семантических структур полисемантов – оппозицию по твердости – мягкости (ср., например: *брушина* '1) живот; 2) часть одежды, приходящаяся на живот; *брюшина* '1) живот; 2) внутренности животных и человека; иногда – потроха или брюшное сало животных'). С этой оппозицией связана формальная дифференциация структуры значений анализируемых полисемантов по объёму лексико-семантических вариантов, степени их словообразовательной мотивированности, а также репертуару ономаσιологических аспектов мотивирующей семантики.

4. Морфонологическая модель усечения не только элиминирует незначимые компоненты словообразовательной формы, затрудняющие правила морфемного шва, но и «оживляет» структуру дефектно членимых мотивирующих основ (ср.: *картóф/ель* – *картóв-ник*, *картóв-ница*, *морк/óвь* – *морк-ýль*, *подóш/ва* – *подóш-ник*). Нередко это направление алломорфного варьирования используется в целях дифференциации формальных вариантов слова (ср.: *горшéч-(н)ик* 'тот, кто изготавливает горшки / горшечных дел мастер', *горш(к)-óв/ник* 'тряпка, которой подхватывают горшки').

При продуктивности процессов формального варьирования производящих основ, сопровождающих семантические сдвиги, стремление морфонологической формы к категоризации проявляется во всех случаях усложнения структуры форманта по образцу редупликационных моделей. При морфонологической вариативности форманта конкретизация мотивирующей семантики и её перекатегоризация вполне регулярны, ср.: *коров-ник* '1) тот, кто скупает и продаёт коров; 2) помещение для коров; 3) подосиновик', *коров-ят/ник* '1) тот, кто продаёт коров; 2) шкура коровы'. Семантическое функционирование морфонологических моделей в рамках формантной подсистемы говора связано, таким образом, с реализацией динамических процессов деривации, вследствие которых грамматические и лексические значения передаются с помощью самостоятельных деривационных морфем, через морфонологические модификации производящей основы и/или словообразовательного форманта. В задачи сопоставительной диалектологии входит выделение и описание возможных морфонологических трансформаций формантной подсистемы морфемики, источников вариативности и семантического функционирования, определение морфонологических подтипов и самостоятельных типов формантной подсистемы, характера дистрибуции суперморфемных формантов в основных диалектных зонах русского языка.

Литература

1. Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979. 242 с.
2. Араева Л.А. Словообразовательный тип как семантическая микросистема. Суффиксальные субстантивы (на материале русских говоров). Кемерово, 1994. 223 с.
3. Антипов А.Г. Русская диалектная морфонология: проблемы описания. Кемерово, 1997. 104 с.
4. Шаброва Е.Н. Диалектное корневое гнездо: проблемы и принципы описания. С.-Петербург; Вологда, 2002. 86 с.
5. Антипов А.Г. Русская словообразовательная морфонология в когнитивном освещении // Лингвистика как форма жизни. Вып. 3. М., 2015. С. 10–20.
6. Антипов А.Г. Алломорфное варьирование суффикса в словообразовательном типе (на материале русских говоров). Томск, 2001. 188 с.
7. Антипов А.Г. Суперморфемные форманты и их роль в диалектном словообразовании // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2012. № 3(51). С. 177–180.
8. Антипов А.Г., Катышев П.А. Информативность как свойство единиц словообразования // Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, лексикографии. Томск, 1998. С. 24–25.
9. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 1. 384 с.
10. Красильникова Е.В. О формальной структуре слова // Проблемы структурной лингвистики 1978. М., 1981. С. 149–162.
11. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977. 314 с.

FORMANT SUBSYSTEM OF DERIVATIONAL MORPHEMICS OF RUSSIAN DIALECTS IN THE MORPHONOLOGICAL ASPECT.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 26–36.

DOI 10.17223/19986645/37/2

Antipov Alexandr G., Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: sante3@yandex.ru

Keywords: derivational morphemics, dialect morphophonology, formant subsystem, morphonological variability, supermorpheme formant.

The paper solves problems of the morphonological description of the formant subsystem of Russian dialect derivational morphemics and determines the semantic peculiarities of functioning of the Russian formants of a complex morphonological structure as an object of comparative dialectology of the Russian language.

The leading areas of descriptions of morphonological models of Russian dialect formants include the study of syntagmatic and paradigmatic factors of phonological changes in the structure of derivatives at the morphemic boundary phenomena implementation in the position after the root caused by the formal interaction of derivational morphemes and their semantic function.

The tasks of comparative dialectology include selection and description of the possible morphonological transformations of the formant subsystem of morphemics, sources of variability and semantic function; identification of morphonological subtypes and independent types of the formant subsystem and distribution supermorpheme formants in the key Russian dialect areas. As an object of comparative dialectology of the Russian language, Russian dialects formant subsystem is a dynamic morphonological microsystem with a number of differences from the derivational base subsystem.

1. Formant variants differ in position. Their place within the subsystem is determined by their semantic function. Productive formant variants have their own specific areas processing various semantic subtypes within word formation types. The derivational base subsystem with a possible semantic specialization of its morphonological structure is mainly aimed at organizing the formal structure of the model, overcoming formal idiomaticity.

2. The structure of the formant variants is functionally ambiguous in semantic terms. Its various components (constant and variable) provide for the superformant entry into the general model of word formation and its semantic subtypes. The variable part of a formant variant allows differentiating between synonyms and polysemantic words. It is also an additional means of system motivation of the morphemic structure of the word. Morphonological models of derivational bases are sometimes used for this purpose as well, yet their main purpose is the structural organization of the motivating classes of words.

3. The positional description of formant variants in dialects determines the structural and semantic features of this subsystem of morphological derivation means. As a result of determining the place of each variant in the dialect, in accordance with its function, a comparison with other units of Russian dialect areas is made.

4. The study of the functioning of the formant variants at the micro- and macro-dialect levels gives a general scheme of implementation of a variant and leads to generalization of the morphemic-derivational potential of variant units of the Russian dialects formant subsystem.

References

1. Yantsenetskaya, M.N. (1979) *Semanticheskie voprosy teorii slovoobrazovaniya* [Semantic problems in the theory of word formation]. Philology Cand. Diss. Tomsk.
2. Araeva, L.A. (1994) *Slovoobrazovatel'nyy tip kak semanticheskaya mikrosistema. Suffiksalye substantivy (na materiale russkikh govorov)* [Word-formation type as a semantic microsystem. Suffixed substantives (based on Russian dialects)]. Philology Dr. Diss. Kemerovo.
3. Antipov, A.G. (1997) *Russkaya dialektnaya morfonologiya: problemy opisaniya* [Russian dialect morphophonology: problems of description]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat.
4. Shabrova, E.N. (2002) *Dialektnoe kornevoe gnezdo: problemy i printsipy opisaniya* [Shabrova EN Dialectal root word-family: problems and principles of description]. St. Petersburg: SPbGU; Vologda: VGPU.
5. Antipov, A.G. (2015) Russkaya slovoobrazovatel'naya morfonologiya v kognitivnom osveshchenii [Russian derivational morphophonology in cognitive linguistics]. In: Katyshev, P.A. (ed.) *Lingvistika kak forma zhizni* [Linguistics as a form of life]. V. 3. Moscow: Lenand.
6. Antipov, A.G. (2001) *Allomorfnoe var'irovanie suffiksa v slovoobrazovatel'nom tipe (na materiale russkikh govorov)* [Allomorphic variation of suffix in a word-formation type (based on Russian dialects)]. Tomsk: Tomsk State University.
7. Antipov, A.G. (2012) Supermorphemic formants and their relevance in dialectal word-formation. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 3(51). pp. 177–180. (In Russian).
8. Antipov, A.G. & Katyshev, P.A. (1998) [Informativity as a property of word formation units]. *Aktual'nye problemy derivatologii, motivologii, leksikografii* [Topical issues of word formation, motivology, lexicography]. Proc. of the Conference. Tomsk: Tomsk State University. pp. 24–25. (In Russian).
9. Baudouin de Courtenay, I.A. (1963) *Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniiu* [Selected works on general linguistics]. V. 1. Moscow: USSR AS.
10. Krasil'nikova, E.V. (1981) O formal'noy strukture slova [On the formal structure of the word]. In: Grigor'ev, V.P. (ed.) *Problemy strukturnoy lingvistiki 1978* [Problems of structural linguistics 1978]. Moscow: Nauka.
11. Lopatin, V.V. (1977) *Russkaya slovoobrazovatel'naya morfemika: Problemy i printsipy opisaniya* [Russian derivational morphemics: problems and principles of description]. Moscow: Nauka.

УДК 81'33
DOI 10.17223/19986645/37/3

А.А. Баркович

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДИАДЫ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ – КОММУНИКАТИВНЫЙ»: ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассмотрена специфика функциональности диады «коммуникационный – коммуникативный» в дискурсивном аспекте. Комплексный дискурсивный анализ лексем «коммуникационный» и «коммуникативный» предполагает многоаспектное рассмотрение их функциональности в русском языке с привлечением данных компьютерно-опосредованного дискурса. Проведены обобщения метаязыкового и металингвистического характера относительно особенностей функционирования диады «коммуникационный – коммуникативный» как оппозиционной модели.

Ключевые слова: дискурс, функциональность, метаязык, компьютерно-опосредованная коммуникация, компьютерно-опосредованный дискурс, феномен, оппозиция, диада, модель.

Введение

Функциональность современной речевой практики целесообразно рассматривать в аспекте дискурсивности по многим причинам. При всей дискурсивности дискурсивной методологии ее содержание объективно отражает важнейшую феноменологическую черту языка: взаимосвязь языковой системы и речевой практики. **Дискурс** как речевая деятельность, развернутая во времени и пространстве, обусловлена широким экстралингвистическим контекстом и коммуникационной спецификой. Ввиду лингвистической универсальности и эффективности дискурсивной парадигмы нередко типичными темами современных исследований речевой практики становятся ранее лишь гипотетически актуальные проблемы. Характерной чертой современной лингвистики является ее высокая обеспеченность информационными технологиями и компьютерными инструментами [1].

Вместе с тем **дискурсивная методология** органично совмещает преимущества когнитивно-семиологического и антропоцентрического подходов, что позволяет проводить значимые метаязыковые обобщения, востребованные в контексте совершенствования современной коммуникации, формализации естественных и создания искусственных языков. Метаязыковые обобщения в дискурсивном русле актуальны не только в контексте описания тенденций развития отдельно взятого языка, но и при решении проблем моделирования речевой практики в целом. Несомненно, «классическим» примером в данном контексте можно считать неоднозначную практику функционирования в русском языке диады *коммуникационный – коммуникативный*.

Метаязыковая рефлексия проблемной области

Рассмотрение диады *коммуникационный – коммуникативный* имеет свою традицию в русскоязычной лингвистике. *Диада* как модель лингвистического противопоставления характеризуется бинарностью оппозиционных отноше-

ний между элементами ее структуры. Терминологичность самого понятия *диада* обусловлена ее значимостью как в широком метаязыковом, так и в узкоспециальном контекстах современной синкретичной науки. Соответствующая семантика *диады* последовательно отражена в иноязычных словарях, например в англоязычных:

англ. *dyad1* – *Two units regarded as one; pair* (две единицы, составляющие единое целое; пара) [2];

англ. *dyad1* – *Two individuals or units regarded as a pair* (два лица или единицы, составляющие пару) [3] и т. д.

В вышепротитированных словарях приводятся и другие значения, узкоспециальные, как соответствующие им сферы указаны: биология, химия, социология и математика.

В русскоязычных словарях слово *диада* впервые появилось в 1910 г. в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А.Н. Чудинова в двух значениях: «ДИАДА – (греч.). 1) двойственность. 2) у Пифагора символ неопределенной материи» [4]. В настоящее время *диада* является по большей части узкоспециальным термином из медицинской, математической, физической, социологической и других сфер, отсутствуя в толковых, орфографических словарях, даже – в словарях иностранных слов русского языка. Использование лексемы **диада** как лингвистического термина вполне оправданно – для обозначения пары языковых единиц близких по значению, обладающих семантикой оппозиционности (бинарности), например *коммуникационный – коммуникативный*.

При всей типичности данной языковой ситуации (*коммуникационный – коммуникативный, номинационный – номинативный, операционный – оперативный* и т. д.) для ее характеристики нет универсального, приложимого ко всем подобным оппозициям метода. Так, например, деривация лексемы *дискурс* в атрибутивном аспекте представлена трехэлементной структурой: *дискурс-н-ый / дискурс-ивн-ый / дискурс-ионн-ый*; лексема *революция* имеет дериват *революци-онн-ый*, однако все известные случаи использования лексемы (скорее, потенциального слова) *револют-ивн-ый* в речевой практике исчисляются единицами, что позволяет их относить в большей степени к речевым ошибкам, чем к осознанной реализации деривационной модели. Показателен, например, следующий контекст: *Револютивная часть решения Куменского районного суда к постановлению № 412* (Яндекс), где вместо стандартного словоупотребления *резолутивный* ошибочно для данного контекста использована единица *револютивный*. Следовательно, в речевой реальности оппозиции *революционный – револютивный* (как и многих других возможных реализаций деривационной модели с аффиксом *-ивн*) в статистически значимом виде практически нет.

Конечно же, в лингвистическом дискурсе при оценке допустимости использования тех или иных вариантов любой диады (триады или более валентной модели) существенную роль играет сложившаяся практика – «предтексты». О дискурсивной идентичности явного **дериванта** (производящей единицы) пары ‘коммуникационный – коммуникативный’, единицы *коммуникация*, говорят многие исследователи. Так, А.И. Соловьёв утверждает, что «две указанные атрибутивные формы концепта *коммуникация* [коммуникаци-

онный и коммуникативный] являются принципиальными в терминологическом языке как научного дискурса в целом, так и коммуникационных наук в частности» [5], однако предлагает руководствоваться интуицией: «Четкой границы в нормах употребления нет, но о своего рода интуитивном применении отличных друг от друга форм говорить все же можно» [5].

Характерно, что «результатом» изучения вопроса в данной ситуации явился вопрос, с которого и начиналось исследование: «В этой связи возникает потребность в преодолении несогласованности в осмыслении рассматриваемых терминов, их правильном употреблении, и, разумеется, встает вопрос о том, как и какими способами, осуществить эти задачи?» [5].

Ю.В. Сложеникина оперирует сходными вероятностными категориями: «На современном этапе происходит стихийная семантическая и синтагматическая дифференциация терминологических вариантов этой научной и учебной дисциплины (видимо, имеется в виду «номинация», «единица» либо что-то подобное. – А.Б.). Так, базовый термин *коммуникация* стал производным (видимо, имеется в виду «производящим». – А.Б.) для терминов-вариантов *коммуникативный* и *коммуникационный*. С точки зрения оттенков значения этих единиц в интерпретации и исследовании терминов *коммуникационный* и *коммуникативный* исходным для применения терминологического аппарата должно являться рассмотрение *коммуникации* либо как структуры и системы, либо как процесса» [6].

Данная позиция оставляет за рамками анализа феноменологическую сущность оппозиционных отношений: «При рассмотрении *коммуникации* как структуры лучше обращаться к термину *коммуникационный*, в случае же, если мы рассматриваем понятие *коммуникация* как процесс, то, очевидно, будет более правильным говорить о *коммуникативных* связях и отношениях» [6]. Сложно согласиться с подобными обобщениями: *коммуникация* как ‘структура’ не менее «коммуникационна» (относится к сущностной характеристике *коммуникации*), чем сам ‘процесс’.

В соответствии с предложенной логикой задачи когнитивного анализа референтной семиотики переносятся в плоскость субъективной практики иллюстративного и вероятностного характера, где действительно сложно найти научно обоснованные ответы.

Впрочем, в лингвистическом дискурсе представлены и более когнитивно-семиологически выверенные дифференциации пары *коммуникационный* – *коммуникативный*. Так, С.В. Лещёв высказал следующее суждение: «*Коммуникативное* есть нечто-в-себе, *коммуникационное* – нечто-в-ином» [7. С. 53]. В.А. Тищенко предлагает «рассматривать, прежде всего, свойство *коммуникативности* как принадлежность субъекта коммуникации, а *коммуникационное* – как принадлежность каналов и средств для осуществления коммуникативного акта [8. С. 24]. Оба вышеизложенных подхода по-разному, но уже более объективно отразили концептуальную специфику оппозиционности диады *коммуникационный* – *коммуникативный*.

С точки зрения семантической аргументации наиболее очевидным признаком атрибутивности нужно признать степень выраженности и характер значения ‘сообщения’ (коммуникации): если единица *коммуникационный* обладает качеством сущностной, феноменологической характеристики про-

песса *сообщения* (например, *коммуникационный канал*), то единица *коммуникативный* обладает ярко выраженной семантикой 'соотносительности' с характеризующим процессом в качестве его факультативного признака (например, *коммуникативный стиль (общения)*).

В «Толково-словообразовательном словаре русского языка» закреплена именно подобная аргументация, в соответствии с которой единицу *коммуникационн-ый* с суффиксом *-ионн-* можно связать с 'отнесенностью' к *коммуникации*, а *коммуникативн-ый* – с 'соотнесенностью', 'способностью' и 'свойством':

-ивн-(ый)

суффикс

Словообразовательная единица, образующая как качественные, так и относительные имена прилагательные с общим значением способности к тому или соотнесенности с тем, что названо мотивирующим словом, в роли которого выступают имена существительные мужского и женского рода – обычно иноязычного происхождения (атрибутивный, дефективный, регрессивный, регрессивный и т.п.).

-ионн-(ый)

суффикс

Словообразовательная единица, выделяющаяся в имени прилагательном со значением отнесенности к тому, что названо мотивирующим именем существительным иноязычного происхождения (телевизионный) [9].

Существенным здесь оказывается то, что одно из значений суффикса *-ивн-* указывает на 'способность'. 'Способностью' (в меньшей степени 'свойством' и 'соотнесенностью') обладают, как известно субъекты, а не процессы. Итак, для обозначения принадлежности какого-либо денотата к сфере *коммуникации* более обоснованным представляется использование атрибута *коммуникационный*, для характеристики свойств денотата в сфере *коммуникации* – термина *коммуникативный*.

Необходимо отметить, что оппозиция моделей со словообразовательными компонентами *-ионн-* и *-ивн-* носит регулярный характер в русском языке. Так «Обратный словарь русского языка» содержит 289 лексических единиц на *-ионный* и 195 на *-ивный* [10]. Конечно, некоторая часть подобных единиц не имеет прямого отношения к характеристике современных деривационных отношений в русском языке с участием суффиксов *-ионн / -ивн*: *ионный*, *аукционный*, *крапивный* и др. Однако можно заметить, что заканчивающиеся на *n*-грамму *-ион* словообразовательные основы русского происхождения в данных совокупностях отсутствуют, в то же время среди основ на *-ив* (*-ивн*) такие основы представлены: *дивный*, *отливный*, *пожнивный*, *противный* и др. Достаточно широко представлены и «ранние», уже полностью ассимилированные заимствования русского языка с латинской по происхождению диграммой *-ив* (*-iv*): *активный*, *архивный*, *оперативный*, *перспективный* и др. Данная особенность деривационных отношений свидетельствует о большей естественности развития словообразовательных вариантов с *-ивн* для русского языка. Собственно, языковая интуиция носителей русского языка не может быть не мотивирована подобным деривационным стереотипом, питающим модель.

Существенной для репрезентации семантики диады *коммуникационный – коммуникативный* как совокупности вариантов речевой практики является ее **оппозиционность**. Оппозиционность – важная черта системных свойств языка: «Каждая единица системы определяется... совокупностью *отношений* к другим единицам и *оппозиций*, в которые она входит; единица есть явление относительное и оппозиционное, как говорил Соссюр. Мы отказываемся, таким образом, от мысли, что каждый «факт» языка можно расценивать сам по себе, что он является абсолютной и объективной величиной, которая допускает изолированное рассмотрение» [11. С. 24]. Разного рода противопоставления – одна из основных гносеологических методик: ее самой известной принципиальной реализацией в лингвистике является понятие дихотомии, например *язык – речь*. Согласно словарю Ж. Марузо: «**Оппозиция** (лат. *oppositio* – противоположение). Противопоставление двух или нескольких однородных единиц языка, проводимое для выявления различий между ними» [12].

В функциональном аспекте интересны системные оппозиционные отношения между членами диады *коммуникационный – коммуникативный*. Комплексное рассмотрение функциональности оппозиции *коммуникационный – коммуникативный* позволяет учитывать несколько субаспектов, агрегируя своего рода дискурсивный гипераспект, интегрирующий специфику и логику рассматриваемых отношений в широком интра- и экстралингвистическом контекстах.

Лексикографические ориентиры дискурсивной методологии

Презентация понятийной специфики *коммуникационного* и *коммуникативного*, например, в «Словаре русского языка», апеллирует к семантике лексемы *коммуникация* и ее двух основных значений: «путь сообщения, связь одного места с другим» и «общение, сообщение». Признак *коммуникационный* признаётся атрибутивным свойством 1-го значения: *коммуникационный* – «Относящийся к *коммуникации* (в 1 знач.)»; а *коммуникативный* рассматривается как «прилагательное к *коммуникация* (во 2 знач.)» [13].

Дискурсивная специфика лексемы *коммуникация*, как и многих других, впрочем, частотных и многозначных языковых единиц, – проблема, требующая развернутого многоаспектного анализа, в том числе обстоятельного изучения лексикографических ориентиров референтной семантики. В **лексикографической** интерпретации, основанной, как правило, на каком-либо синхронном срезе речевой практики, часто прослеживается соответствующая дискурсивной практике противоречивость. В силу интерактивной природы современного дискурса вопрос первичности либо вторичности динамичной речевой вариативности в отношении стабильной языковой, в том числе лексикографической, нормативности не имеет простого ответа.

Фундаментальность *коммуникации* – базовой производящей единицы для единиц как *коммуникационный*, так и *коммуникативный* – очевидна. Но не менее очевидна и включенность в данную словообразовательную парадигму компонентов с «отвлеченной» семантикой – единиц *коммуникативность* и *коммуникационность*. Ввиду малой речевой распространенности лексемы *коммуникационность* (см. ниже), крайне скудной словарной презентации и отсутствия прямых эквивалентов данной лексемы в английском языке – ис-

точнике заимствования и единицы *коммуникация*, и множества ее дериватов – рассмотрение деривационной последовательности *коммуникация* → *коммуникационн-ый* → *коммуникационность* в функциональном аспекте малозначимо. По этим же причинам несущественно подробное метаязыковое описание оппозиций *коммуникация* – *коммуникационность*, *коммуникативность* – *коммуникационность* и *коммуникация* – *коммуникативность* – *коммуникационность*.

Рассмотрим более значимые в функциональном аспекте отношения между основательно закрепленными речевой и лексикографической практикой лексемами *коммуникация*, *коммуникативный* и *коммуникативность*. Семантика единицы *коммуникативность* в словаре Т.Ф. Ефремовой уточняется с помощью отсылки к единице *коммуникативный*: «*коммуникативность* ж. Отвлеч. сущ. по знач. прил.: коммуникативный (2)» [9]. Присутствие в деривационной парадигме *коммуникации* единицы *коммуникативность* означает обусловленность речевой практики значимостью не только ‘коммуникации’, но и ‘коммуникативности’, что, в свою очередь, усиливает оппозиционность семантики пары *коммуникационн-ый* – *коммуникативный*.

Типичная в словарной практике и целесообразная, например для объяснения орфографической нормативности той или иной лексемы, отсылка к однокоренным лексемам (как в случае с единицами *коммуникативность* и *коммуникативный*) далеко не всегда подразумевает достоверную деривационную реконструкцию: для этого необходим мониторинг статистически репрезентативного дискурса как в количественном, так и во временном аспектах. В аспекте функциональности могут быть рассмотрены, например, следующие варианты деривационных взаимоотношений лексем *коммуникативность* и *коммуникативный*:

а) параллельное заимствование и калькирование как единицы *коммуникативность*, так и единицы *коммуникативный* из английского языка – *communicativeness* и *communicative*, что означает их одинаково самостоятельный деривационный статус в русском языке;

б) следуя деривационной логике, имеются основания для констатации существования непосредственных деривационных отношений единицы *коммуникативность* в первую очередь с производящей единицей *коммуникативный*, а уже во вторую – опосредованных деривационных отношений с единицей *коммуникация*, в составе деривационной цепочки *коммуникация* → *коммуникативн-ый* → *коммуникативн-ость*, что означает вторичность и производность единицы *коммуникативность* относительно единицы *коммуникативный* (хотя направление деривации от существительного к прилагательному более естественно: *коммуникация* → *коммуникационн-ый*).

Практика широкого использования лексики, относящейся к лексико-семантическому полю *коммуникация*, обусловлена массовостью ситуаций заимствования не только самих лексем, но и содержащих их контекстов – научная и социокультурная актуальность *коммуникационной* проблематики обуславливает постоянный экспорт в русскоязычную языковую среду соответствующей «информации». В подобной дискурсивной ситуации с полной определенностью настаивать на статистических показателях, подтверждающих приоритет того или иного варианта существования релевантных дерива-

ционных отношений, по всей видимости, нецелесообразно. Однако существование дилемм такого рода необходимо учитывать при оценке обоснованности локальной дискурсивной имплементации референтных языковых единиц.

В общедискурсивном контексте можно высказать предположение, что зависимость прилагательных как класса единиц от семантики соответствующих (однокоренных) существительных может сыграть роль в возможном усилении в дискурсе роли лексемы *коммуникативность* как номинации, структурно близкой атрибутиву *коммуникативный*, с одной стороны, с другой стороны, можно ожидать повышения частотности атрибутива *коммуникационный* как самого широкомотивированного деривата доминанты соответствующего лексико-семантического поля – лексемы *коммуникация*. Подобные микротенденции будут актуализироваться пропорционально речевой востребованности сбалансированных оппозиционных отношений в диадах *коммуникация – коммуникативность* и *коммуникационный – коммуникативный*. «Однокоренные», деривационно обусловленные оппозиционные модели релевантны для оценки дискурсивной функциональности языковых оппозиций.

Учет широкого спектра языковых отношений той или иной лексемы способствует верификации лексикографической практики, сориентированной на фиксацию в первую очередь наиболее распространенных языковых вариантов. Распространенность и очевидная терминологичность *коммуникации* и *коммуникативности* подразумевает **фиксацию** обеих единиц в разнообразных словарях. Это предположение полностью подтверждается лексикографической практикой. Так, по данным электронного лексикографического источника «Словари и энциклопедии на Академике», на русском языке имеется около 200 словарных статей о *коммуникации* и 10 статей – о *коммуникативности* [14]. Разница в объемах лексикографической репрезентации – объективный показатель, свидетельствующий о приоритетности семантики *коммуникации* относительно единицы *коммуникативность*.

Коммуникация в лексикографических источниках определяется следующим образом:

в широком смысле передача сообщения, сообщение [15];
смысловой аспект социального взаимодействия [16];

1. Процесс передачи информации, включающий адресанта, каналы, кодирование, дешифровку, содержание, эффективность, контроль, ситуацию, намерение, адресата. 2. Акт общения между людьми посредством передачи символов, целью которого является взаимопонимание. 3. Обмен информацией любого вида между различными системами связи [17] и др.

Семантика единицы **коммуникативность** толкуется принципиально по-другому:

коммуникативность – то же, что коммуникабельность [18];

коммуникативность – врожденная или приобретенная способность, навык, умение передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы они правильно (доходчиво) были поняты, восприняты другим человеком (собеседником) или людьми [19].

Тенденция толкования *коммуникативности* «словарями иностранных слов» и «переводоведческих словарей» – при отсутствии его, например, в

толковом «Словаре русского языка» – свидетельствует о его нестабильности в составе узуса русского языка.

Дискурсивная имплементация значимости диады «коммуникационный – коммуникативный».

Без рассмотрения особенностей речевой имплементации языковых отношений диады *коммуникационный – коммуникативный* ее дискурсивное исследование было бы неполным. В свою очередь, актуальными аргументами любого дискурсивного исследования являются не только собственноязыковые, но и внеязыковые факторы, эксплицитно или имплицитно отраженные в речевом функционировании той или иной языковой единицы, диады, совокупности и т. д.

В рамках компактного исследования объективная репрезентация соответствующей специфики была бы невозможной без привлечения данных **компьютерно-опосредованного дискурса** (далее – КОД).

Практика использования лексем типа *коммуникативный, номинативный, деривативный* и под. в когнитивно-семиологическом контексте русского языка неоднозначна и часто противоречива. Ее можно было бы охарактеризовать как некорректную и непоследовательную, но на самом деле, конечно же, скорее, нам неизвестны соответствующие механизмы реализации языка.

Так или иначе, убедительная представительность подобных лексем в русском языке свидетельствует о существовании определенной оппозиционной модели **реализации** референтной семантики. Можно констатировать, что члены данной типологической совокупности элементов соответствующих диад успешно преодолевают более последовательную «-ионную» «гравитацию» деривационной имплементации в сфере речевого функционирования. Логично предположить, что в дискурсивном аспекте очевидным развитием таких лексем, как *коммуникация* (а не *коммуникативность*), *номинация* (а не *номинативность*) и *деривация* (а не *деривативность*) должны бы быть в первую очередь их прямые атрибутивные дериваты типа *коммуникационный, номинационный и деривационный*. Однако, как свидетельствует практика, в том числе металингвистическая (см. ниже), в речи уверенно доминируют не *коммуникационный, номинационный и деривационный*, а их «-ивные» варианты – *коммуникативный, номинативный и деривативный*.

Из ряда «-ионных/-ивных» оппозиций функциональность диады *коммуникационный – коммуникативный* обладает очевидной актуальностью еще и ввиду сверхдинамичного развития особого типа коммуникации – компьютерно-опосредованной. В КОД, как и в традиционном дискурсе, типичны лингвистически противоречивые девиации формирования речевых приоритетов, что, собственно, и подтверждается практикой использования оппозиционных единиц из диады *коммуникационный – коммуникативный*.

Рассмотрим достаточно типичный пример металингвистической практики лексем *коммуникационный – коммуникативный*: в лингвистической диссертации по *коммуникационной* тематике («Интернет-дискурс Беларуси в социалингвистическом аспекте») (количество словоупотреблений корпуса представлено 42 059 единицами) лексема *коммуникация* (лемма в целом) встречается 151 раз, *коммуникативность* – ни одного раза [20]. В том же тексте лемма *коммуникативный* встречается 87 раз, а *коммуникационный* – ни

разу. Выверенный научный дискурс, к которому принадлежат диссертационные исследования, как правило, отражает высокую нормативную культуру. Однако при дискурсивном анализе данного текста выявляется, что лексема *коммуникативный* последовательно использована в значении, развивающем как раз **семантику** коммуникации:

С точки зрения пространственной локализации, коммуниканты, с одной стороны, размещаются на определенных координатах несетевого мира и, с другой стороны, одновременно находятся в определенной зоне сетевого коммуникативного пространства Интернета.

Согласно их видению, жанр – это определенный социально признаваемый тип коммуникативного действия, который имеет специфическую коммуникативную цель и форму [20].

Очевидно, что и в первом и во втором примере мы имеем дело с «коммуникационной» семантикой *пространства, действия, цели, формы* – требующими «коммуникационной» формы атрибуции значения. В таких ситуациях стереотипного систематического использования вариантов, не закреплённых кодификационно, можно говорить скорее о речевых **обычаях** (по аналогии с юриспруденцией), а не о нормах словоупотребления. Практика речевого функционирования являет собой, с одной стороны, принципиально упорядоченную сферу использования кодовых систем, с другой – сферу, изобилующую исключениями из набора правил, создающими динамику и свободу варьирования элементов языка как индискретной семиотической системы.

При дифференциальном (оппозиционном) сравнении единиц пары *коммуникационный – коммуникативный* наиболее значима, прежде всего, их **лексико-семантическая** оппозиционность (оппозиция): сравниваются соответствующие лексемы как самостоятельные значимые единицы языка, однако аспект такого сравнения может быть фонетическим, семантическим, грамматическим (морфологическим, синтаксическим, деривационным – словообразовательным и словоизменительным), текстовым – сообразно уровневой структуре системы языка и задачам исследования. Так, словообразовательная реализация оппозиционных в соответствующей модели аффиксов *-ионн-* и *-ивн-* в метаязыковой парадигме носит **морфологический** характер, обеспечивая «семиологически релевантное различие морфологического состава» членов (*коммуникационный – коммуникативный*) деривационной парадигмы (*коммуникация*) [21].

Однако логично предположить, что настолько непропорциональный сдвиг значимости от одной лексемы из рассматриваемой пары к другой вряд ли обусловлен только диахронически релевантной морфологической мотивацией. В качестве одного из мотивирующих стимулов **интралингвистического** характера подобного сдвига может быть рассмотрен и **фонетический**: дериват *коммуникативный* – явно благозвучнее варианта *коммуникационный*, на один слог короче, не обременен повторением согласных *-нн-* и не имеет чужеродного для славянских языков дифона *-ио-*.

Из **экстралингвистических** стимулов формирования приоритета единицы *коммуникативный* в русской языковой системе необходимо отметить фактор широкого заимствования соответствующей лексической и синтаксической семантики из английского языка и ее калькирования, особенно терми-

нологического. Практика КОД свидетельствует (см. ниже), что прилагательное *communicative* ('коммуникативный') «выиграло» у прилагательного *communicational* ('коммуникационный') оппозиционную конкуренцию в английском языке, где нет деривационных противоречий в образовании от слова *communication* и деривата *communicative* ('коммуникативный'), и деривата *communicational* ('коммуникативность'): производящая основа в обоих случаях одинакова – *communicat-*.

Не касаясь системных особенностей английского языка, отметим как пример формальной обусловленности речевых приоритетов тот факт, что фонетически лексема *communicational* [kə-myʊnɪ-kā'shənəl] длиннее лексемы *communicative* [kə-myʊnɪ-kāt'iv, -ni kə tiv] на один слог и длиннее графически на три символа [2]: более краткая и удобная форма *communicative* – по сравнению *communicational*, собственно, и оказалась более востребованной в английской, в данном случае, речи.

Данные КОД убедительно свидетельствуют об активном заимствовании конструкций «*communicative* +» из английского языка в русский, что калькируется в виде «коммуникативный +». Так, словарь «Мультитран» предлагает 36 только «лингвистических» переводных **коллокаций** для пары *communicative* – коммуникативный (*communicative act, communicative approach, communicative community, communicative competence, communicative device, communicative effect* и т. д.). Лишь в единичных случаях «Мультитран» переводит конструкции типа «*communicative* +» с помощью номинативной конструкции с использованием единицы *коммуникация*: «*communicative effect*» – «эффект коммуникации», «*communicative strategy*» – «стратегия коммуникации» и др. [22]. Во всех остальных случаях данный словарь переводит *communicative* как коммуникативный. Немногочисленные коллокации лексемы *communicational* отражаются данным словарем последовательно, например: «*communicational barrier*» – «коммуникационный барьер», «*communicational strength*» – «коммуникационная прочность» и др. [22].

В **межъязыковом** аспекте дискурсивная имплементация единиц *коммуникационный* – коммуникативный подтверждает экстралингвистическую мотивацию приоритета единицы коммуникативный. Так, родственный русскому белорусский язык содержит существенно меньше фонетических сложностей при атрибутивной реализации семантики 'коммуникации'/'коммуникативности' (*камунікацыя* и *камунікатыўнасць*), развиваемой в диаду *камунікацыйны*–*камунікатыўны* (*коммуникационный* – коммуникативный). По данным программы «Поиск в Google», при явном перевесе в интернет-дискурсе лексемы *камунікацыя* – 63 900 над лексемой *камунікатыўнасць* – 817 (в белорусскоязычном дискурсе более частотна *камунікацыйнасць* – 11 500, аналог относительно редкой русскоязычной лексемы *коммуникационность*), реализация атрибутивных развить деривантов *камунікацыя/камунікатыўнасць* характеризуется практически паритетом: лексема *камунікацыйны* – 5 380 словоупотреблений, *камунікатыўны* – 5 310. В связи с этим логично высказать предположение, что при формальной схожести – фонетически и графически *камунікацыйны* и *камунікатыўны* характеризуются одинаковым количественным составом задействованных звуков и букв – данный фактор сыграл существенную роль в сопоставимом словоупотребле-

нии членов данной диады. При сравнении аналогичных диад из русского (*коммуникационный – коммуникативный*), белорусского (*камунікацыйны – камунікатыўны*) и английского (*communicational – communicative*) заметно, что более эргономичные лексемы (*коммуникативный* и *communicative*, в частности) оказались более востребованными в речи.

В английском языке единице *коммуникация* соответствует *communication*, а *коммуникативности* – *communicativeness*. В то же время русским прилагательным *коммуникационный* и *коммуникативный* соответствует целый ряд англоязычных эквивалентов – *communicative*, *communicatory*, *communicational*, *communications* [22]. Употребимость единицы *communication* в интернет-дискурсе – 1 030 000 000 «результатов», а *communicativeness* – всего 67 900. При этом по данным программы «Поиск в Google», употребимость соответствующих прилагательных составляет: для *communicative* – 15 700 000; для *communicatory* – 1 500 000 и для *communicational* – 458 000 «результатов». Для лексемы *communications* программа «Поиск в Google» выявила 670 000 000 контекстов, но к статистическим показателям атрибутивов данный тип словоупотребления имеет лишь косвенное отношение, представляя, как правило, форму множественного числа существительного *communication*, хотя и недифференцированно переводится на русский язык то как прилагательное *коммуникационный*, то как *коммуникативный*.

В контексте дискурсивной имплементации оппозиционности единиц диады *коммуникативный – коммуникационный* можно наблюдать впечатляющие результаты речевого замещения грамматической значимости варианта морфемы *-коммуникац-* вариантом *-коммуникат-* в освоении **коммуникационного** (от производящей единицы *коммуникация*, а не – *коммуникативность*), конечно же, пространства, опосредованного компьютерными технологиями. Дискурсивная практика функционирования единиц пары *коммуникационный – коммуникативный* характеризуется сложным характером, подверженным влиянию комплекса релевантных факторов. Важнейшей особенностью в данном контексте является взаимозависимость интралингвистической и экстралингвистической функциональности дискурса, оказывающих влияние на речевую практику.

Метаязыковой потенциал моделирования: модели функциональности

Использование лингвоинформационных возможностей КОД позволяет получать репрезентативные результаты как для иллюстрации экспериментальных данных, так и для создания метаязыковых конструкций – моделей. Такие модели, как, например, **металингвистическая индексация** (индексы формализации, деривационности, контекстуальности, парадигматичности и др.), позволяют, в свою очередь, создавать эмпирически верифицированный уровень обобщений в языковых исследованиях [23]. В том, что касается деривационных отношений в том или ином языке, актуальные обобщения практики КОД достаточно информативны: «...деривационная активность русской речи – выше, чем аналогичные показатели украинской и белорусской речи, при всем сходстве восточнославянских языков и грамматик» [23].

Данные КОД в масштабе высокорепрезентативной речевой практики подтверждают статистику, полученную методом сплошной выборки из одного

текста. Поиск в Интернете с помощью программы *Google* даёт соотношение употребимости *коммуникационный* к *коммуникативный* как 873 000 к 3 260 000, что представляет пропорциональность (**индекс оппозиционности**, или I_o) $\sim 0,26$. При показателях употребимости единицы *коммуникация* в 1 210 000 и 274 000 – для лексемы *коммуникативность* их соотношение, индекс I_o , будет иметь значение уже $\sim 4,42$. Такая диспропорция употребимости оппозиционных деривантов и их дериватов (по индексу почти в 17 раз) показательна: для семантики пары *коммуникационный*–*коммуникативный* деривационный потенциал модели с участием суффикса *-ивн-* оказался более востребованным практикой, чем у модели с суффиксом *-ионн-*. Иными словами, сильнее оказалась **активная** позиция, проявившаяся как **оппозиционная доминанта**, деривата *коммуникативный*. Соответственно, в паре *коммуникационный* – *коммуникативный* субдоминантой оказалась единица *коммуникационный*. Кстати, показатели употребимости в Интернете еще одной русской лексемы *коммуникационность*, однокоренной с рассмотренными единицами, низкие – всего 818 «результатов», что свидетельствует о несущественности ее оппозиционной значимости и позволяет констатировать ее деривационную **пассивность** в составе «триады» *коммуникация* – *коммуникационность* – *коммуникативность*.

Рассмотрение аспектов функциональности той или иной единицы в контексте КОД обладает особой статистической убедительностью. В контексте нашего исследования, например, в качестве иллюстративного материала оказались востребованными разнообразные **корпусные** данные о словоизменительной деривационной практике лексемы *коммуникация*, ключевой лексемы соответствующего лексико-семантического поля. Так, в «Национальном корпусе русского языка» для леммы *коммуникация* презентация разных форм ее падежей следующая:

- именительный падеж – 961;
- родительный падеж («падежи») – 1 628;
- дательный падеж – 948;
- винительный падеж («падежи») – 917;
- творительный падеж – 84;
- предложный падеж («падежи») – 931 [24].

Полученные данные о широкой и сбалансированной, в общем, словоизменительной функциональности единицы *коммуникация* позволяют не только констатировать ее распространенность в дискурсе, но и охарактеризовать соответствующую высокорепрезентативную практику как **модель**.

Так, из общего количества 5 469 единиц разных форм единицы *коммуникация* её форма именительного падежа, будучи «основной» грамматической формой, представлена в количестве 961 словоупотребление, что составило 17,57 %. Такой показатель (**индекс парадигматичности**, или I_p) близок к равновесному значению в $\sim 16,66$ % для каждого из 6 основных падежей и близок к представительству дательного, винительного и предложного падежей, соответственно 948, 917 и 931 «вхождение» (в НКРЯ представлено 11 падежей: именительный, дательный, творительный, по два родительных, винительных, предложных, плюс звательный и «счётная форма») [24]. Доступность подобных данных КОД позволяет при необходимости переходить от

сплошной выборки, которая всегда носит экстенсивный характер, к ограниченной без ущерба для **репрезентативности** обобщений. В данном контексте, например, показатели именительного падежа существительного *коммуникация* отражают слообразовательную значимость всей леммы (показатели прилагательных, зависимых в контексте от существительных, несущественно варьируются).

При некоторых недостатках интернет-поиска, например с использованием поисковых сервисов *Google*, *Яндекс* и др. подобная методика обладает большим иллюстративным потенциалом.

Итак, метаязыковые обобщения функциональности дискурсивной практики единиц *коммуникационный – коммуникативный* могут быть представлены в виде моделей. Исследование данной пары лексем актуально в контексте высокой частотности данных лексем и их семантической существенности в контексте метаязыкового сопровождения современной коммуникации.

Выводы

Лексемы *коммуникационный* и *коммуникативный* обладают совсем не тождественной семантикой, что отражено в лексикографических источниках. Следовательно, речевая дифференциация дериватов от единицы *коммуникация* в русском языке имеет существенные объективные предпосылки.

В речевом развитии данной деривационной оппозиции важную роль играют как интралингвистические факторы дискурса (например, деривационные, семантические, фонетические), так и экстралингвистические (например, активная динамика объемов заимствования в русском языке, влияние практики англоязычного дискурса, особенности переводческого дискурса). Интралингвистическая аргументация потребовала актуализации феноменологического потенциала как рассматриваемых лексем, так и всего лексико-семантического поля *коммуникация*. Несомненно, полезной оказалась подробная дискурсивная экспликация релевантной семантики с опорой на лексикографическую практику.

Значимые выводы были сделаны по результатам рассмотрения референтной речевой практики в экстралингвистическом контексте компьютерно-опосредованной коммуникации. Практика современной коммуникации обусловлена ее компьютерной опосредованностью, приобретающей характер феноменологической доминанты. Информатизация и компьютерная технологичность современной лингвистики определяют высокую прецизионность и практическую ориентацию языковых данных. Вместе с тем возможности КОД не исчерпывают всего разнообразия современной речевой практики.

В то же время речевая практика свидетельствует об интерференции сфер словоупотребления членов диады *коммуникационный – коммуникативный* и расширении ареала доминирования лексемы *коммуникативный*. Последовательная имплементация лексемы *коммуникационный* в русскоязычном дискурсе практически отсутствует. Приоритетом речевой практики является оппозиционный ей член диады – *коммуникативный*. Функциональность диады *коммуникационный – коммуникативный* отражает противоречивость дискурсивного развития оппозиционных отношений в речевой практике.

Речевая практика далеко не всегда соответствует метаязыковой логике деривационного развития той или иной семантики, однако в контексте дискурса, особенно компьютерно-опосредованного, критериям оценки тех или иных функциональных закономерностей присуща лингвистическая убедительность. Исследование функциональности данной диады в дискурсивном аспекте подтверждает перспективность подобной методики.

Литература

1. Баркович А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная коммуникация. М.: Флинта: Наука, 2015. 288 с.
2. Webster's New World College Dictionary [5th edition]. Publisher: Webster's New World, 2014. 1728 p.
3. The American Heritage Dictionary of the English Language [5th edition]. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt, 2011. 2112 p.
4. Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб., 1910. 992 с.
5. Соловьев А.И. «Коммуникационный» versus «коммуникативный», и наоборот // Жыццём і словам прысягаючы...: да 85-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал.наук, праф. М.Я. Цікоцкага: зб. навук. прац. Мінск, 2007 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22805/1> (дата обращения: 29.05.2015).
6. Слозженикина Ю.В. Термин: живой как жизнь (почему термин может и должен иметь варианты) // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 5 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/5/Slozhenikina> (дата обращения: 29.05.2015).
7. Лецёв С.В. Коммуникативное, следовательно, коммуникационное. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 172 с.
8. Тищенко В.А. Компьютерно-опосредованная учебная коммуникация: коммуникативные барьеры // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2009. № 9. С. 24–29.
9. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: Толково-слово-образовательный: св. 136 000 слов, ст., ок. 250 000 семантических единиц: в 2 т. М.: Рус. яз., 2000. Т. 1: А–О. VII, 1213 с.; Т. 2: П–Я. 1084 с.
10. Обратный словарь русского языка: около 125 000 слов / науч.-ред. совет изд-ва «Сов. энцикл.». Вычислит. центр АН СССР; [Предисл. А. Зализняка]. М.: Сов. энцикл., 1974. 944 с.
11. Бенвенист Э. Общая лингвистика [пер. с фр.]. М.: Прогресс, 1974. 447 с.
12. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 436 с.
13. Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР: Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1985–1988. 2984 с.
14. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://academic.ru> (дата обращения: 29.05.2015).
15. Философская энциклопедия: в 5 т. М.: Сов. энцикл. / под ред. Ф.В. Константинова, 1960–1970.
16. Большая психологическая энциклопедия / отв. ред. Н. Дубенюк. М.: Эксмо, 2007. 544 с.
17. Социология: энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Минск: Интерпрессервис: Книжный Дом, 2003. 1312 с.
18. Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов: свыше 25 000 слов и словосочетаний. 3-е изд., испр. и доп. М.: Азбуковник, 2008. 1040 с.
19. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб. М.: Флинта: Наука, 2003. 320 с.
20. Белова К.А. Интернет-дискурс Беларуси в социолингвистическом аспекте: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2015. 24 с.
21. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцикл., 1966. 607 с.
22. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2> (дата обращения: 29.05.2015).
23. Баркович А.А. Металінгвістычная індэксацыя ў камп'ютарна-апасродкаваным дыскурсе // Беларуская лінгвістыка. Минск: Беларус. навука, 2015. Вып. 74. С. 79–87.

24. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 29.05.2015).

FUNCTIONALITY OF THE “COMMUNICATIONAL–COMMUNICATIVE” DYAD: A DISCURSIVE ASPECT.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 37–52.

DOI 10.17223/19986645/37/3

Barkovich Alexandr A., Belarusian State University (Minsk, Belarus) E-mail: albark@tut.by

Keywords: *discourse, functionality, meta-language, computer-mediated communication, phenomenon, opposition, dyad, model.*

The article considers the specifics of the functionality of the “communicational–communicative” dyad in a discursive aspect. The study of this pair of lexemes is relevant in the context of their high frequency and importance in the context of metalinguistic support of modern communication.

Complex discourse analysis of the lexemes “communicational” and “communicative” assumes the multidimensional consideration of their functionality in the Russian language and the involvement of data of computer-mediated discourse. The discursive practice of modern communication is due to its computer mediation, manifested as a phenomenological keynote. Informatization and computer maintainability of modern linguistics require high precision and practical orientation of language data.

The oppositeness of the “communicational–communicative” dyad is essential for the representation of its semantics as a set of variants of speech practice. A complex review of the functionality of the “communicational–communicative” opposition allows consideration of few subaspects and aggregates a kind of discursive hyperaspect, integrating the specifics and logic of the considered relations in broad intra- and extra-linguistic contexts.

An important feature in this context is the interdependence of intra- and extra-linguistic functionality of discourse that influences speech practice. Intra-linguistic reasoning demanded an actualization of the phenomenological potential of the discussed lexemes as well as of the whole lexical-semantic field “communication”. Detailed discursive explication of relevant semantics based on lexicographic practice was useful. The practice of widespread use of vocabulary that is related to the lexical-semantic field “communication” is due to numerous situations of borrowing of not only lexemes, but also contexts that contain them. In the cross-language aspect, the discursive implementation of the “communicational–communicative” pair confirms the extra-linguistic motivation of priority of the unit “communicative”.

Metalinguage and metalinguistic generalizations regarding the details of the functioning of the “communicational–communicative” dyad as a model are given. Opportunities of analyzing the relevant features of language units functionality in the form of metalinguistic oppositeness and paradigmatics indexes are found on the material of representative speech practice.

The use of attributive “communication” is more justified to indicate the affiliation of any denotation to the field “communication”, the term “communicative” semantically corresponds to a sufficient feature of the denotation in the field “communication”. The discursive practice of the functioning of the “communicational–communicative” dyad is complicated and ambiguous, susceptible to the influence of the relevant factors.

References

1. Barkovich, A.A. (2015) *Internet–diskurs: komp'yuterno-oposredovannaya kommunikatsiya* [Internet discourse: computer-mediated communication]. Moscow: Flinta: Nauka.
2. Editors of Webster's New World College Dictionaries. (2014) *Webster's New World College Dictionary*. 5th edition. Webster's New World.
3. Editors of the American Heritage Dictionaries. (2011) *The American Heritage Dictionary of the English Language*. 5th edition. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.
4. Chudinov, A.N. (1910) *Slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazyka* [Dictionary of foreign words, included in the Russian language]. St. Petersburg: Izdanie V.I. Gubinskogo.
5. Solov'ev, A.I. “Kommunikatsionnyy” versus “kommunikativnyy”, i naoborot [“Communicational” versus “communicative” and vice versa]. In: *Zhytstsem i slovam prysyagayuchy...: da 85goddzya zasluzh. rabotnika adukatsyi Resp. Belarus', d-ra filal.navuk, praf. M.Ya. Tsikotskaga* [Life and words of the oath: the 85th anniversary of honored employee of education of Belarus, Dr. of

Philology, Prof. N.E. Tikotsky]. Minsk. [Online]. Available from: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22805/1>. (Accessed: 29th May 2015).

6. Slozhenikina, Yu.V. (2010) Termin: zhivoy kak zhizn' (pochemu termin mozhet i dolzhen imet' varianty) [Term: as alive as life (why the term can and should have variants)]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 5. [Online]. Available from: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/5/Slozhenikina>. (Accessed: 29th May 2015).

7. Leshchev, S.V. (2002) *Kommunikativnoe, sledovatel'no, kommunikatsionnoe* [Communicative, therefore, communicational]. Moscow: Editorial URSS.

8. Tishchenko, V.A. (2009) Learning computer-mediated communication: communicative barriers. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 9. pp. 24–29. (In Russian).

9. Efremova, T.F. (2000) *Novyy slovar' russkogo yazyka: Tolkovo-slovoobrazovatel'nyy: Sv. 136000 slov. st., ok. 250000 semant. ed.: V 2 t.* [New Dictionary of the Russian language: Explanatory-derivational: 136,000 entries. c. 250000 semantic units. In 2 v.]. Moscow: Russkiy yazyk.

10. Sovetskaya Entsiklopediya Editors. (1974) *Obratnyy slovar' russkogo yazyka: Okolo 125000 slov* [Reverse Dictionary of the Russian language: c. 125,000 words]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

11. Benveniste, E. (1974) *Obshchaya lingvistika* [General linguistics]. Translated from French. Moscow: Progress.

12. Marouzeau, J. (1960) *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [The Glossary of Linguistic Terms]. Translated from French by N.D. Andreev. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.

13. Evgen'eva, A.P. (1985–1988) *Slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language: In 4 v.]. Moscow: Russkiy yazyk.

14. Dictionaries and encyclopedias at Academic.ru. [Online]. Available from: <http://academic.ru>. (Accessed: 29th May 2015).

15. Konstantinov, F.V. (1960–1970) *Filosofskaya Entsiklopediya. V 5 t.* [Philosophical Encyclopedia. In 5 v.]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

16. Dubenyuk, N. (2007) *Bol'shaya psikhologicheskaya entsiklopediya* [The Big Psychological Encyclopedia]. Moscow: Eksmo.

17. Gritsanov, A.A. et al. (2003) *Sotsiologiya: Entsiklopediya* [Sociology: Encyclopedia]. Minsk: Interpresservis; Knizhnyy Dom.

18. Zakharenko, E.N., Komarova, L.N. & Nechaeva, I.V. (2008) *Novyy slovar' inostrannykh slov: svyshe 25 000 slov i slovosochetaniy* [A new dictionary of foreign words: more than 25 000 words and phrases]. 3rd ed. Moscow: Azbukovnik.

19. Nelyubin, L.L. (2003) *Tolkovyy perevodovedcheskiy slovar'* [Explanatory Translation Studies Dictionary]. 3rd ed. Moscow: Flinta; Nauka.

20. Belova, K.A. (2015) *Internet–diskurs Belarusi v sotsiolingvisticheskom aspekte* [Internet discourse in Belarus in a sociolinguistic aspect]. Abstract of Philology Cand. Diss. Minsk.

21. Akhmanova, O.S. (1966) *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [A Dictionary of Linguistic Terms]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

22. Multitran Dictionary [Online]. Available from: <http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2>. (Accessed: 29th May 2015).

23. Barkovich, A.A. (2015) Metalingvistychnaya indeksatsiya ŷ kamp'yutarnaapasrodkavanyam dyskurse [Metalinguistic indexing in computer-mediated discourse]. *Belaruskaya lingvistyka*. 74. pp. 79–87.

24. The Russian National Corpus. [Online]. Available from: <http://www.ruscorpora.ru>. (Accessed: 29th May 2015). (In Russian).

УДК 81'282.2
DOI 10.17223/19986645/37/4

А.В. Блохинская

СЛАВЯНСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ПРИАМУРЬЕ

В статье рассматривается современная языковая ситуация в Приамурье с учетом славянской составляющей. Подавляющее большинство населения Амурской области составляли и составляют восточные славяне. Еще в конце XIX в. на территории Амурской области отмечались русский язык во всех его формах, говоры белорусских и украинских переселенцев, украинский литературный язык. В настоящее время на территории области белорусские и украинские говоры утрачиваются под воздействием как языковых, так и внеязыковых факторов.

Ключевые слова: языковая ситуация; Амурская область; украинские говоры; русский литературный язык.

Территорию Амурской области, как и большинство территорий Дальнего Востока, относят к так называемым территориям позднего заселения, т.е. территориям, заселение которых происходило после формирования русского национального языка [1. С. 17]. С 1854 г. сюда стали переселять забайкальских казаков для охраны границ, а в 1859 г. началось крестьянское переселение на Амур, продолжавшееся вплоть до 1970 г. Подавляющее большинство переселенцев составляли восточные славяне: русские, украинцы и белорусы. Они же составляли большую часть населения Амурской области [2. С. 28, 50; 3]. Как заметила, Ю.В. Аргудяева, исследователь в области традиционной и современной этнографии русских, украинцев и белорусов на Дальнем Востоке, заселение юга Дальнего Востока (Амурская и Приморская области) в конце XIX – начале XX в. – это «прежде всего крестьянская восточнославянская колонизация с преобладанием на первом этапе русских, а на последующих – украинцев» [4. С. 36].

Переселенческие потоки не могли не оказать влияние на языковую ситуацию в данном регионе, характеризующуюся «особой пестротой по сравнению с европейской частью страны» [5. С. 14] и тем самым привлекающую внимание исследователей. Так, отмечается, что еще в конце XIX в. на территории Приамурья, кроме языков автохтонных народов, проживавших здесь изначально, сосуществовали русский язык во всех его формах, говоры белорусских и украинских переселенцев, украинский литературный язык, а также языки представителей других национальностей [6. С. 12–17]. Впервые на неоднородность языкового ландшафта региона обратил внимание А.П. Георгиевский, организатор диалектологической экспедиции 1928 г. в Приамурье: «Трудно отыскать такой район, в котором на значительном протяжении и в большем числе можно было встретить тип одного цельного говора. Везде комбинированные, смешанные говоры, и если можно говорить о каких-либо

господствующих типах, то только как господствующих сравнительно» (цит. по: [5. С. 14]). Однако со временем ситуация изменилась.

Анализ современной языковой ситуации в Амурской области, проведенный автором статьи на основании данных современных исследований говоров Приамурья (Н.Г. Арихипова, Д.Н. Галимова, О.Ю. Галуза, Л.В. Кирпикова, Е.А. Оглезнева, Л.Ф. Путятина и др.) с учетом исследования нового диалектного материала, собранного в полевых условиях во время фольклорно-диалектологических экспедиций в села области, показал, что в настоящее время доминирующим как по числу говорящих, так и по числу коммуникативных сфер, обслуживаемых данным идиомом, является русский литературный язык, что обусловлено его функциями: это язык государственный и титульный [7]. Он же является языком межнационального общения. Сфера использования других языков ограничена национальной средой.

Русский литературный язык через образование, СМИ оказывает значительное влияние на диалекты, бытующие на территории области, способствуя стиранию ярких диалектных особенностей, преобладанию литературных форм и слов над диалектными.

Так, потомки белорусских переселенцев, которые в настоящее время проживают в селах Амурской области, говорят уже на русском диалекте, хотя в их речи отмечается белорусская и украинская лексика [8. С. 37].

Наблюдается утрата украинских говоров. Среди старшего поколения потомков украинских переселенцев преобладающее большинство – носители русского говора, сохраняющие лишь единичные украинские диалектные вкрапления. Украинский говор сохраняется лишь в речи пожилых людей, в основном женщин, рожденных в 1920–1930 гг. либо на Украине и в последующем переселившихся в Приамурье, либо на территории Амурской области [9. С. 70]. Всю свою жизнь они прожили в деревне, работали в колхозе. Они, как правило, не имеют образования, или учились только в начальной школе. Для их речи характерно, например, «и» на месте «ять» (*мисця, дитям*); различение *о* и *а* в безударной позиции после твердого согласного (*п[о]проситя, б[о]льший*); твердые согласные перед гласными переднего ряда (*возылы, дэжым, у дэрэвне*); отсутствие перехода *е* в *о* (*возьмэшь, тэща*); звонкий щелевой заднеязычный *γ* (*γарбы, бриγада*); [у] на месте /л/ в формах прошедшего времени глагола (*ув моде быу, быу голос*); твердые губные согласные на конце (*кров, церков*); чередование твердой и мягкой фонемы /р/ (*тры, токар, курэй, три, бригада, веришь*); окончание *-ив* (*-ыв*) в форме р.п. мн. ч. существительных (*тракторив мало, холодильникив не было, з предкив наших*); окончание *-емо, -имо* у глаголов 1-го л. мн. ч. (*мы закрываемо, спеваемо, мы держимо*); конечный [т'] у глаголов 3 л. мн. ч. и ед. ч. (*пьють, гуляють, сидить, кажет*); глаголы 3 л. ед. ч. без конечного [т] (*земляника там расте, вин живэ, знаэ, робэ*); окончания *-ы* у глаголов мн. ч. прошедшего времени (*жалы, жили, пережили*); местоимения 3 л. ед. ч. муж. р. *он и він* [вин]; двойные предлоги (*по-пид хатою, по-на воску*) и др.

Среднее и молодое поколения украинских переселенцев являются русскоговорящими. Однако для людей среднего возраста еще характерно пассивное владение украинскими говорами: они понимают речь своих родите-

лей, могут рассказать о реалиях прошлой жизни, используя украинскую и русскую диалектную лексику.

Это подтверждает сравнительный анализ языковых особенностей разных поколений потомков украинских переселенцев в одной семье: матери, носителя украинского говора (85 лет) Е., и ее дочери (55 лет) С.

Обе женщины родились в с. Николо-Александровка Октябрьского района Амурской области. Мать всю жизнь работала в колхозе. Ее родители приехали в Амурскую область из Полтавской губернии «давным-давно». Ее муж был русским, родился в Амурской области, его родители переселились «с Запада». Дочь С. имеет средне-специальное образование. Работала в селе бухгалтером.

Сравним их речь на разных языковых уровнях [10].

Фонетический уровень

1. В речи матери отмечается использование гласного [и] на месте этимологического «ять»: *хлеб, мисяц, дитям, дило, недилли, всим*, а в речи ее дочери – [е]: *нет, пели, дети, ехали*.

2. В речи Е. фонемы /а/ и /о/ в первом предударном слоге после твердого согласного различаются: *конечно, к[о]лхоз, на к[о]нях, п[о]проситя, б[о]льший, д[о]яркою, до р[о]дов*. Для С. характерна редукция гласных в безударных слогах: к в[а]де, п[а]ём, в мол[ъ]д[ъ]сти.

3. Употребление звонкого щелевого заднеязычного γ характерно как для старшего поколения переселенцев, так и для среднего. Однако есть ряд отличий. В речи дочери употребление звонкого заднеязычного γ несистемно. Он встречается в некоторых словах, в том числе и диалектных, а также при воспроизведении украинских песен: *гарба, в гарод брали, в гароде садик, оно уладкое, «запрягайтэ, хлопцы, кони да лягайтэ спочивать...»*.

4. В речи матери фонема /в/ реализуется в звуках [в] и [у], [ув]. [У] встречается перед согласным, перед гласными употребляется [в], [ув]: *усих, усё, у кучки, у тыл, у хату, овечки, девяносто, травы, ув армию, одевались, посивали*. В речи дочери зафиксирован только [в]: *в конец огорода, всё было, в молодости, в городе, в печки, в паспорте*.

5. В речи С. фонема /ф/ реализуется как [ф]: *пирог с фасолью, отварят фасоль, сарафаны, кофты*, а у матери – [ф], [хф], [кф], [х] или [хв]: *на фронте, кфасоль, сарафанчики, свинохверма, конфэтку, хфермерской, кохту, схфотографировали, фотокарточку*.

6. Произношение [х] на месте [к] в речи дочери встретилось только в слове *трахтарами* (такое произношение характерно для жителей деревни). В то время как в речи матери зафиксированы формы: *хрэстик, хрещены, хто, нихто, трахтарив*.

7. В речи Е. отмечалась утрата /j/ в интервокальной позиции (*втора, перва, знаэте, больша, нефтяна, длинна*), что не характерно для речи ее дочери: *она такая, большая, такое, шоб тёплое, большие такие были*.

8. Употребление твердых согласных перед гласными переднего ряда в речи дочери встретилось при цитировании украинской песни: *в сад зэлэный*, в остальных случаях: *во зелёному саду, десять, восемь, не дала*. В то время как в речи матери наблюдается доминирование твердых согласных перед гласными переднего ряда: *плыты, возылы, дэсят, ходыли, святылы, молотылы, мэтр, мэтра (метр), помэр, самы, купыть, полэ, пэклы, пэрэшла, нэ знаю и др.*

9. На месте литературного *што* у С. произносится *чѣ*, а на месте *чтобы* – *шоб*. Материнский вариант *шо* не зафиксирован.

Морфологический уровень

1. Существительное *церковь* у Е. имеет формы двух склонений: *церква* – 1-го склонения и *церковь* – 3-го склонения (*була церква давным; та контора была церковь*), а у дочери – только 3-го склонения: *в той церкви*.

2. Местоимение 3-го лица единственного числа мужского рода в речи С. имеет форму – он: *он с восемнадцатого*, параллельное употребление формы *вин*, характерное для ее матери, не встречается (*вин семь годов; вин всех перебирает; вин хрестик носит; но он отслужил; приехал он*).

3. В речи С. вместо местоимений *така*, *такэ* используются формы *такая*, *такое*: *она такая, такая-то, такое оно, не сильно такое*, в то время как у матери: *дороговизна така, врѣмя хоть не такэ, жизнь така разна, бабка была такая, жєницина така была*.

4. У Е. глаголы в форме 3-го лица единственного числа и множественного настоящего и будущего времени могут иметь на конце [т’]: *снимаеть, можеть, визуть в полѣ, заберуть, качають*. У С. глаголы 3-го лица единственного и множественного числа заканчиваются на твердый -т: *отмечают, собирают, возят, покормит, работает, заиграет, не выдерживает, выходит, выдерживает, отварят, прокрутят, празднуют*.

5. В речи старшего поколения глаголы прошедшего времени множественного числа имеют окончание -ы (*отделылася, посивалы, делалы, добавлялы, ломалы*), а в речи среднего – -и: *возили, открыли, готовили*.

6. Глагол *быть* в речи дочери имеет формы: *было, была, были*: *десять было, всё было, была одна, они были, шали были, родственники были*, в то время как в речи Е. наблюдаются формы: *бул, було, была, була, був, булы, было*: *колхоз бул, свинохферма была, мала було, на свинарни була, був токаром, люды булы, ничего не было у нас*.

На лексическом уровне наблюдаются следующие различия:

Для С. характерно пассивное владение диалектной лексикой, в том числе и украинской. Она понимает речь своей матери, может ее комментировать; рассказывая о своем детстве, реалиях прошлой жизни, широко использует диалектные наименования предметов, процессов, явлений. В таблице представлены различия в речи матери и дочери на лексическом уровне.

Е.	С.
босяка (<i>так босяка ходылы</i>)	босяком (<i>босяком в основном ходили</i>)
вси (<i>и вси ему</i>)	все (<i>не все любят</i>)
гарба	гарба
дрожки	дрожки
маты, мама (<i>маты пошила платье</i>)	мама (<i>не помните, мам</i>)
нема	нет, нету (<i>числа ... нету</i>)
робити, работать (<i>рѣбили тики</i>)	работать (<i>она работает</i>)
тачки	тачки
кажу (<i>Наверно, – кажу, – верышь</i>)	говорю (<i>я гварю</i>)
туточка	тут (<i>тут вот собирают</i>)
цэ (<i>от це контора</i>)	это (<i>вот это</i>)

Сравнительный анализ языковых особенностей в речи матери и ее дочери позволяет отразить динамику изменений, которые происходят в речи потомков украинских переселенцев. Если Е. относится к диалектному типу, в ее речи сохраняется украинский говор, отмечается вариативность украинских и русских форм, то ее дочь является русскоговорящей.

Представленный анализ отражает общую тенденцию, выявленную в ходе фольклорно-диалектологических экспедиций в села Октябрьского района Амурской области, где отмечается постепенная утрата украинских говоров, что обусловлено, на наш взгляд, следующими причинами: постоянное взаимодействие с носителями русских говоров, смешанные русско-украинские браки, отсутствие возможности изучать украинский язык в школах, кружках и т.д., активное влияние русского литературного языка через образование на русском языке, СМИ, престижность «быть русским» в силу разных политических и исторических событий, а также индивидуальными особенностями диалектоносителей.

Итак, для современной языковой ситуации в Приамурье характерна утрата говоров белорусского и украинского языков. Основные причины утраты данных говоров – оторванность от основных диалектных массивов данных языков, влияние соседствующих русских говоров и русского языка.

Отметим, что такая ситуация типична для современного общества, где «наиболее высок социальный престиж литературного языка, как культурного символа нации» [11. С. 116], при этом переход от диалекта к литературному языку может быть вызван как сознательным отказом от своей языковой системы, что связано как с внутренним ощущением престижности другой системы [Там же. С. 117], так и с влиянием неязыковых факторов (политических, социальных и др.), желанием не выделяться на общем фоне говорящих. Кроме того, для территорий позднего заселения (к которым относится и Амурская область) характерна активность нивелирующих процессов, вызванных влиянием литературного языка, обусловленных соседством говоров разного типа, неоднородностью диалектных массивов и способствующих расшатыванию коммуникативной значимости диалектных систем и утрате их внутренней устойчивости [12. С. 8].

Таким образом, представленный в статье анализ позволил, с одной стороны, дополнить уже имеющиеся исследования языковых ситуаций территорий позднего заселения, а с другой – показать общность протекающих в них процессов.

Литература

1. Баранникова Л.И. О некоторых особенностях развития диалектов на территории позднего заселения // *Язык и общество*. 1967. Вып. 1. С. 16–35.
2. *История переписей населения в Амурскую область*: Записка. Амурстат. Благовещенск, 2010. 81 с.
3. *Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Амурской области*: Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. по Амурской области. URL: <http://amurstat.gks.ru/perepis2010/itogivpn2010/default.aspx> (дата обращения: 03.06.2012).

4. Аргудьева Ю.В. Этническая и этнокультурная история русских на юге Дальнего Востока России (вторая половина XIX в. – начало XX в.) Кн. 1: Крестьяне. Владивосток: ДВО РАН, 2006. 312 с.
5. Рябинина Н.И. Русские говоры Дальнего Востока. Комсомольск-на-Амуре: Изд-во гос. пед. ин-та, 1996. 49 с.
6. Оглезнева Е.А. Языковая ситуация в Приамурье: динамический аспект: историко-лингвистический очерк // Слово: фольклорно-диалектологический альманах: Материалы научных экспедиций. Вып. 9. Славянское языковое взаимодействие в Дальневосточном регионе / под ред. Н.Г. Архиповой, Е.А. Оглезневой. Благовещенск, 2011. С. 7–25.
7. Блохинская А.В. Современная языковая ситуация в Амурской области // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2014. Вып. 64. С. 155–162.
8. Оглезнева Е.А. Языковая ситуация в дальневосточном регионе России: динамика славянской составляющей // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 356. С. 33–38.
9. Блохинская А.В. О степени сохранности украинских говоров на территории современного Приамурья (на материале говоров Октябрьского района) // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2013. № 10. С. 69–73.
10. Фоноархив лаборатории региональной лингвистики АмГУ. Дневники № 592, 609.
11. Калынин Л.Э. Русские диалекты в современной языковой ситуации и их динамика // Вopr. языкознания. 1997. № 3. С. 115–124.
12. Баранникова Л.И. Говоры территории позднего заселения и проблемы методов их изучения // Проблемы изучения русских говоров вторичного образования. Кемерово, 1983. С. 3–11.

THE SLAVIC COMPONENT OF THE MODERN LANGUAGE SITUATION IN THE AMUR REGION.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 53–59.

DOI 10.17223/19986645/37/4

Blokhinskaya Alyona V., Amur State University (Blagoveshchensk, Russian Federation). E-mail: avblokhinskaya@mail.ru

Keywords: language situation; the Amur region; Ukrainian dialects; Russian literary language.

The colonization of the Far East began at the end of the 19th – early 20th centuries. Most immigrants were Eastern Slavs: Russian, Ukrainians and Belarusians.

Resettlement had an impact on the language situation in the region. Autochthonous peoples' languages, Russian language in all its forms, dialects of Belarusian and Ukrainian immigrants, Ukrainian literary language, the languages of other nationalities coexisted in the Amur region at the end of the nineteenth century. However, over time the situation has changed.

Russian literary language is the dominant language now. It is also the language of international communication. The use of other languages is limited to the national environment. Russian literary language has a significant impact on regional dialects and erases bright dialectal features. Thus, the descendants of Belarusian immigrants, who live in the villages of the Amur Region now, speak the Russian dialect, although the Belarusian and Ukrainian vocabulary is noted in their speech.

Ukrainian dialects are also being lost. The vast majority of the older generation descendants of Ukrainian immigrants use Russian dialects, but retain single Ukrainian dialect inclusions. The Ukrainian dialect is preserved only in the speech of some older individuals. It is mostly women born in 1920s–1930s in the Ukraine who later moved to the Amur region, or in the Amur region. During their life they have lived in the village, worked in the kolkhoz. They usually have no education or simply studied in an elementary school.

Middle and younger generations of Ukrainian immigrants are Russian-speaking people. But the people of the middle generation still passively know Ukrainian dialects: they know the speech of their parents, can tell you about the realities of the past life, using Ukrainian and Russian dialect vocabulary. This is confirmed by a comparative analysis of linguistic characteristics of different descendants' generations of Ukrainian immigrants in the same family: mother using the Ukrainian dialect (85 y.o.) and her daughter (55 y.o.).

References

1. Barannikova, L.I. (1967) O nekotorykh osobennostyakh razvitiya dialektov na territorii pozdnego zaseleniya [Some peculiarities of the dialects in the territory of late settlement]. *Yazyk i obshchestvo*. 1. pp. 16–35.

2. Amurstat. (2010) *Istoriya perepisey naseleniya v Amurskuyu oblast': Zapiska. Amurstat* [The history of population censuses in Amur Oblast: A note. Amur Statistics]. Blagoveshchensk.
3. The territorial body of the Federal State Statistics Service of Amur Oblast. (2010) *Informatsionnye materialy ob okonchatel'nykh itogakh Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2010 g. po Amurskoy oblasti* [Information materials on the final results of the national census in 2010 in Amur Oblast]. [Online]. Available from: <http://amurstat.gks.ru/perepis2010/itogivpn2010/default.aspx>. (Accessed: 03rd June 2012).
4. Argudyaeva, Yu.V. (2006) *Etnicheskaya i etnokul'turnaya istoriya russkikh na yuge Dal'nego Vostoka Rossii (vtoraya polovina XIX v. – nachalo XX v.)* [Ethnic and ethno-cultural history of the Russian Far East in the south of Russia (second half of the 19th – early 20th centuries)]. Book 1. Vladivostok: Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences.
5. Ryabinina, N.I. (1996) *Russkie govory Dal'nego Vostoka* [Russian dialects of the Far East]. Komsomolsk-on-Amur: State Pedagogical Institute.
6. Oglezneva, E.A. (2011) Yazykovaya situatsiya v Priamur'e: dinamicheskiy aspekt. Istoriko-lingvisticheskiy ocherk [The language situation in the Amur region: the dynamic aspect. Historical and linguistic essay]. In: Oglezneva, E.A. & Arkhipova, N.G. (eds) *Slovo: Fol'klorno-dialektologicheskii al'manakh. Materialy nauchnykh ekspeditsiy* [Word: Folklore dialectological almanac. Materials of scientific expeditions]. Is. 9. *Slavyanskoe yazykovoe vzaimodeystvie v Dal'nevostochnom regione* [Slavic linguistic interaction in the Far East]. Blagoveshchensk: Amur State University.
7. Blokhinskaya, A.V. (2014) Sovremennaya yazykovaya situatsiya v Amurskoy oblasti [Modern linguistic situation in Amur Oblast]. *Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki*. 64. pp. 155–162.
8. Oglezneva, E.A. (2012) Language situation in the Russian Far East: dynamics of Slavonic elements. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 356. pp. 33–38. (In Russian).
9. Blokhinskaya, A.V. (2013) O stepeni sokhrannosti ukrainskikh govorov na territorii sovremennogo Priamur'ya (na materiale govorov Oktyabr'skogo rayona) [The degree of preservation of Ukrainian dialects on the territory of modern Amur region (based on the dialects of the Oktyabrsky district)]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta*. 10. pp. 69–73.
10. Phonoarchive of the Regional Linguistics Laboratory of Amur State University. Records 592, 609. (In Russian).
11. Kalnyn', L.E. (1997) Russkie dialekty v sovremennoy yazykovoy situatsii i ikh dinamika [Russian dialects in modern language situation and their dynamics]. *Voprosy yazykoznaniiya*. 3. pp. 115–124.
12. Barannikova, L.I. (1983) Govory territorii pozdnego zaseleniya i problemy metodov ikh izucheniya [Dialects of the territory of late settlement and the problem of methods of their study]. In: Palagina, V.V. (ed.) *Problemy izucheniya russkikh govorov vtorichnogo obrazovaniya* [The study of Russian dialects of secondary formation]. Kemerovo: Kemerovo State University.

УДК 81'37:811.161.1
DOI 10.17223/19986645/37/5

Л.П. Колоколова

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ СФЕРЕ «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА»

Статья посвящена исследованию когнитивной научной парадигмы. Проблемы системности лексики анализируются с концептуальных позиций. В качестве основного объекта рассматривается функционально-когнитивная сфера «Жизнь человека», в которой проблемы локальности, темпоральности, событийности представляют собой сложные пакеты информации, передающие совокупность знаний об объектах и ситуациях во всем многообразии связей и отношений. Исследование осуществляется на основе Функционально-когнитивного словаря – активного словаря нового типа, где лексика русского языка описывается с опорой на речевую деятельность.

Ключевые слова: когнитивная семантика, антропоцентризм, функционально-когнитивная сфера, функционально-когнитивный словарь, локальность, темпоральность, событийность.

В настоящее время налицо углубление таких глобалистических ситуаций, которые свидетельствуют о цивилизованном сдвиге, находящем отражение в бытии каждого человека. Такой стремительно изменяющийся мир бросает вызов способности человека правильно в нем ориентироваться, принимать решения, адекватные комфортности и оптимуму его бытия. Все происходящие изменения как в обществе, так и в жизни человека отражаются в языковом пространстве.

Представление о языке как о семантическом пространстве находится в центре внимания когнитивной лингвистики. Становление когнитивного подхода во второй половине XX столетия Н.Н. Болдырев связывает с разработкой многоуровневой теории значения – когнитивной семантики. Особенностью, отличающей ее от других семантических теорий, является выход за пределы собственно языковых знаний, обращение к знаниям неязыкового, энциклопедического характера и определение роли этих знаний в процессе формирования языковых значений и смысла высказывания [2. С. 24].

Функционально-когнитивный подход к систематизации словарного состава позволяет подойти к решению данной проблемы с опорой на речемыслительную деятельность человека и выделить качественно новые разряды лексики, которые составляют каркас словаря и организуют его структуру: они определяют как членение лексикона, так и семантические процессы, происходящие в отдельных блоках и лексемах. На наш взгляд, расчленение мира в деятельностном аспекте находит отражение в объёмных функционально-когнитивных сферах (термин В.Г. Гафаровой и Т.А. Кильдибековой), которые представляют собой принципиально новый тип организации лексики.

Функционально-когнитивная сфера выступает в качестве обширных объединений слов, отличительными особенностями которых являются объём-

ность, разноплановость, многоаспектность. Основу функционально-когнитивной сферы составляет макроконцепт, который проявляется в языке как многомерная и многоуровневая сущность. Каждый тип значения связан с общим понятием разнообразными смысловыми отношениями, проявляющимися на глубинном уровне. Выражая наиболее абстрактное глобальное значение, макроконцепт составляет вершину концептуального класса и представляет всю совокупность знаний об объектах и ситуациях во всем многообразии связей и отношений.

Научная новизна исследования заключается в том, что информационные блоки локальности, темпоральности, событийности подвергаются комплексному анализу с новых функционально-когнитивных позиций, в которых отражаются различные аспекты конкретизации глобальной функционально-когнитивной сферы «Жизнь человека». Более того, описание заявленных ключевых лексем осуществляется на базе «Функционально-когнитивного словаря русского языка», который экспонировался на крупных международных выставках и получил признание читателей России, Германии, Китая, Чехии, Украины [8]. Опираясь на работы А. Вежбицкой, Ю.Н. Караулова, Т.А. Кильдибековой, Л.О. Чернейко и других лингвистов, можно отметить, что ключевые слова – это понятия, особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры. По определению Л.О. Чернейко, «ключевыми следует считать слова, обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания» [9]. По мнению Ю.Н. Караулова, ключевые слова обладают высокой смысловой значимостью, выполняют символическую функцию для большого семантического комплекса, определяют смысловые вехи [4].

Возникновение антропоцентрической парадигмы в языкознании было предопределено, поскольку сам язык антропоцентричен по своей сути, «человек запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои эмоции, свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру, природе, свои отношения к коллективу людей и другому человеку» [1. С. 3]. Н.Д. Арутюнова анализирует человека в языке и язык в человеке. В центре внимания оказывается личность носителя языка. Новый подход учитывает роль человеческого фактора в языке, вместо опоры на форму появляется опора на содержание, не на механизм, лежащий в основе языка, а на его применение.

Е.С. Кубрякова, отвечая на вопрос, в чем сущность антропоцентризма как основного принципа лингвистических исследований, подчеркивает, что «научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и ее усовершенствования. Человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и конечные цели» [5. С. 212].

Таким образом, в центре антропоцентрического подхода эксплицитно провозглашается принцип постижения языка в тесной связи с бытием человека. Человек становится центральным объектом исследования, поэтому уделяется большое внимание его месту в культуре. Информация об окружающем мире приходит к человеку через язык, поэтому человек живет в мире концеп-

тов, созданных им же для интеллектуальных, духовных, социальных потребностей.

Исследование различных аспектов функционально-когнитивной сферы «Жизнь человека» осуществляется на основе «Функционально-когнитивного словаря русского языка: Языковая картина мира», в котором антропоцентрический принцип языка пронизывает всё семантическое пространство, и позволяет раскрыть существенные стороны жизнедеятельности человека. Автором проекта, ведущим составителем функционально-когнитивного словаря является доктор филологических наук, профессор Башкирского государственного университета Т.А. Кильдибекова. В монографии «Теоретические основы и принципы составления функционально-когнитивного словаря» [3] Г.В. Гафарова и Т.А. Кильдибекова анализируют проблемы системности лексики, описывают общие принципы составления функционально-когнитивного словаря и отражают различные аспекты конкретизации глобального концепта в процессе речевой коммуникации. В 2013 г. был опубликован «Функционально-когнитивный словарь русского языка: Языковая картина мира» [8], составителями которого являются Т.А. Кильдибекова, Г.В. Гафарова, Х.Н. Исмагилова, Г.Ф. Хакимова, С.З. Анохина, Л.П. Колоколова, Э.М. Миргязова, Д.А. Юлдашева. Каждый из составителей названного словаря занимался разработкой определенной функционально-когнитивной сферы, в частности, автор статьи Л.П. Колоколова разрабатывала функционально-когнитивную сферу «Жизнь человека», включающую следующие аспекты: место жительства; семья, родственные отношения; качество жизни; время; жизненный путь; жизненные потребности; здоровье; материальное положение.

Более подробно остановимся на реализации временного аспекта в макроконцепте «Жизнь человека».

Главным темпоральным словом в русском языке, объединяющим все остальные в единую область, является слово *время*.

В отношении ключевых слов рассматриваемой концептуальной сферы мы абсолютно согласны с мнением В.А. Плунгяна, который заметил, что «лексема *время* явно не желает вписываться в принятые рамки лексикологических трактовок» и, «скорее всего, есть что-то в ее природе, что этому очень активно сопротивляется» [7. С. 160].

Темпоральность – это информационно-смысловой блок, который отражает восприятие и осмысление человеком обозначаемых ситуаций, событий и их элементов по отношению к определенной точке отсчета.

Лексема *время* многозначна, поэтому когнитивный подход позволяет выстроить иерархию лексико-семантических вариантов многозначного существительного *время* с учетом их частотности и особенностей функционирования. Время издавна привлекало внимание человека прежде всего потому, что оно определило собой те границы, в которых разворачивалась человеческая жизнь. В связи с этим в функционально-когнитивной сфере темпоральности следует выделить информационно-смысловые блоки: общее понятие времени, ситуативное время, время жизни человека.

Рассмотрим каждый информационно-смысловой блок отдельно.

Первый семантический блок «общее понятие времени» в функционально-когнитивном словаре представлен характеристикой времени по отношению к месту его проявления. В качестве конкретизатора выступают имена прилагательные: *местное, московское, среднеевропейское время*. Словосочетание *местное время* содержит семантический компонент «относящийся только к определенной местности, не общий»: *Часы показывают местное время*. В данной парадигматической группе в русском языке можно зафиксировать оппозицию *местное время – московское время*, выступающее как часть к целому. Более того, семантическим конкретизатором словосочетания *московское время* выступает объект *куранты*, представляющий собой башенные центральные часы с музыкальным механизмом, показывающим точное время по всей стране. В анализируемой ситуации темпоральный аспект, представляющий общее понятие времени, взаимодействует с локальным аспектом, так как временные отношения характерны для конкретной территории.

Время воспринимается как постоянно изменяющаяся, динамическая категория: *Время идет (быстро, медленно), летит, тянется (долго), как будто остановилось*. Время образует развернутый фрейм интерпретации: *время можно беречь, экономить; выбрать, выделить, выкроить, не находить времени; использовать, терять, тратить, упустить время, назначить время, выиграть время, отнимать у кого-либо время, располагать, дорожить временем, время терпит, время не терпит*.

Характеризуя информационно-смысловой блок «общее понятие времени», следует указать на различные аспекты его конкретизации: *время утреннее, дневное, вечернее, ночное, раннее, позднее, летнее, осеннее, зимнее, весеннее, дождливое, холодное, сухое, теплое*.

Сфера темпоральности тесно связана с функционально-семантической сферой деятельности, в которой фиксируются «рабочие отрезки» времени: *рабочий день, рабочая неделя, нерабочий день; час академический, часы учебные, обеденные; текущий год, урожайный, календарный, отчетный, финансовый*. Функциональный потенциал существительного *время* увеличивается за счет таких лексических единиц, как *декада, месяц, квартал, четверть, семестр, сезон*. Кроме того, в информационно-смысловой сфере «деятельность» следует выделить лексическую группу, представляющую специализированные временные отрезки: *смена, вахта, дежурство; лекция, урок; сессия; период (матча), матч, партия; тайм, сет, гейм*.

В семантическом блоке «общее понятие время» универсальными являются единицы измерения времени, передающие календарно-хронологические отрезки бытия и формирующие когнитивную модель цикличности времени: *год, месяц, неделя, сутки, день, час, минута*; наименование месяцев, дней недели. В языке находят отражение более объёмные и незначительные и в то же время неопределённые отрезки времени. Ср.: *эпоха (перестройки), период (реформ), эра (космонавтики), век (атома); миг, мгновение, момент, секунда*.

Таким образом, функционально-когнитивная зона «общее понятие времени» представляет собой следующие информационно-смысловые комплексы: единицы измерения времени, времена года, отрезки времени.

С точки зрения когнитивного содержания второй семантический блок «ситуативное время» представляет собой иерархическое строение и состоит

из отдельных информационно-смысловых комплексов: настоящее, прошлое, будущее; длительность; последовательность; регулярность.

В таксономический ряд, объединенный семантическими конкретизаторами «предшествование; теперешний, происходящий в данный момент; предстоящий», входят лексемы *прошлое, настоящее, будущее*. Ср.: *Процесс познания начинается с прошлого, он не может быть отъединён от настоящего и локализован* (Ю. Бондарев); *За своё будущее он был вполне спокоен: уж если какая-нибудь из этих девиц выходила замуж, то на такую можно положиться. Из них выходили верные спутницы жизни* (Э. Ремарк). Каждая названная выше лексема может расширять свою сферу употребления за счет различных лексико-семантических вариантов и сочетаемостных возможностей, что позволяет говорить об объёмных информационно-смысловых структурах.

Третий семантический блок «время жизни человека» включает возраст, возрастные группы, периоды жизни, поколения, продолжительность жизни, конец жизни. В представленном семантическом блоке необходимо выделить ряд ключевых слов, обозначающих периоды, «нормативный цикл жизни человека»: *детство (далёкое), отрочество, юность, молодость, старость*; лексико-семантическую группу, обозначающую фазы «жизни»: *на закате лет, на склоне лет, начало, конец, середина жизни*. Временной план реализуется в лексико-семантической группе имен, обозначающей возраст человека: *дети/взрослые; ребёнок (грудной, двухмесячный, годовалый и т.д.); мальчик, девочка; подросток; юноша, девушка; мужчина, женщина; старик (глубокий, древний, дряхлый), старуха; человек молодой, немолодой, взрослый, пожилой, средних лет, старый, престарелый; возраст – грудной, младенческий, ранний, детский, юный, юношеский, молодой, зрелый; поколение – молодое, старшее*. Выделенные таксономические ряды позволяют говорить о взаимодействии категории времени с субъектом, занимающим значительное место в функционально-когнитивной сфере бытия.

Макроконцепт «Жизнь человека» кроме временных отношений имеет пространственное измерение, которое является обязательным атрибутом осознания человеком мира. Человек сталкивается с пространством, когда начинает осознавать себя и познавать окружающий мир. С позиций когнитологии пространство для человека является самой важной категорией для восприятия мира. В русском языке бытие человека представлено прежде всего глаголом *существовать* и отглагольным существительным *существование* и выражено пространственно, таким образом, оно соответствует толкованию этого понятия в древнегреческой философии: «существовать – значит быть где-то».

На почве общего и недифференцированного значения бытийности возникают отношения локального типа. В этом случае имеются в виду обычные пространственные отношения. Для нас представляет интерес интерпретация пространства с когнитивной точки зрения.

Пространственные отношения связаны прежде всего с локализацией событий. Н.Д. Арутюнова указывает, что «события мыслятся как происходящие не в пространстве «безграничного мира», а в его более узкой сфере – сфере жизни личности, семьи, группы людей, коллектива, общества, науки, госу-

дарства. Именно микрокосм, редуцированный или расширенный, скрепляет события в последовательности» [1. С. 71]. Человек воспринимает пространство как нечто, существующее вне. Оно заполнено людьми, предметами. В данном мире живут близкие, свои, родные люди. Пространство воспринимается человеком и как открытое место, не имеющее границ.

Таким образом, локальность является одной из универсальных категорий языка, представляющих собой довольно сложную категорию, в которой стыкуются событийные сферы и многообразие характеристик предметов – функциональных, параметрических, дейктических.

Локальный аспект конкретизации бытия проявляется как наиболее разветвленный и частотный в русском языке. Так, вокруг ключевого глагола *жить* группируется иерархически организованная система существительных, в которых представлен переход от слов с широким значением к лексемам с более узкой семантикой, передающим существенно разные типы информации:

жить – на Земле / на другой планете; на белом свете / в потустороннем мире; на каком-л. континенте: в Азии, в Африке, в Латинской Америке, в Австралии, в Европе; в какой-л. стране: в Австрии, в Англии, в Болгарии, в США, в России, во Франции, в Швейцарии; в каком-л. регионе, области, республике: в Сибири, в Крыму, на Дальнем Востоке, на Урале, в Татарстане; в какой-л. местности, стороне света: на юге, на востоке, на западе, на острове, в горах, в степях, на полуострове; в населенном пункте: в городе, в деревне, в селе, в поселке, в станице, в сельской местности; в столице, в провинции, в захолустье; в каком-л. жилище: в доме, в квартире, в коттедже, в общешитии, в гостинице, в детском доме, в интернате.

В данной системе существительных представлена функционально-когнитивная сфера бытия, в которой реализуется словосочетание *жить где* с различным объемом семантики локализатора. Особенностью всех локальных конкретизаторов перечисленных выше групп в функционально-когнитивной сфере бытия является то, что они все связаны с конкретизацией основного субъекта бытия – человека.

Область бытования может изменять свой объем в пределах мира человека, Вселенной, взятой в отвлечении от ее пространственных и временных границ, до микромира человека или даже его части, рассматриваемой в определенный момент бытия. Таким образом, область бытования может быть понята в широком и узком для мира человека смысле. В широком смысле категория бытия выражает идею общего существования всего живого. В русском языке для передачи данной информации употребляются глаголы *жить* и существительное *жизнь*.

Общее значение глагола *жить* – существовать, быть в реальности, в действительности и существительное *жизнь* – существование, бытие. Существование объекта предполагает информацию о нахождении объекта в том или ином конкретном физическом пространстве.

Данный признак реализуется в сочетании с абстрактными локализаторами, несущими информацию о нахождении человека в физическом пространстве: во Вселенной, на планете, в этом мире, под небом, на свете, на земле, идентифицирующими значение «планета, на которой мы живем». Ср.: Они

уже примирились с мыслью, что им на свете не жить, жизнь их окончилась, оставалось дожить какой-то остаток (В. Быков). Жить на такой планете – только терять время (И. Ильф). Жизнь во Вселенной вечна в том смысле, как вечна Вселенная (Д. Гранин).

В анализируемых примерах представлена функционально-когнитивная сфера бытия, в которой реализуется словосочетание *жить на Земле*. В данную сферу входят лексемы, обозначающие совокупность людей: *человечество, род человеческий, население земного шара, народы Земли, народы земного шара*. Обозначение индивида как единичного понятия данного семантического ряда представляют лексические единицы *земляне, homo sapiens*.

В качестве главного обозначения субъекта наименования *народы*, населяющие нашу планету, выступает словосочетание, обозначающее конкретные наименования, например, *европейские, азиатские, африканские народы*. Следовательно, локальность как одна из универсальных категорий языка связана с субъектными наименованиями.

Макромир человека определяют понятия с широким локальным значением. В сфере локальных конкретизаторов широкой семантикой обладают наименования, называющие континенты, стороны света, природные ландшафты: *Африка, Азия, Европа, юг, восток, запад, север; остров, полуостров, горы, степи, лес, пустыня, долина, берег* и др.

Лексема **континент** имеет в восприятии человека дополнительную информацию, которая характеризует исторически сложившуюся группу человечества по цвету кожи, например, *Африка – Черный континент*. Также дополнительную информацию приобретает прилагательное *зеленый* в примере *Австралия – Зеленый континент*, так как здесь представлена характеристика «девственной» природы.

Когнитивный подход позволяет представить в абстрактном существительном *жизнь* ситуацию «жить на территории, управляемой самостоятельным правительством», выражающуюся в словосочетаниях *жизнь в стране, в государстве, державе*. В речи эти номинации нередко конкретизируются именем собственным. Ср.: *Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная Родина* (В. Набоков). *А семья – самая обыкновенная, жила в Южной Польше, этот кусок земли, который переходил из рук в руки и принадлежал Австро-Венгрии* (Л. Улицкая).

Дифференциация лексемы **страна** позволяет выстроить иерархию лексико-семантических вариантов, производящих следующие наименования: 1) ориентированность, представленную такими обозначениями, как *европейские, азиатские страны*; 2) географические соответствия – *южные, северные страны*; 3) страны, имеющие особую привязанность к местности, к образу жизни, культуре, внутреннему устройству, истории – *Скандинавские страны*.

В связи с расширением сферы употребления лексема **страна** приобретает объемное значение, и в силу этого необходимо остановиться на понятии **родина** «отечество, родная страна». Само по себе понятие **родины** как родной страны представляет собой совокупность метафор, концептуализирующих специфические социальные отношения. По данным этимологических словарей, производящая основа слова «родина» – корень «род-», восходящий к праславянскому *rodъ* и общий с русским «рост-, раст-» «прямо стоящий,

вставший, поднявшийся». Можно предполагать, что здесь идея саморазвития, роста, отдельного бытия, свойственная растительному миру, переосмысливается в идею порождения – производства другого, отличного от себя существа.

Понятию **родина** противостоит понятие **чужбина** «чужая страна». **Родина** как материальное и духовное сообщество «своих» привлекает к себе такие понятия, как *любить родину, защищать родину*, а **чужбина** связана с понятиями *ностальгия, тоска по родине, жить на чужбине, умереть на чужбине*. Поскольку в настоящее время отсутствуют ограничения и стеснения в передвижениях по миру, то семантическая окраска «ностальгия», «тоска по родине» стирается и возникает большой интерес в сторону «чуждой страны».

Пространство человека может сужаться. Микромир в этом случае создается отношениями к личной сфере бытия человека. Область бытования при этом тяготеет к локализаторам, обладающим более узкой семантикой.

Личный состав микромира человека включает следующие номинации: *город, улица, дом, квартира, комната*, отражающие место пребывания каждого индивида.

Информационно-смысловой блок локальности передаётся лексемой **город** «крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр». Данная лексема вступает в семантическую оппозицию с лексемой **деревня** «крестьянское селение». Более того, в языке образуется цепочка наименований, последовательно характеризующих переход от одного типа значений к другому и обогащающих информационно-смысловой блок локальности: *столица – периферия – провинция*. Подобные типы наименований дают возможность перейти от обозначения широкой локальности к узкой.

Функцию локализатора могут выполнять распространители со значением места временного проживания, например: *гостиница, отель, мотель, кемпинг; пансион, пансионат*.

Кроме вышеперечисленных обозначений временного проживания, в сфере локальности многочисленны разные по функционально-семантическому объёму номинации: во-первых, лексемы, обозначающие место, где можно спастись или отдохнуть: *пристанище, приют, прибежище, убежище, укрытие; постоялый двор, ночлежный дом, ночлежка*; во-вторых, лексемы, обозначающие временное жильё, связанное с работой: *барак, землянка, шалаши, вагончик, палатка*.

Локальные распространители могут обозначать временное жилище, названия которого дифференцируются в таких существительных, как *общежитие, интернат, детский дом, дом ребенка, дом для престарелых, гостиница, частная квартира*.

Узкой семантикой локальности обладают лексемы **улица, переулок** «пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для прохода или проезда; два ряда домов с проездом, проходом между ними».

Ключевыми словами в личной сфере бытия человека являются наименования жилища. Прототипичными наименованиями (термин «прототип» связан с именем Э. Рош) при этом являются *дом, квартира*, которые представляют собой языковые универсалии. На первый взгляд «дом» представляется универсальным концептом, актуальным для любого национального сознания. Однако при внешней схожести данный концепт отличается в зависимости от

национальной концептосферы. В этой связи представляется справедливым говорить не о концепте «дом» как таковом, а о целом ряде уникальных концептов. Это может быть английский, американский, немецкий, русский дом.

Лексема **дом** сочетается с прилагательными, функции которых состоят в передаче дифференцированных обозначений реалий, в обозначении материала, параметрических признаков, местонахождения, времени, оценки. Например: *дом деревянный, панельный, крупнопанельный, кирпичный, блочный, каменный; одноэтажный, двухэтажный, высокий; большой, маленький; кооперативный, коммерческий, чужой, собственный, сельский, загородный, дачный, летний; дом жилой, нежилрой, пустой.*

В парадигматический ряд наименований жилища включаются также лексемь: *коттедж, особняк, изба, хата, дача; вилла; дворец, имение, замок;* экзотические обозначения: *юрта, сакля, вигвам, хижина, ранчо, фазенда, яранга, чум, бунгало.*

Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и является кирпичиком для строительства «дома бытия» (по М. Хайдеггеру).

Таким образом, функционально-семантическая сфера **дом** «жилище» имеет объёмный семантический потенциал: с одной стороны, представление о родном, отчем доме, родине вне всякой зависимости от характеристик помещения (здания), с другой – ассоциации с домашним уютом, теплом, семейным очагом, близкими и родными людьми, а также ощущение безопасности и уединенности.

Актуальным для русского языка является употребление лексемы *квартира* при обозначении отдельного жилища. В словарях значение данной лексемы формулируется следующим образом: **квартира** – «жилое помещение из нескольких смежных комнат с отдельным наружным выходом, составляющее отдельную часть дома».

Значение «отдельное, отгороженное от других помещение в квартире» реализуется в лексеме **комната**. Конкретизация лексемы **комната** представляет собой ступенчатый процесс. В качестве языкового средства различных типов знаний выступают когнитивные модели, которые на поверхностном уровне опираются на синтаксические конструкции, отображающие, во-первых, количественный аспект: *однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира;* во-вторых, принадлежность по праву собственности: *собственная квартира, приватизированная квартира.*

Таким образом, поле пространственных отношений представляет собой сложную разветвленную систему, и все подходы исследователей объединяет стремление отразить различные аспекты понимания пространства, касающиеся разных связей в картине мира.

Событийность как особый информационно-смысловой блок значительное место занимает в функционально-когнитивной сфере бытия, в которую включаются языковые элементы, соотнесенные с макроконцептом и покрывающие объёмное семантическое пространство лексики. Т.А. Кильдибекова, анализируя событийные отношения в концепте «жить», отмечает, что каждое событие (ситуация) ориентировано на определенную функционально-

когнитивную сферу, включающую многообразие событий, ситуаций, положения дел в жизнедеятельность человека [3. С. 139].

Жизненный путь человека богат событиями, и обобщаются они словом *пережитое*: *Иногда, вспоминая пережитое, он не узнавал себя нынешнего, так мало в его характере осталось от молодого Агеева* (В. Быков). В качестве ключевого понятия в семантическом блоке событийности выступает существительное **событие**. Лексема **событие** в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова имеет следующую дефиницию: «значительное явление, факт общественной или личной жизни» [6. С. 160]. Анализ лексемы, за основу в котором принято ее функционирование, проявляющееся в сочетаемости, позволяет получить более точную картину иерархического соотношения отдельных значений. Так, в смысловой структуре лексемы **событие** даётся следующая сочетаемостная характеристика: *событие большое, главное, великое, значительное, важное, выдающееся, знаменательное, историческое, интересное, неожиданное, непредвиденное, невероятное, странное, волнующее, счастливое, радостное, печальное, трагическое, последнее*.

Предметный мир включается в многообразие событий, ситуаций, положений дел. Предметы мыслятся как компоненты, которые определяют практические действия человека и устройство его жизненного пространства. Ср.: *Итак, пришел новый век с иллюминацией и балами в Крепости, с молебствием и мордобитием в Пристенке, с основательной выпивкой и рождением внеплановой третьей дочери у мастера Данилы Прохоровича на Успенке. И лишь одно событие было общим для всего Прославля в эту ночь: мясостор. Жареная свинина и гречневая каша с кровью, ветчина и холодец, колбасы и ливер во всех видах, сало, и грудинка, и шкварки, и снова мясо, мясо, мясо. Кусками, ломтями, кусищами... Вареное, жареное, холодное, горячее, свежемороженое, чуть присоленное, копченое... ах, какая закуска! Обеденье, упоение в еде, великое торжество плоти, ее праздник и радость этого праздника. Будь здоров, земляк, пей, жри – это ведь такая нормальная, такая простая и естественная радость жизни человеческой* (Б. Васильев).

В информационно-смысловой блок событийности входят следующие наименования: *происшествие* «событие, нарушившее обычный порядок вещей, нормальное течение жизни», *случай* «непредвиденное событие, происшествие», *случайность* «непредвиденное, неожиданное обстоятельство», *сенсация* «событие, производящее сильное, ошеломляющее впечатление», *прецедент* «случай, имевший место в прошлом и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода», *эпизод* «происшествие, событие, случай из жизни», *инцидент* «случай, происшествие обычно неприятного характера», *мистика* «нечто загадочное, непонятное, совершенно необъяснимое».

Также в качестве ключевых понятий событийности выступает и наименование *ситуация* «совокупность обстоятельств; обстановка, положение». Интересные наблюдения показала сочетаемостная характеристика данной лексемы: *стрессовая ситуация, конфликтная ситуация, кризисная, демографическая ситуация, криминогенная ситуация, ценовая ситуация, взрывоопасная ситуация, переломить ситуацию, влиять на развитие ситуации*.

В связи с расширением сферы употребления лексема *ситуация* приобретает объемное значение, и в силу этого необходимо отметить такие устойчивые сочетания, как *Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям*, *криминальная ситуация*, *Министерство по чрезвычайным ситуациям*. Данный парадигматический ряд дополняет устойчивый оборот *чрезвычайная ситуация* «стечение обстоятельств, представляющих угрозу для жизни множества людей, а также для экономики, и вызываемых обычно природными катаклизмами, военными действиями и т.п.».

Потенциал функционально-когнитивной сферы *событийность* пополняется за счет следующей лексической группы: *авария, пожар, землетрясение, новоселье, свадьба, юбилей, годовщина, праздники (Нового года, 8 Марта, 1 Мая, Пасхи, Рождества Христова, Курбан Байрамы, Ураза Байрамы, день Республики, сабантуй, карнавал, День суверенитета, День учителя и т.д.)*. События могут быть общественно значимыми и личностными: *На второй день после венчания отец вывел молодых за околицу, на обросший крапивой пустырь, воткнул в землю еловый кол и сказал: «Вот, прививайтесь, руки вам даны»* (В. Белов); *С гибелью Витьки уходило что-то, отрываясь навсегда – и исчезал прежний зелёный и летний мир школы. После смерти матери мне уже ничего не страшно. – А что стряслось? Пожар? Потоп?* (Ю. Бондырев). События могут быть радостными или печальными, горестными, счастливыми, трагическими, приятными, неприятными. Данный аспект восприятия события субъектами передаётся в языке особой лексико-грамматической группой наименований: *трагедия, горе, беда, катастрофа, бедствие (стихийное), несчастье, несчастный случай, неприятности, трудности, (суровые) испытания, неурядицы, неудачи, невзгоды, стресс, опасность, угроза (жизни)*. Ср.: *«Неужели они ждут какой-то беды?» Всеми силами души мне хотелось отвести от их дома несчастье* (Е. Суворов); *Когда людей расстреливают по ошибке – это трагедия* (Ю. Трифонов); *Наряду с иными стихийными бедствиями, как-то: пожар, град, начисто выбивающий хлебные поля, ненастье или, наоборот, великая сушь – есть в деревне еще одно бедствие, о котором, может быть, и не знают многие городские люди. Вдруг ударит набат, и, когда все выбегут на улицу смотреть, где горит, бьющий в набат крикнет: «К Самойловскому лесу бегите, коровы объелись!» Прихватив ножи, бегут мужики к лесу, еще не зная, кого из них поразило несчастье... Раньше потеря коровы была страшной катастрофой для крестьянской семьи* (В. Солоухин).

Бесспорно, представленный информационно-смысловой блок является элементом типовой денотативной ситуации в широком смысле, включающей события, которые связаны с целенаправленным действием субъекта, охватывающим объект и получающим локальную конкретизацию.

Таким образом, пространство, время, событийность в жизни человека определяются как целостность, самые важные для восприятия мира человеком в соответствии с его чувственным опытом, ведущим к глобализации ситуаций, находящихся свое отражение в бытии каждого человека. Исходя из простой предпосылки существования (и самого человека, и окружающего мира во всех его проявлениях в целом) человеческое сознание выделило и закрепило

в концепте «жизнь» очень многое, то, что не укладывается в простое определение «форма существования материи».

Литература

1. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // *Вопр. когнитивной лингвистики*. 2004. № 1.
2. *Функционально-когнитивный словарь русского языка: Языковая картина мира* / под общ. ред. Т.А. Кильдибековой. М.: Гнозис, 2013. 676 с.
3. Чернейко Л.О. Лингвофилософский анализ абстрактного имени. 2-е изд. М.: Кн. дом «Либроком», 2010. 272 с.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 2-е изд., стер. М.: Едиториал УРСС, 2002. 264 с.
5. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М.: Наука, 1988. 339 с.
6. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М.: Наука, 1997. 330 с.
7. Гафарова Г.В., Кильдибекова Т.А. Теоретические основы и принципы составления функционально-когнитивного словаря. Уфа: РИО БашГУ, 2003. 302 с.
8. Плунгян В.А. Время и времена: К вопросу о категории числа // *Логический анализ языка. Язык и время*. М.: Языки славянской культуры, 1997. С. 158–169.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. 944 с.

KEY WORDS IN THE FUNCTIONAL-COGNITIVE SPHERE “MAN’S LIFE”.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 60–72.

DOI 10.17223/19986645/37/5

Kolokolova Lidia P., Sterlitamak Branch of Bashkir State University (Sterlitamak, Russian Federation). E-mail: kollidia@rambler.ru

Keywords: cognitive semantics, anthropocentrism, functional-cognitive sphere, functional-cognitive dictionary, locality, temporality, eventness.

The cognitive science paradigm, exploring language processes in the activity-based aspect based on the types of knowledge inherent in language semantics and used by a native speaker in speech communication, has a great explanatory capacity, which provides a substantial update to the content and methods of describing linguistic material. The semantics of linguistic units is considered in this scientific paradigm as analogues of conceptual structures that transmit certain layers of knowledge pertaining to the experience of native speakers. A feature of cognitive semantics is the appeal to the knowledge of non-linguistic, encyclopedic character and definition of the role of this knowledge in the formation of language meaning and sense of the statement.

A functional-cognitive approach to the systematization of the vocabulary allows solving this problem based on human verbal and cogitative activity and finding qualitatively new levels of the vocabulary which constitute the frame of the dictionary and organize its structure: they determine the structuring of the lexicon as well as semantic processes in separate blocks and tokens.

The central object of the study becomes man, so great attention is paid to his / her place in culture. Information about the world comes to man through language, therefore, man lives in the world of concepts s/he created for intellectual, spiritual and social needs.

The article discusses the functional-cognitive sphere “human life”, in which the key patterns of locality, temporality and eventness are complex packages of information, transmitting knowledge about objects and situations in the diversity of links and relationships.

The functional-cognitive sphere is extensive combinations of words; their distinctive features are volume, heterogeneity and multidimensionality. The basis of the functional-cognitive sphere is the macro-concept which manifests itself in a language as a multidimensional and multilevel phenomenon. Each type of meaning is associated with the general concept in a variety of semantic relations manifested at a deep level. Expressing the most abstract global meaning, the macro-concept is the top of a conceptual class and represents the total of the knowledge about objects and situations in a variety of links and relationships.

The study is carried out on the bases of the Functional-Cognitive Dictionary, an active dictionary of a new type, where the vocabulary of the Russian language is described on the basis of speech activity.

References

1. Boldyrev, N.N. (2004) Kontseptual'noe prostranstvo kognitivnoy lingvistiki [The conceptual space of cognitive linguistics]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 1. pp. 18–36.
2. Kil'dibekova, T.A. (ed.) (2013) *Funktsional'no-kognitivnyy slovar' russkogo yazyka: Yazykovaya kartina mira* [Functional and cognitive dictionary of the Russian language: Language picture of the world]. Moscow: Gnozis.
3. Cherneyko, L.O. (2010) *Lingvofilosofskiy analiz abstraktnogo imeni* [Linguophilosophical analysis of the abstract name]. 2nd ed. Moscow: Librokom.
4. Karaulov, Yu.N. (2002) *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and language personality]. 2nd ed. Moscow: Editorial URSS.
5. Arutyunova, N.D. (1988) *Tipy yazykovykh znacheniy. Otsenka, sobytie, fakt* [Types of linguistic meanings. Evaluation, event, fact]. Moscow: Nauka.
6. Kubryakova, E.S. (1997) *Chasti rechi s kognitivnoy tochkoy zreniya* [Parts of speech from a cognitive point of view]. Moscow: Nauka.
7. Gafarova, G.V. & Kil'dibekova, T.A. (2003) *Teoreticheskie osnovy i printsipy sostavleniya funktsional'no-kognitivnogo slovara* [Theoretical foundations and principles of functional and cognitive dictionary]. Ufa: RIO BashGU.
8. Plungyan, V.A. (1997) *Vremya i vremena: K voprosu o kategorii chisla* [Time and times: On the category of number]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Yazyk i vremya* [Logical analysis of language. Language and time]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
9. Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (2003) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy* [Explanatory Dictionary of the Russian Language: 80 000 words and idiomatic expressions]. Moscow: ITI TEKhNOLOGII.

УДК 81'373.45
DOI 10.17223/19986645/37/6

Э.Н. Меркулова

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ И НЕКОТОРЫХ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЯХ АНГЛИЙСКОЙ ДУБЛЕТНОЙ КСЕНОЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье анализируется специфический класс англоязычных заимствований – дублетная ксенолексика, чье интенсивное функционирование в речи представителей определенных социальных групп можно считать характерной тенденцией в развитии современной коммуникации XXI в. Дается определение дублетной ксенолексики, выявляются ее лингвистические характеристики и обозначаются речевые функции этого явления, отражающего специфику развития языка на современном этапе и состояние современного общества.

Ключевые слова: лексические заимствования, дублетная ксенолексика, речевые функции, социальная идентичность.

«Жизнь в эпоху перемен... сопряжена с резкими и чувствительными изменениями в языке» [1. С. 16]. Последние три десятилетия в полной мере подтверждают это высказывание. С середины 80-х гг. прошлого столетия происходили поистине революционные изменения в российском обществе, когда вместе с изменением общественной формации и распадом Советского Союза шли чрезвычайно болезненные процессы ломки старых общественных отношений, связанные с переоценкой доминирующей идеологии, поисками новых ценностей и пр. Одновременно с этим начали развиваться международные контакты, страна стала участвовать в глобализационных процессах, расширились межъязыковые контакты во всех общественных сферах. Эти и другие экстралингвистические факторы способствовали активизации процесса лексического заимствования англоязычной лексики. Общественно-политические события конца XX в. явили собой чрезвычайно интересный материал для социальных исследований. Не менее интересный для изучения материал представляет реакция языка на отмеченные политические и социальные явления. Поэтому не случайно то, что языковые процессы конца прошлого века, включая процесс обновления лексического состава русского языка, привлекли внимание ведущих российских лингвистов, которые обобщили и всесторонне проанализировали все возможные реакции языка на бурные общественные процессы конца 1980-х и 1990-х гг. [2–5].

Мы живем в другую эпоху и, находясь внутри перемен, также отмечаем отдельные явления, которые позже превращаются в тенденции или, не успев задержаться в языке, исчезают из речевого употребления, оставаясь лишь зарегистрированными маркерами своего времени. Лабильность и разновекторность современных языковых процессов способствуют накоплению изменений на всех уровнях языка, что позволяет некоторым исследователям гово-

речь о «трансформациях, которые несут с собой коммуникативную революцию» [6]. В частности, формируется такая коммуникативная компетенция носителя русского языка, в которой англицизмы являются ее важной языковой составляющей. Возможно, что это одна из причин того, что «уже слышны жалобы старших носителей литературного языка, переставших понимать младших» [7. С. 15]. Старшему поколению стало сложно понимать молодежь еще и потому, что за последние два десятилетия существенно изменился стиль общения. Внедряются этикетные модели поведения, максимально приближенные к «усредненной западной культуре общения» [8. С. 83].

В настоящей статье рассматриваются языковые явления, которые всегда присутствовали на периферии языка, но в настоящий момент именно в результате укоренения определенных общественных процессов, сопровождающихся соответственной реакцией языка, превратились в обширный лексический корпус в количественном отношении, а также приобрели или заметно акцентировали некоторые дополнительные функции в процессе своей речевой реализации. Речь идет об английской дублетной ксенолексике русского языка.

Для целей нашего исследования являются актуальными предложенный О.Г. Щитовой термин «новейшая ксенолексика» [9. С. 278], а также введенный нами новый термин, называющий особый подтип иноязычных заимствований – «дублетная ксенолексика». Дублетная ксенолексика, являющаяся объектом описания в данной статье, – это одна из специфических разновидностей заимствованной лексики внутри выделенного О.Г. Щитовой класса новейшей ксенолексики. В понятие новейшей ксенолексики современного русского языка «входят слова иноязычного происхождения, зафиксированные в справочной лингвистической литературе после 1990 г. и отсутствующие в более ранних изданиях; иноязычные новации, не отмеченные в словарях русского языка последних двух десятилетий или функционирующие в качестве омонимов или повторных заимствований по отношению к более ранним, а также заимствования, превратившиеся из экзотизмов в общеупотребительные слова» [9. С. 284–285].

Остановимся более подробно на разрядах слов, относящихся к новейшей ксенолексике. Важным признаком выделенного лексического класса является нерелевантность признака ассимиляции, поскольку он включает в себя как полностью ассимилированные заимствования, так и иноязычные вкрапления, варваризмы и экзотизмы, которые находятся в самом начале ассимиляционных процессов.

Внутри новейшей ксенолексики О.Г. Щитова выделяет отдельные группы слов с точки зрения особенностей их фиксации в справочной лингвистической литературе [9].

К таковым относятся:

1. Полностью или не полностью адаптированные в русском языке иноязычные наименования, зафиксированные в неакадемических словарных изданиях и служащие для именования новых для российского общества объектов действительности. Это чрезвычайно пестрый тематический ряд, куда входят и большой слой бытовой лексики, и профессиональная лексика, вышедшая за рамки своей сферы употребления, и лексические единицы, связан-

ные с новыми видами досуга, политической организации и т.п. (байкер, дайджест, провайдер, хит, хот-дог и др.).

2. Иноязычные новации отличаются от предыдущей группы тем, что они пока не зафиксированы даже в самых современных словарях, но активно функционируют в речи всех (или большинства) представителей русскоязычного социума. Общим для этих двух групп ксенолексем является тот факт, что они не имеют в русском языке (языке-реципиенте) дублетов и поэтому служат для заполнения имеющегося в культурно-языковом слое принимающего этноса номинационных лакун (вендинг, ламинат, лип-синк, райдер, стрейч и др.).

3. К третьей группе относятся лексемы, которые вошли в русский язык в результате вторичного заимствования. Академические словари зафиксировали определенное значение этих слов, но в настоящий момент они существуют в системе принимающего языка в неизвестном ранее значении. (блистер, винчестер, дюшес и т.п.).

4. Последнюю группу ксенолексики в данной классификации составляют словарные единицы – бывшие экзотизмы. Называемые экзотизмами иностранные реалии и «чужие» понятия перестали быть таковыми из-за произошедших в России общественно-политических перемен. Они вышли за пределы сферы ограниченного употребления и теперь воспринимаются современным языковым сознанием как общеупотребительные (кампус, мэр, рэп, рэкет, чизбургер и т.п.).

На наш взгляд, приведенная дефиниция новейшей ксенолексики позволяет включить в нее еще один класс, который можно определить как «дублетная ксенолексика». Дублетная ксенолексика – это особого вида заимствования – варваризмы и англоязычные вкрапления, не зафиксированные в словарях или зафиксированные в онлайн-словарях для отдельных субъязыков, имеющие исконно русские или заимствованные ранее дублеты. Характерной особенностью дублетной ксенолексики является социальная детерминированность ее употребления: ксенолексика регулярно встречается, как правило, в речи некоторых групп образованных носителей литературного русского языка.

Примером таких иноязычных вкраплений может служить речь одного из руководителей престижного московского высшего учебного заведения, который, выступая перед трудовым коллективом и говоря о трех ипостасях современного преподавателя (собственно преподавательской, научно-исследовательской и административной), заявил, что «неплохо, если при этом человек еще и «сидит в разных бордах», имея в виду членство во всякого рода комитетах, издательских советах и редакционных коллегиях. Или в интервью каналу «Культура» руководитель музея фотографии О. Свиблова говорит: «Удивительно, как из небольшого ісе-дворца вырастает все это». Это предложение служит комментарием к проходившей в это время выставке реквизита к фильмам о Джеймсе Бонде.

Два других пример взяты из интервью главного редактора «Независимой газеты» К. Ремчукова на радиостанции «Эхо Москвы». Рассказывая о том, как обсуждалась с председателем правительства А. Медведевым возможность публикации его статьи в газете, К. Ремчуков говорит: «...сказал он очень

скромно, как сейчас говорят, «humbly», по-английски...» (Эхо Москвы: Особое мнение. URL: <http://echo.msk.ru/programs/personalno/1455336-echo/>). В другом интервью К. Ремчуков комментирует высказывание секретаря Общественной палаты РФ А. Бренчалова о наращиваниях инвестиций в реальный сектор экономики за счёт сокращения расходов на исследования и консалтинг: «...вот в этом айфоне что реальный сектор, это, по Бренчалову, получается, сборка в Китае. А без «research» разве можно создать айфон и его совершенствовать?» (Эхо Москвы: URL: <http://echo.msk.ru/programs/personalno/1546112-echo/>).

Наконец, следующий пример прозвучал в утренней программе на радиостанции «Серебряный дождь». Ее ведущий Юрий Пронько предлагает радиослушателям звонить ему и сообщает номер телефона, добавив, что «префикс Москвы 495». Традиционное словосочетание «код Москвы» заменено на «префикс Москвы», который отмечен во всех словарях как лингвистический термин для обозначения морфемы, стоящей перед корнем. В высказывании актуализируется новое значение слова, которое используется в подъязыках информатики и радиосвязи для обозначения набора символов в начале какого-нибудь ряда и которое еще не зафиксировано даже в специальных словарях.

Данные примеры являются лишь иллюстрацией к сказанному, однако их количество ограничено только объемом этой статьи, но никак не количеством и масштабом употреблений в речи носителей русского языка. Даже такая небольшая подборка примеров в полной мере иллюстрирует неоднородность состава выделенного нами лексического пласта. Дублетная ксенолексика принадлежит к разным частям речи. Дублетные ксенолексеми могут иметь русскую или английскую графику, быть сложными гибридными словами, могут пройти процесс частичной ассимиляции или остаться полностью неассимилированными. Дублетные ксенолексеми, наконец, могут быть омонимами уже существующих заимствованных слов. Все эти лексеми объединены одной характерной особенностью: все они имеют в языке-реципиенте исконные или ранее заимствованные дублеты и не осуществляют присущую большинству заимствований функцию заполнения «в культурно-языковом слое принимающего этноса номинационных лакун» [9. С. 280].

В своем масштабном исследовании неологизмов в русском языке Л.П. Крысин говорит о небольшой значимости варваризмов и иноязычных вкраплений для принимающего языка. Эти лексеми не наделены признаком «коммуникативной актуальности» [10. С. 48], они не имеют перспективы войти в словарный фонд русского языка, поскольку являются абсолютно избыточными, возникают ситуативно, а «их употребление обусловлено степенью знакомства говорящего с иностранным языком, некоторыми стилистическими или жанровыми особенностями речи» [10. С. 60].

Действительно, в отечественной лингвистике иноязычные вкрапления, варваризмы и экзотизмы традиционно выносятся за пределы «языковой системы принявшего их языка» [11. С. 119].

Однако в настоящий момент формируется и другая точка зрения, согласно которой «...если элемент языка А используется более одного раза по крайней мере двумя различными носителями языка В, то данный элемент

может рассматриваться как полноценное заимствование и, таким образом, является частью системы принимающего языка В» [12. С. 8].

Вполне укладываются в логику этого тезиса и рассуждения Л.В. Подсвиновой, считающей возможным отнести лексемы «лайсенз» и «бэдрум» к заимствованным словам на основании их многократной письменной фиксации в эмигрантской прессе, а также того, что они понятны эмигрантам, плохо владеющим английским языком [13].

В связи со сказанным выше представляется возможной лингвистическая интерпретация этого периферийного элемента словарного состава русского языка с присвоением ему собственного имени – дублетная ксенолексика.

Нами уже отмечалась социальная детерминированность употребления дублетной ксенолексики. В основном дублетная ксенолексика образуется окказионально и базируется на сформированном коммуникантом знании английского языка. В теории языка имеется термин, который называет язык носителя в совокупности его структурных и системных особенностей, – ксенолект. В зависимости от степени освоенности языка-цели выделяются три ксенолектных уровня:

- начальный уровень, который характеризуется определенной, но недостаточной освоенностью языка-цели;
- средний уровень, на котором система языка-цели достаточно освоена;
- пороговый уровень, на котором в достаточной степени освоены система и нормы языка-цели и происходит приобщение к узусу [14. С. 7].

Можно предположить, что дублетная ксенолексика с большей долей вероятности должна встречаться в речи тех людей, ксенолект которых соответствует пороговому или хотя бы среднему уровню. Однако не следует упускать из виду тот факт, что люди, активно использующие дублетную ксенолексику в своей речи, часто являются публичными персонами и имеют доступ к СМИ с возможностью способствовать массовому распространению дублетной ксенолексики за счет известного явления «экземплификации» [6]. Как известно, СМИ «не только оказывают влияние на развитие языка и его жизнеспособность, но и в немалой степени определяют языковую политику» [15. С. 37]. Последний фактор является одной из причин столь быстрого распространения дублетной ксенолексики среди слоев населения, чей уровень владения языком не превышает начальный.

Подобная «массовая колонизация» языкового сознания русскоязычных коммуникантов была отмечена в профессиональной сфере [16. С. 81]. В научной литературе отмечалось как просто положительное отношение специалистов к заимствованиям в их профессиональной сфере, связанное со стремлением унифицировать термины, экономить усилия или именовать лакунарные для русского языка понятия [17], так и желание «конвертировать» не только свои дипломы и иные свидетельства о получении профессионального образования, но и свои мысли и манеру именовать события, явления и т.п. в век глобализации» [16. С. 87]. В настоящий момент выявленная тенденция вышла далеко за пределы профессиональной коммуникации (хотя она и может играть определенную роль в формировании языковых пристрастий). В основном она связана с тем, каким образом языковая личность себя идентифицирует. Выделился особый тип носителей глобальной идентичности –

метроэтничность – типаж «жителя крупного города, ориентированного лишь на «индивидуальный жизненный проект» с гедонистическим уклоном и неотягощенного национальной идентичностью» [18. С. 141]. Формирование языковых и речевых навыков, вкуса и манеры общения этих людей происходило в сходной речевой среде [19. С. 167–168]. При этом круг участников коммуникации в подобном коммуникативном стиле довольно ограничен. Носители метроэтничности, как видно из значений, составляющих словарную единицу компонентов, являются жителями больших городов. (Metro + ethnicity = Metro – a combining form representing metropolis – any large, busy city; ethnicity – a social group that shares a common and distinctive culture, religion, language, or the like).

В силу ограниченного количества носителей метроэтничности мы можем утверждать, что это тот случай, когда «наступление английского языка захлебнулось на подступах к российской глубинке» [20. С. 151]. Однако последнее замечание не исключает того, что подобный стиль общения может иметь своих сторонников в российской провинции.

Более детальное описание этой социальной группы и роли, которую играет ксенолектная дублетная лексика в речи коммуникантов, возможно при опоре на методы и термины социолингвистики.

Для решения основного вопроса данной статьи несомненный интерес представляет анализ выделенной группы лексики с точки зрения осуществляемых ею речевых функций. Традиционно изучение функций, осуществляемых иноязычными вкраплениями и варваризмами, сводилось к той роли, которую они играли в письменном тексте. С начала XIX в., когда зародилась традиция использовать непередаваемые фрагменты иностранного текста в графике языка-источника, они осуществляли «национально-культурную» и «престижную» функции [11]. По мере становления жанров художественной литературы иноязычные вкрапления в речи героев художественной литературы служат цели «конкретно представить ту или иную историческую действительность, показать уровень человека, его увлечения и род занятий... аристократическую среду» [21. С. 95]. Наряду с уже отмеченной функцией индивидуально-речевой характеристики персонажа иноязычные вкрапления и варваризмы осуществляют в художественных произведениях функции: социально-психологическую, историческую, авторской иронии, эвфемистическую, тайноречия и некоторые другие. Иноязычные вкрапления рассматриваются в рамках характеристики индивидуального стиля двуязычных писателей [22].

В последние десятилетия иноязычные вкрапления и варваризмы существенно расширили сферы своего бытования в русском языке, осуществляя, прежде всего, номинативную функцию в новых для российской экономики сферах [23]. В языке рекламы они выполняют информативную функцию, игровую, аттрактивную, декоративную, цензурную (эвфемистическую), репрессивную (демонстрации своего превосходства), характеризующую социальное положение и/или профессиональный уровень [24].

Каковы функции дублетной ксенолексики в ситуациях реального речевого общения, ведь ее избыточность очевидна? Как известно, язык не терпит излишеств, поэтому сложно в любом языке выявить даже несколько абсолютных синонимов. Тем больший интерес представляет анализ ситуаций ре-

ального речевого общения, в которых употребляются дублетные ксенолектные единицы. В чем целесообразность замены русского слова на английское? Зачем усложняется процесс коммуникации, создаются дополнительные «шумы» в канале коммуникации, если в любом случае процесс восприятия сложен для слушающего хотя бы потому, что «прагматика говорящего не тождественна прагматике слушающего»? [25. С. 163]. Присутствие и продолжающееся укоренение дублетной ксенолексики в «языковом сознании социума» [26. С. 197], свидетельствует о том, что этот вокабуляр должен выполнять некие речевые функции, потребность в которых возникает в связи с изменившимися экстралингвистическими условиями. Отмечая подобную взаимосвязь, В.И. Шаховский пишет: «Динамика российской действительности актуализирует новые аспекты картины мира, которые требуют порождения соответствующих средств выражения и способов ведения коммуникации. Появляющиеся в речи лингвистические знаки и доминирующие тенденции их использования, в свою очередь, формируют картину мира современного социума, отражая взаимосвязь слова и сознания» [27. С. 7].

В многочисленных исследованиях, посвященных заимствованиям, отмечается наличие моды на употребление тех или иных лексических единиц, которые вместе формируют определенный вкус времени, который В.Г. Костомаров определил как «меняющийся идеал пользования языком соответственно характеру эпохи» [28. С. 24]. Н.В. Юдина называет его «когнитивным стилем поколения», который «меняется под влиянием изменяемых общественно-политических, социально-экономических и культурных факторов» [29. С. 167]. В настоящий момент дублетная ксенолексика достаточно популярна. Её употребление свидетельствует о знании коммуникантами английского языка и, через язык, их вовлеченности в престижный культурный круг. «Английский язык в неанглийском контексте свидетельствует о современности говорящих и символизирует власть» [18. С. 141], из чего следует наличие престижной функции, осуществляемой дублетной ксенолексикой в речи. Из большого количества контекстов для иллюстрации этого положения выберем недавнее интервью К. Ремчукова, который комментирует отсутствие результата, связанного с попыткой российских частных и государственных компаний взять в долг денежные средства в некоторых азиатских странах. «Никто не дал ни копейки никому, ни под какие гарантии, ни под чего, потому что все сказали «Мы вас очень любим, но американцы, наши партнеры, могут пойти дальше и применить к нам механизм, который по-английски называется «full compliance», то есть полное следование санкциям». Когда они выяснят, что какое-то подразделение или какой-то акционер какой-то структуры в нарушение санкций действует не так, как хотят американцы, то могут последовать санкции для них. А поскольку бизнес для прагматичных китайцев связан на мировые рынки и на рынок США, то никто ничего не нарушил» (Независимая газета: интернет-версия газеты. URL: http://www.ng.ru/politics/2015-07-06/100_echo060715.html). В данном случае вполне можно было бы опустить английскую ксенолексема, ограничившись «применить к нам механизм полного следования санкциям», однако в этом случае не было бы отсылки к определенному документу, который хорошо знаком отправителю сообщения. Ксенолексема “full compliance” играет роль своего рода пропуска,

ключа для входа в престижный культурный и интеллектуальный круг, который повышает как авторитет говорящего, так и уровень доверия к содержанию сообщения.

Наряду с модой на определенный язык в качестве причины для злоупотребления неассимилированной заимствованной лексикой называют отсутствие желания у коммуникантов сделать умственное усилие для того, чтобы адекватно перевести иностранное слово: «лень или самоуверенность журналистов становится фактически «ленью языка», который почти утрачивает внутренние механизмы перевода» [8. С. 53]. Однако отсутствие уверенности адресата в том, что адресанту знакома та или иная иностранная лексема, подчас заставляет его прибегать к её переводу (см., например, уже процитированный пример с лексемами «скромно/humbly»), получая в результате неоправданную амплификацию (плеоназм) или, напротив, оправданную, поскольку иностранная лексема может быть средством усиления смысла, интенсификации высказывания.

Иногда ксенолексема имеет цель привлечь внимание слушателя или читателя к важному содержательному моменту. Отсюда аттрактивная функция дублетной ксенолексики.

Курьезным примером неоправданной амплификации сообщения может служить следующий диалог, состоявшийся между пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и одним из журналистов, который состоялся 15 мая 2015 г. Курьезность этого обмена репликами состоит в том, что журналист, использующий в вопросе ксенолексему «апдейт», получив ответ, уточняет у собеседника, что он понимает под этим словом:

Корреспондент: Спасибо. Тогда позвольте еще один вопрос по международным тоже отношениям. Источники в правительстве Японии рассказали о том, что на одной из недавних встреч между премьером Японии и президентом США Синдзо Абэ заявил, что он по-прежнему продолжает готовиться к визиту президента России в Токио. Есть ли какой-то апдейт по этому визиту, который уже много раз откладывался? На какой стадии сейчас подготовка, если она ведется?

Д. Песков: Нет, никакого апдейта нет.

Корреспондент: Дмитрий Сергеевич, а нельзя расшифровать слово «апдейт» здесь? «Никакого апдейта» – это что значит?

Д. Песков: Ну никаких новостей нет на этот счет. Никаких новостей на этот счет нет (Эхо Москвы: Брифинг с Дмитрием Песковым. URL: <http://echo.msk.ru/programs/peskov/1550632-echo/>).

Слово «апдейт» зафиксировано в нескольких онлайн-словарях, таких, как, например, WordReference.com и Народный словарь русского языка. В первом случае лексическая единица закрепляется за узкоспециальной профессиональной сферой компьютерных технологий, обозначая процесс обновления базы поисковой системы. Во втором случае приведенная словарная дефиниция позволяет понимать значение слова шире, как обновление любой информации.

Примером осуществления дублетной ксенолексикой аттрактивной функции может служить опубликованный фрагмент выступления историка, профессора Высшей школы экономики Сергея Медведева в рамках проекта фон-

да Егора Гайдара на тему того, какую роль настоящие и мнимые угрозы играют в российском обществе, кому выгодно нагнетание атмосферы страха и как с этим бороться: «...Россия стоит на страхе. Русские себя чувствуют жертвами. Эта виктимность прописана внутри русского человека. Здесь, кстати, интересно, что эти угрозы являются *self-fulfilling prophecy* – самосбывающимся пророчеством. Это самосбывающиеся угрозы» (Медведев С.А. Страх как духовная скрепа // Colta.ru: открытое общественное СМИ. URL: <http://www.colta.ru/articles/society/7474>).

Дублетная ксенолексика в этом текстовом отрывке сопровождается дословным переводом, она не отсылает нас к первоисточнику, т.е. не является цитатой, и исключительно служит цели привлечь внимание читателей к важной мысли как за счет латинской графики, так и за счет последующего перевода. Отметим, что слово иноязычного происхождения «виктимность» не относится нами к дублетной ксенолексике, поскольку, относясь к сферам криминологии и психологии, оно зафиксировано академическими словарями и употребляется в статье именно в этом значении.

Дублетная ксенолексика информирует и характеризует. Употребление дублетной ксенолексии дает возможность коммуникантам позиционировать себя в качестве высококлассных специалистов, особенно в тех отраслях экономики, которые, главным образом, появились и сформировались за рубежом (см., например, подробный анализ семантического наполнения лексических единиц «звук» и “sound”, приведенный в работе О.Г. Щитовой [9], из которого следует, что абсолютными синонимами они могут являться только для людей, не имеющих отношения к музыкальной индустрии). Для специалистов дублетная ксенолексика содержит более специализированное по сравнению с русским словом значение и, следовательно, несет дополнительные оттенки значения, сообщая более полную информацию получателю речи. Однако получение запланированного коммуникативного эффекта возможно, только если адресат и адресант имеют общий профессионально-интеллектуальный тезаурус и оба включены в соответствующий дискурс, в котором обсуждаемые содержание и объем понятия глубоко интериоризованы. Так, в беседе с Татьяной Фенгельгауэр на радиостанции «Эхо Москвы» 19 мая 2015 г. Артемий Троицкий выступает по поводу того, что наша сборная покинула лед до того, как прозвучал гимн страны команды соперников: «Вся эта история, как мне кажется, это прямое продолжение того, каким образом шла накачка по поводу этого самого хоккейного чемпионата. И вот это я помню, то есть я на фронтпейдже «Эха Москвы» читал какие-то блоги то ли пресс-секретаря, то ли кого-то еще, где абсолютно в духе этих самых наших «киселевищ» говорилось о том, что нашей сборной устраивают Майдан» (Эхо Москвы: Особое мнение. URL: <http://echo.msk.ru/programs/personalno/1550954-echo/>).

Ксенолексема «фронтпейдж» в русской транслитерации не зафиксирована ни одним из словарей. Переводные словари определяют “front page” как «титальный лист», «первая полоса». Однако речь идет о сайте радиостанции, и для двух журналистов на передний план выступает значение, имеющее помету в англоязычных словарях “Journalism and publishing”. “Front page” значит «главная новость», «новость, достойная того, чтобы быть напечатанной на

первой полосе»: (Journalism & Publishing) important or newsworthy enough to be put on the front page of a newspaper.

Этот пример представляет для нас дополнительный интерес, потому что буквально несколькими минутами ранее Артемий Троицкий активно высказывался против засилья иностранных слов в средствах массовой информации: «...есть такое популярное выражение «коворкинг». ... По-русски это называется, по-моему, сотрудничество или взаимопомощь. Есть все эти жуткие слова: мерчандайзинг, краудфандинг и так далее. Особенно меня смущают все английские слова, которые переводятся на русский с использованием буквы W, то есть, скажем, coworking. Если это произносить коуоркинг – ну это ужасно звучит! Коворкинг – это тоже звучит достаточно уродливо. Так что я был бы рад, если бы этого не было... Со своей стороны, скажем, я был бы рад обратиться к журналистам, писателям, каким-то авторам, в том числе, может быть, каких-то бюрократических текстов, чтобы они просто по совести – ни от боязни идиотских законов от партии ЛДПР, а вот просто, потому что любят русский язык – старались воздерживаться от этих коворкингов и мерчандайзингов. По-моему, это было бы просто мило и благородно со стороны мастеров слова» (Там же). Очевидно, что, выступая против использования заимствованной лексики в других профессиональных сферах, выступающий, не замечая этого, сам прибегает к дублетной ксенолексеме «фронтпейдж» в разговоре с коллегой и потому, что уверен, что будет понят, и потому, что она отражает релевантные для конкретной коммуникативной ситуации оттенки значения.

В определенных контекстах дублетная ксенолексика может осуществлять репрессивную функцию, если коммуникативная установка коммуникантов направлена не на сотрудничество, а на соперничество. В этом случае дублетная ксенолексика является средством социального дистанцирования и противопоставления.

В противоположность последней функции, имеющей целью дистанцирование от «чужих», дублетная ксенолексика может осуществлять и обратную ей солидаризирующую функцию социального сближения. Употребление дублетной ксенолексики является быстрым способом самопрезентации, для поиска единомышленников, людей, имеющих сходные вкусы, привычки, образ мышления, жизненные установки, ценности, идеологию.

Наличие этих двух функций у иноязычных заимствований отмечает О.Б. Сиротинина. Анализируя многочисленные случаи нарушения норм русского языка журналистами, связанные в том числе и с злоупотреблением иностранными заимствованиями, исследователь замечает определенную вариативность в способах выражения медиа-персонами собственных мыслей в зависимости от того, на какую аудиторию ориентировано средство массовой информации. «Как показал мой мониторинг, иногда даже больше, чем личность журналиста, на его речь влияет проправительственная или оппозиционная редакционная направленность издания, канала, радиостанции, о чем говорят речевые характеристики одного и того же журналиста в эфире разных редакций и на страницах разных газет. Причем различен не только и даже не столько контент, его политическая направленность, сколько его речевое выражение» [30. С. 303].

То, что иноязычные вкрапления могут служить средством солидаризации или дистанцирования в речи персонажей художественных произведений, отмечает Т.И. Большакова [22].

Аналогичный вывод был сделан в дипломном исследовании, написанном под руководством автора настоящей статьи. В дипломной работе И.П. Исаевой «Английские заимствования в речи студентов и преподавателей факультета английского языка НГЛУ» был собран достаточно убедительный материал, показывающий, что в данном микросоциуме английский язык является средством самоидентичности и отмежевания от людей, не говорящих на английском языке. Приведем цитируемый в дипломном исследовании фрагмент лекции по иностранной литературе: «...Здесь автор описывает явление хасбанд-хантинга. Сам автор, что называется *self-made man*, сам пробивал себе дорогу. А роман этот предназначен для *highbrows*». Такое обильное использование дублетной ксенолексики было бы невозможно в аудитории, не владеющей английским языком. Наряду с ощущением групповой принадлежности, появляющимся у участников коммуникации в результате употребления и восприятия дублетной ксенолексики, включение речь иноязычных элементов позволяет повысить информативную плотность высказывания, поскольку дублетная ксенолексика в данном отрывке номинирует понятийно сложные явления.

Безусловно, дублетная ксенолексика способна осуществлять эвфемистическую функцию, поскольку иностранная форма отвлекает внимание от неприятного денотата, маскирует или сглаживает резкость послания. Особенно в этом смысле показательно употребление инвективной дублетной ксенолексики. В качестве одной из характерных примет времени исследователи языка отмечают тенденцию к понижению тональности общения во всех сферах, но и в рамках этой тенденции употребление английских инвектив, находящихся в самом низу шкалы «эстетической значимости лексики» [31. С. 101], представляется недопустимым по морально-этическим соображениям. Тем не менее во время прохождения практики в средних школах города студентами Нижегородского лингвистического университета отмечалось употребление английских инвектив даже школьниками 6–7-х классов. Употребление английской инвективной лексики в присутствии учителей и других взрослых позволяло подросткам не только выделяться, обретать популярность среди ровесников, но и оставаться безнаказанными, что вряд ли было бы возможным, будь это русские инвективы.

Дублетная ксенолексика играет определенную роль в осуществлении креативной функции. Не только в художественной литературе, но и в реальной жизни одной из причин употребления дублетной ксенолексики является стремление добавить в речь экспрессивности, достичь определенного стилистического эффекта. Конечно, дублетная ксенолексика не является креативной, поскольку говорящий не создает ее самостоятельно, но всякий раз адресант сообщения выбирает иноязычную лексему из ряда синонимов и в соответствии с целью высказывания адаптирует (или не адаптирует) ее по своему усмотрению к русскому тексту. Например, делаясь впечатлениями о вечере, проведенном в клубе, студент сообщает своим коллегам-студентам: «Да, в «Скифе» было вандефульно». По мнению адресата, сообщения ни норматив-

ное «замечательно», ни жаргонное «прикольно» не могли достаточно экспрессивно передать весь спектр пережитых им впечатлений. Другим примером может служить то, как в интервью от 7 июля 2015 г. Артемий Троицкий Дмитрию Быкову объясняет, почему он отказался от предложенного ему места преподавателя в Колумбийском университете в пользу работы в одном из европейских вузов: «...ты, Дима, любишь много трудиться, а я не люблю. Америка – это езда на велосипеде в гору: если ты не жмешь все время на педали – всё, drop out. Тот, кто на такую работу настроен и за этот счет самоутверждается, там счастлив. А тот, кто любит, как я, работать в удовольствие, ровно столько, сколько хочется, вольготно чувствует себя в Европе» (Собеседник.ру: интернет-версия газеты. 2015. № 5. URL: <http://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20150216-troickiy-vse-kto-na-chto-to-sposoben-valyat-iz-rossii>).

Фразовый глагол «drop out» переводится «выкинуть, выбыть», однако его значение в английском языке «cease to participate in a race or competition» передает дополнительное значение конкуренции, соревновательности. Прекратив прикладывать максимальные усилия, человек перестает быть конкурентоспособным и автоматически выбывает из гонки.

Как видно из приведенного обзора, дублетная ксенолексика осуществляет все функции, которые выполняются полноценными заимствованиями в русском языке. Окончательная судьба этих английских вкраплений и варваризмов, характерной чертой которых является наличие их русских дублетов, будет понятна только по прошествии определенного отрезка времени. Даже отдельные дублетные ксенолексические единицы, достаточно активно функционируя в речи и осуществляя ряд полезных функций, скорее всего, вряд ли имеют шанс войти в ядерную часть русского языка. В силу наличия полноценных, исконных или освоенных русским языком дублетов и в силу небольшого процента пользователей на фоне общего количества носителей русского языка дублетная ксенолексика не может претендовать на роль обогащения словарного состава даже за счет увеличения количества более ассимилированных лексем. Как отмечал Р.А. Будагов: «Язык может обладать огромным словарем, но если этот словарь не «обработан», если дифференциация между близкими по значению словами либо мало осознается говорящими, либо не существует вовсе... то лексика подобного языка, богатая в количественном отношении, оказывается бедной функционально, недостаточно точной в общении людей» [32. С. 44].

В настоящий момент мы можем констатировать, что дублетная ксенолексика является фактом русского языка, находясь в зоне периферии между узусом и окказиональным употреблением. Она достаточно активно функционирует в различных дискурсах, включая публичный. Дублетная ксенолексика соответствует отмеченной ранее тенденции нарушать последовательность этапов ассимиляции иноязычных слов, когда при недостаточной фонетической, графической, семантической освоенности они «показывают другие признаки высокой степени ассимиляции, такие как деривационная активность» [33. С. 37]. Дублетная ксенолексика может входить в нефундаментальные словари иностранных и новых слов. Этот лексический слой осуществляет ряд речевых функций, интерпретация которых возможна в результате анализа и сопоставления всех параметров речевой ситуации, в которых эта лексика

встречается. Дублетная ксенолексика преобладает в речи представителей определенных социальных групп.

Выделенные в статье факты, описывающие дублетную ксенолексику, далеко не исчерпывают всех ее системных и функциональных характеристик. Актуализируемая в данной статье тема имеет широкие перспективы для дальнейшего исследования, поскольку относится к новому социально-культурному пространству, формирование которого происходит на наших глазах.

Литература

1. Левонтина И.Б. Русский со словарём. М.: Изд. центр «Азбуковник», 2010. 368 с.
2. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / под ред. Е.А. Земской. М.: Языки русской культуры, 2000. 480 с.
3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа: Язык и время. СПб.: Златоуст, 1999. 319 с.
4. Караулов Ю.Н. О состоянии русского языка современности. М.: Институт рус. яз. РАН, 1991. 66 с.
5. Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. М.: Едиториал УРСС, 2010. 280 с.
6. Гудков Д.Б. Ты всё ещё поддержка и опора // Вопр. психолингвистики. 2013. № 17. С. 143–146.
7. Костомаров В.Г. Язык текущего момента: Понятие правильности. СПб.: Златоуст, 2014. 330 с.
8. Кронгауз М.А. Русский язык на грани срыва. М.: Знак: Языки славянской культуры, 2007. 232 с.
9. Щитова О.Г. Новейшая ксенолексика в русской речи XXI века: к определению объёма понятия // Вестник науки Сибири. 2012. № 1(2). С. 278–286.
10. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: исследования по современному русскому языку. М.: Языки славянской культуры, 2004. 888 с.
11. Листрова-Правда Ю.Т. Иноязычные вкрапления-библейзмы в русской литературе XIX века // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2001. № 1. С. 119–140.
12. Балакина Ю.В., Соснин А.В. Теоретические основы переключения кодов и функционирования заимствований с позиций контактной лингвистики // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2015. № 2. С. 5–11.
13. Подсвинова Л.В. К вопросу об освоении англоязычной лексики в языке современного русского зарубежья. URL: <http://www.jurnal.org/articles/2008/fill15.html> (дата обращения: 22.05.2015).
14. Калиновская Е.А. Ксенолект как лингвокогнитивный феномен: лексическое измерение: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2011.
15. Мельниченко К.А. Механизмы функционирования стандартного британо-американского английского в условиях глобализации // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2013. № 1. С. 36–38.
16. Власенко С.В. Массовая «колонизация» англицизмами языкового сознания русскоговорящих как проблема когнитивной фильтрации // Вопр. психолингвистики. 2007. № 6. С. 81–89.
17. Балакина Ю.В., Е.М. Висилицкая. Англоязычные заимствования экономической тематики в вербальном лексиконе русской языковой личности в период глобализации // Вестн. Воронеж. гос. ун-та, Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 2. С. 29–34.
18. Кирилина А.В. Глобализация и судьбы языков // Вопр. психолингвистики. 2013. № 17. С. 136–141.
19. Сиротинина О.Б. Речевая среда // Речевое общение: специализированный вестник / под ред. А.П. Сковородникова. Красноярск, 2011. Т. 12 (20). С. 167–168.
20. Макаров М. Заноза не в английском // Вопр. психолингвистики. 2013. № 17. С. 151–152.
21. Ломакина О.В. Иноязычная фразеология и паремиология в текстах Л.Н. Толстого: особенности переключения языкового кода // Вестн. Череповец. гос. ун-та. 2014. № 7. С. 93–96.
22. Большакова Т.И. Иноязычные вкрапления в художественных произведениях В.П. Аксёнова: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2008.

23. Горностаев С.В. Пути проникновения и стилистическое варьирование англицизмов сферы игровой индустрии в современном русском языке // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2014. № 10. С. 75–81.
24. Копрева Л.Г. Иноязычные вкрапления в региональной пресс-рекламе [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/inoyazychnye-vkrapleniya-v-regionalnoy-press-reklame> (дата обращения: 31.05.2015).
25. Шаховский В.И. Креатемы как индикатор бесконечных потенций языкового развития // Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 2. С. 162–172.
26. Сковородников А.П. О предмете эколингвистики применительно к состоянию современного русского языка // Экология языка и коммуникативная практика. 2013. № 1. С. 194–222.
27. Шаховской В.И. Меняющаяся картина мира в динамике языка и речи // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 2015. №1. С. 7–20.
28. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа: 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Златоуст, 1999. 319 с.
29. Юдина Н.В. Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс? М.: Гнозис, 2010. 296 с.
30. Сиротинина О.Б. Современная коммуникативная практика и судьба русского языка // Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 2. С. 293–307.
31. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики: учеб. пособие для студентов и аспирантов филологических специальностей. Горький: ГГПИИЯ, 1975. 175 с.
32. Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка. М.: Добросвет-2000, 2004. 304 с.
33. Рыбушкина С.В. Ассимиляция иноязычных неологизмов в современном русском языке под влиянием экстралингвистических факторов (на примере компьютерно-опосредованного образовательного дискурса) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 392. С. 34–38.

ON THE LINGUISTIC STATUS AND SPEECH FUNCTIONS OF ENGLISH XENOLEXIS WHICH HAS ITS DOUBLETS IN THE RUSSIAN LANGUAGE.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 73–88.

DOI 10.17223/19986645/37/6

Merkulova Edita N., Nizhny Novgorod Branch of the Higher School of Economics (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: edmerk@inbox.ru / emerkulova@hse.ru

Keywords: lexical borrowings, xenolexis with their doublets in Russian, speech functions, social identity.

The use of a foreign lexical element in a recipient language is justified by a number of factors, which have been thoroughly described in linguistic literature. The new trend is to use English lexical units instead of their Russian equivalents in conversations between two or several interlocutors, or in mass communication, without translating or explaining them.

The article discusses some linguistic properties and speech functions of this specific layer of English loan words, whose units occur with a various degree of consistency in the speech of a certain group of educated Russian speakers. The author singles out a group of non-assimilated or partially assimilated English lexis which all have one common feature – they have their doublets in the Russian language. This lexical phenomenon is termed as xenolexis with their doublets in Russian and it is studied within the framework of linguistics.

Xenolexis with their doublets in Russian can belong to different parts of speech and perform different functions in a sentence; they can either be completely non-assimilated or possess a certain degree of assimilation; some of them are a result of a direct borrowing from English, while others are homonyms of loan words existing in the language.

The use of xenolexis is socially determined, as these words are predominantly used by those native speakers of Russian who have a good command of English and possess a certain type of personal identity – metro ethnicity. Earlier, these vocabulary units have been mostly used in fiction for the purposes of character drawing and speech characterization. Now you can hear them being used by real people in a variety of situations. Their frequency in modern Russian discourse is often explained by a certain vogue for foreign lexis which is associated with the ideas of power and prestige; and the laziness of interlocutors who do not bother to translate or explain the foreign insertions they use. The author has revealed a number of other functions performed by English xenolexis with their doublets in Russian. They can be a means of opposition and social distancing if the interlocutors choose the strat-

egy of confrontation. They can perform the solidarity function, being the quickest way of self presentation and creating bonds with like-minded individuals. The creativity function is revealed through the choices that the speakers make every time they opt for this or that foreign lexical unit, etc.

The conclusion is that although English xenolexis with Russian doublets is not likely to become a stable source of new words for the Russian language, destined to remain on the periphery of the Russian word stock, they are important milestones of language development reflecting the peculiar features and the dynamic character of Russian culture at the beginning of the twenty-first century.

References

1. Levontina, I.B. (2010) *Russkiy so slovarem* [Russian with a dictionary]. Moscow: Azbukovnik.
2. Zemskaya, E.A. (ed.) (2000) *Russkiy yazyk kontsa XX stoletiya (1985–1995)* [The Russian language of the end of the 20th century (1985–1995)]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
3. Kostomarov, V.G. (1999) *Yazykovoy vkus epokhi*: Iz nablyudeniya nad rechevoy praktikoy mass-media: Yazyk i vremya [Language taste of the era: From the observation of the speech practice of mass media: language and time]. St. Petersburg: Zlatoust.
4. Karaulov, Yu.N. (1991) *O sostoyanii russkogo yazyka sovremennosti* [On the status of the Russian language of modernity]. Moscow: Institut russkogo yazyka RAN.
5. Shaposhnikov, V.N. (2010) *Russkaya rech' 1990–kh. Sovremennaya Rossiya v yazykovom otobrazhenii* [Modern Russia in the language]. Moscow: Editorial URSS.
6. Gudkov, D.B. (2013) You are still my support. *Voprosy psikholingvistiki – Issues of Psycholinguistics*. 17. pp. 143–146. (In Russian).
7. Kostomarov, V.G. (2014) *Yazyk tekushchego momenta. Ponyatie pravil'nosti* [The language of the moment. The notion of correctness]. St. Petersburg.: Zlatoust.
8. Krongauz, M.A. (2007) *Russkiy yazyk na grani sryva* [The Russian language on the verge of collapse]. Moscow: Znaki: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
9. Shchitova, O.G. (2012) New xenolexis in the Russian speech of the xxi century: the extent of the notion definition. *Vestnik nauki Sibiri – Siberian Journal of Science*. 1(2). pp. 278–286. (In Russian).
10. Krysin, L.P. (2004) *Russkoe slovo, svoe i chuzhoe: issledovaniya po sovremennomu russkomu yazyku* [Russian word, own and alien: research on the modern Russian language]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
11. Listrova-Pravda, Yu.T. (2001) Inoyazychnye vkrapleniya–bibleizmy v russkoy literature XIX veke [Foreign language biblicism inclusions in Russian literature of the 19th century]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 1. pp. 119–140.
12. Balakina, Yu.V. & Sosnin, A.V. (2015) Conceptual framework for code-switching and lexical borrowings from the perspective of contact linguistics. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 2. pp. 5–11.
13. Podsvirova, L.V. (2008) K voprosu ob osvoenii angloyazychnoy leksiki v yazyke sovremennogo russkogo zarubezh'ya [On the development of the English language in modern Russian language abroad]. *Zhurnal nauchnykh publikatsiy aspirantov i doktorantov*. [Online]. Available from: <http://www.jurnal.org/articles/2008/fil115.html>. (Accessed: 22nd May 2015).
14. Kalinovskaya, E.A. (2011) *Ksenolekt kak lingvokognitivnyy fenomen: leksicheskoe izmerenie* [Xenolexis as a linguocultural phenomenon: the lexical dimension]. Abstract of Philology Cand. Diss. Stavropol. Stavropol State University.
15. Mel'nichenko, K.A. (2013) Functioning of standard British-American English in the global world. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 1. pp. 36–38. (In Russian).
16. Vlasenko, S.V. (2007) Massovaya “kolonizatsiya” anglitsizmami yazykovogo soznaniya russkogovoryashchikh kak problema kognitivnoy fil'tratsii [Mass “colonization” of anglicisms in the Russian-speaking linguistic consciousness as a problem of cognitive filtering]. *Voprosy psikholingvistiki – Issues of Psycholinguistics*. 6. pp. 82–90.
17. Balakina, Yu.V. & Visilitskaya, E.M. (2014) English economic borrowings in the lexicon of the speakers of Russian in the era of globalization. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*. 2. pp. 29–34. (In Russian).

18. Kirilina, A.V. (2013) Globalization and language fates. *Voprosy psikholingvistiki – Issues of Psycholinguistics*. 17. pp. 136–141. (In Russian).
19. Sirotinina, O.B. (2011) Rechevaya sreda [Speech environment]. *Rechevoe obshchenie: spetsializirovannyi vestnik*. 12 (20). pp. 167–168.
20. Makarov, M. (2013) It is not the English language that makes the trouble. *Voprosy psikholingvistiki – Issues of Psycholinguistics*. 17. pp. 151–152. (In Russian).
21. Lomakina, O.V. (2014) Foreign phraseology and paremiology in Leo Tolstoy texts: peculiarities of switching language code. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta – Cherepovets State University Bulletin*. 7. pp. 93–96.
22. Bol'shakova, T.I. (2008) *Inoyazychnye vkrapleniya v khudozhestvennykh proizvedeniyakh V.P. Aksenova* [Xenolexis in works of V.P. Aksyonov]. Abstract of Philology Cand. Diss. Voronezh. Voronezh State University.
23. Gornostaev, S.V. (2014) Ways of interference and stylistic variation of Anglicisms in the sphere of game industry in the modern Russian language. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*. 10. pp. 75–81. (In Russian).
24. Kopreva, L.G. (2006) *Inoyazychnye vkrapleniya v regional'noy press-reklame* [Xenolexis in the regional press advertising]. *Nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta – Scientific Journal of KubSAU*. [Online]. Available from: <http://ej.kubagro.ru/2006/06/pdf/25.pdf>. (Accessed: 31st May 2015).
25. Shakhovskiy, V.I. (2014) Kreatems as an indicator of infinite potencies of language development. *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika – Ecology of Language and Communicative Practice*. 2. pp. 162–172. (In Russian).
26. Skovorodnikov, A.P. (2013) On the way ecolinguistics can be applied to the state of contemporary Russian language. *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika – Ecology of Language and Communicative Practice*. 1. pp. 194–222. (In Russian).
27. Shakhovskiy, V.I. (2015) Alterations in the worldview and the dynamics of language and speech practice. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie – Science Journal of Volgograd State University. Linguistics*. 1. pp. 7–20. DOI: <http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu2.2015.1.1> (In Russian).
28. Kostomarov, V.G. (1999) *Yazykovoy vkus epokhi*: iz nablyudeniy nad rechevoy praktikoy mass-media [Language taste of the era: from observations of speech practice of the media]. 3rd ed. St. Petersburg.: Zlatoust.
29. Yudina, N.V. (2010) *Russkiy yazyk v XXI veke: krizis? evolyutsiya? Progress?* [Russian language in the 21st century: Crisis? Evolution? Progress?]. Moscow: Gnozis.
30. Sirotinina, O.B. (2014) Modern communication usage and the fate of the Russian language. *Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika – Ecology of Language and Communicative Practice*. 2. pp. 293–307. (In Russian).
31. Skrebnev, Yu.M. (1975) *Ocherk teorii stilistiki* [Essays on the theory of stylistics]. Gor'kiy: GGPPIYA.
32. Budagov, R.A. (2004) *Chto takoe razvitie i sovershenstvovanie yazyka* [What is the development and perfection of the language]. Moscow: Dobrosvet-2000.
33. Rybushkina, S.V. (2015) Assimilation of foreign neologisms in the modern Russian language under extra-linguistic influence (on the example of computer-mediated educational discourse). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 392. pp. 34–38. (In Russian).

УДК 81 42 + 070
DOI 10.17223/19986645/37/7

Н.Г. Нестерова

РАДИОТЕКСТ КАК ГИПЕРТЕКСТ*

В статье обосновывается представление о радиотексте как о гипертексте. Радиодискурс, будучи нелинейным, многоуровневым, полижанровым образованием, структурно представляет собой систему гипертекстов. Структурными единицами радиотекста становятся: речь участников радиозэфира, интернет-версии радиопрограмм, электронные послания, слоганы, названия радиостанций и радиопередач, комментарии слушателей и ведущих в блогах, а также разнообразные информационные и рекламные включения в эфир: новости, реклама, прогноз погоды, астрологический прогноз, информация о курсе валют и т.д.

Ключевые слова: радиотекст, гипертекст, макротекст, микротекст, структурная единица, слоган, радионазвания, радиореклама, межтекстовые ссылки, метатекстовые маркёры.

Постановка вопроса о специфике радиотекста обусловлена необходимостью изучения его как объекта медиалингвистики и как базовой единицы радиодискурса.

Для данного исследования актуально представление о медиатексте Т.Г. Добросклонской. Исследователь отмечает, что устоявшееся в традиционной лингвистике понимание текста как «объединённой смысловой связью последовательности знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность» [1. С. 507] «при переносе в сферу массмедиа <...> значительно расширяет свои границы» [2. С. 48], так как оно должно учитывать совокупность вербальных и медийных признаков. Функционирование медиатекста «одновременно в нескольких измерениях: вербальном, медийном и гипертекстуальном» [2. С. 49] расширяет представление о свойствах радиотекста и становится главным основанием для квалификации его как гипертекста. Последний из указанных Т.Г. Добросклонской уровень («измерение») коррелирует с понятием нелинейности медиатекста и связан с глобальными изменениями информационно-коммуникационной среды.

Отмеченные признаки медиатекста в полной мере проявляются в радиотексте. Интернет, вошедший в современное коммуникативное пространство, кардинально изменил характер функционирования радио: создал условия для хранения архивов программ и доступ к ним, расширил возможности и радио как средства массовой коммуникации, и адресата, обеспечил межтекстовые взаимосвязи.

Однако понятие «...гипертекст» нельзя ограничивать обусловленностью Интернетом: «гипертекст как связь текстовых элементов в единое целое су-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований («Культуроформирующие функции радиодискурса с позиции лингвистики»), проект № 14-34-01022.

ществовал и до его возникновения» [3. С. 152]. В гуманитарных исследованиях понимание гипертекстуальности как неотъемлемого признака любого текста было основано на том, что «имплицитно или явно внутри текста существуют ссылки, смысловые корреляции и внутритекстовые, а зачастую и межтекстовые связи» [3. С. 152]. В числе авторов, в работах которых рассматривались теоретические аспекты функционирования гипертекста, исследователи называют зарубежных и отечественных писателей (в их числе Владимир Набоков, Умберто Эко, Реймон Кено, Хулио Кортасар, Джеймс Джойс, Хорсе Луис Борхес, Итало Кальвино, Джон Барт, Самюэль Беккет) и философов (Ролан Барт, Михаил Бахтин, Мишель Фуко, Жак Дерида) [4. С. 202]. В указанной работе отмечается, что активизация теории гипертекста «как разорванного разобщённого текста, ставившего своей целью языковую и структурную игру с читателем» [4. С. 202] обнаружила себя в эпоху постмодернизма.

Предлагаемый в данной публикации подход опирается на широкую трактовку гипертекстуальности и становится основанием для рассмотрения радиотекста как единого целого, которое включает: 1) прозвучавшие в эфире фрагменты **устной** речи; 2) материалы, представленные на сайте радиостанции в **печатном** виде: поступившие от слушателей электронные послания, блоги, стенограммы эфирных записей; 3) **видеотрансляции** радиопрограмм.

Под **радиотекстом** нами понимается совокупность характеризующихся коммуникативной связностью и целостностью автономных вербальных текстов, представленных в радиоэфире и на сайте радиостанции, а также музыкальных блоков, звуковых эффектов (шумов), участвующих в организации радиодискурса.

Параметры описания медиатекста, предложенные Т.Г. Добросклонской безотносительно к разным типам СМИ [2. С. 49], могут стать основой для характеристики радиотекста. При этом представляется необходимым учёт его функционирования в условиях активно развивающегося Интернета и конвергенции СМИ. Таким образом, 1) каналами распространения радиотекста служат радио и Интернет; 2) по способу производства радиотекст может быть авторским и коллегиальным; 3) по форме создания это чаще всего устный текст; некоторые жанры, например, новости, – первично письменные тексты; 4) по форме воспроизведения радиотекст реализуется, прежде всего, в устной форме, в современных технических условиях может быть представлен как письменный текст (в виде стенограммы, электронного сообщения, записей в блоге); 5) по функционально-жанровому типу текста различаются новости, комментарий, аналитика, беседа, интервью, информационные сообщения, анонсы, реклама и другие жанры; 6) по «тематической доминанте» определяется формат конкретной радиостанции, радиопередачи и, соответственно, характер радиодискурса и радиотекста – информационный или развлекательный.

Учитывая расширение возможностей получения радиоинформации, считаем целесообразным дополнить к отмеченным параметрам характеристику радиотекста 7) по способу восприятия: сегодня он аудиальный с элементами визуализации.

Определяя структурно-текстовую организацию радиотекста, мы исходим из того, что он, являясь базовой составляющей радиодискурса, состоит из множества текстов, ориентированных на различные типы коммуникации. Особенности радиотекста становятся многослойность, драматургичность, фрагментарность – и при этом целостность. Радиотекст представляет собой «интегративный контент» [5], который объединяет аналитические и развлекательные программы, интерактивную связь со слушателями, интернет-версии радиопрограмм, комментарии слушателей и ведущих в блогах, а также разнообразные включения в эфир: рекламу, прогноз погоды, астрологический прогноз, информацию о курсе валют и т.д.

Предлагаемое понимание радиотекста имеет точки пересечения с наблюдениями М.А. Бережной в отношении телевизионного текста. В основу выделения феномена интегративного контента М.А. Бережная, ссылаясь на А.А. Шереля, ставит такую «особенность восприятия аудиальной (а также аудиовизуальной) информации, как «фоновость». Для этого типа восприятия характерны несосредоточенность, фрагментарность, случайность, реакция на яркие возбудители, что делает бессмысленным традиционное логичное изложение связного текста» [5. С. 97] и активизирует внимание ведущих на приёмах привлечения аудитории.

Сложность и неоднородность радиотекста стала основанием для введения в его описание понятий **макротекст** и **микротекст**. Микротекст – это минимальная текстовая единица радиодискурса, синтаксически и/или тематически связанная последовательность знаковых единиц, которая, как правило, характеризуется относительной краткостью и входит в состав более крупной текстовой единицы – макротекста. Под макротекстом в радиодискурсе предлагаем понимать семантически и структурно объединённую последовательность знаковых единиц, состоящую из микротекстов, связанных метатекстовыми (межтекстовыми) ссылками. Таким образом, в макротекст объединяются: тематическая программа, включающая реплики ведущего, диалоги, музыкальные композиции, рекламные блоки, информационные сообщения разных типов.

Выступающие в качестве межтекстовых ссылок метатекстовые показатели представлены как самостоятельные «подзаголовки» к разным микротекстам (1) или включены в «живую» речь ведущего (2). Ср.: (1) **Спорткурьер** (Новости спорта. «Эхо Москвы»); **Реклама** на «Русском радио»; **Новости** на «Авторadio»; **Доска объявлений** (Реклама. «Милицейская волна»); **Узнать за 100 секунд** на «Хит FM» (Информационный блок); «Хит FM». *На одной волне.* (Музыкальный блок). (2) *И вот теперь **советы астрологов** на «Радио Сибирь» на день завтрашний, понедельник 10 сентября. Завтра нас с вами ожидает радостный и гармоничный день, сюрпризы и неожиданности, которые принесут только положительные эмоции и перемены к лучшему – вот чем будет наполнен этот четверг; «Радио Сибирь» (нараспев). 104.6 FM. 72 УКВ; Я, Макс Олейников, на «Милицейской волне». Хочу подарить вам свою **песню**; Это **туристический обзор** на «Хит FM»; В Москве 8 часов 15 минут. На «Эхе» **новости**.*

Метатекстовые маркёры, подчёркивающие связность макротекста, часто используются по типу кольцевой композиции: открывают и закрывают вклю-

чёрный в эфир микротекст: *О погоде*. [Следует сообщение о погоде] *Спонсор прогноза погоды на «Милицейской волне» Томска – компания «Экоокна»; Новости*. [Следует новостной выпуск]. *Лариса Иванова – специально для «Милицейской волны»*. [После выпуска новостей]: *К новостям мы ещё вернёмся уже меньше чем через час. Ольга Хорева. «Милицейская волна»; Хит отечества* [Следует рекламная информация]. *Телефон рекламной службы «Хит FM» в Томске* [Следует номер телефона].

По-разному радиостанциями вводятся микротексты одного типа. Сравним анонсирование информационной составляющей эфира на двух радиостанциях, большую часть вещания которых составляет развлекательный контент: «Русское Радио». *Мы делаем новости; «Авторадио». У нас есть новости*. Радиостанция «Русское Радио», имеющая многомиллионную аудиторию, позволяет себе заявлять о доминировании в информационном пространстве, о праве и способности «создавать» новости, в отличие от «Авторадио», чья позиция более скромная – только предлагать готовую информацию.

Макротекст не проявляет системные свойства каждого из входящих в него микротекстов, и в отдельном микротексте не находят отражение свойства целого. Коммуникативно-прагматические факторы (роль адресанта, установка на адресата, содержательная и стилистическая концепция радиостанции) мотивируют способ распределения и взаимодействия в едином структурно-смысловом пространстве макротекста его разноуровневых составляющих и обеспечивают устойчивость текстовой системы в условиях радиокommunikации. Цельность и связность являются конститутивными компонентами, обеспечивающими коммуникативно-смысловую целостность не только микротекста, но и макротекста.

Макротекст при определённой устойчивости допускает структурную вариативность и в силу структурной и содержательной пестроты открыт для множества подходов и интерпретаций с точки зрения структурной организации и смыслового наполнения.

Для радиотекста релевантно такое понимание текста, при котором его смысл не сводится только к воплощённому авторскому замыслу [6], т.е. текст квалифицируется как генератор новых смыслов и становится равноправным участником общения. Субъектами текстовой деятельности являются и адресант, и адресат. Разные включённые в макротекст микротексты апеллируют к сознанию и чувствам адресата, так или иначе влияют на его эмоциональную сферу, побуждают к интеллектуальным или иным действиям.

В исследовательских целях для удобства осуществления научного анализа непрерывно меняющегося дискурса за **основную структурную единицу**, организующую радиодискурс, считаем возможным принять эфирный час как макротекст, имеющий чётко очерченные границы, определённую, регламентированную временными рамками структуру и характеризующийся совокупностью целей и задач.

В данном исследовании в качестве структурных элементов радиотекста рассматриваются все прозвучавшие в радиоэфире и представленные иным образом микротексты (по крайней мере, в рамках одной радиостанции) как составляющие радиотекст и организующие радиодискурс.

Микротексты внутри эфирного часа выступают как структурные единицы «внутреннего уровня». Приведем для примера перечень структурных единиц (блоков) эфирного часа на радиоканале «Радио Сибирь» (вечерний эфир 18.00–19.00):

1) новости, 2) реклама, 3) песня, 4) напоминание времени и даты, 5) прогноз погоды + указание спонсора прогноза погоды, 6) реклама, 7) песня, 8) реплика ведущей – анонс информационного и музыкального блоков, 9) реклама + напоминание телефона радиостанции, 10) песня, 11) слоган + напоминание частоты вещания, 12) новости экономики, 13) песня, 14) напоминание: *Вы слушаете «Радио Сибирь»*, 15) песня с последующим комментарием ведущего, 16) информационный блок, 17) реклама, 18) песня, 19) реклама, 20) астрологический прогноз, 21) песня, 22) новости спорта.

В рамках предпринятого подхода нелинейность усматривается не только в межтекстовых связях в интернет-пространстве, но и в связях между микротекстами, составляющими макротекст в условиях традиционной радиокommunikации. При такой логике представление о гипертекстуальности расширяется, выходит из рамок виртуального общения и понимается как политекстуальность. Подобное взаимодействие понятий *гипертекстуальность* и *политекстуальность* представлено в работе [7].

При широком понимании гипертекста решается проблема квалификации эфирного контента и определения «места» и статуса линейно расположенных (с точки зрения структуры, но отнюдь не всегда с точки зрения содержания) текстов, которые прерывают целостность монологической или диалогической радиоречи участников радиокommunikации. Имеются в виду включения в эфир новостей, радиорекламы, астрологического прогноза, информации о погоде и курсе валют, а также слоганов, анонсов, разного рода заставок и перебивок, которые в рамках предлагаемой концепции рассматриваются как микротексты и структурные единицы радиогипертекста. Ср., как это реализуется в анонсе: *Минут через 10 представим вам последний утренний выпуск новостей на «Ретро FM», пока же считаю своим долгом обозначить наши музыкальные перспективы: через полминуты на «Ретро FM» Уитни Хьюстон, «Весёлые ребята» и Юрий Никулин; Хорошее настроение, отличная музыка – всё это здесь, на «Радио Сибирь». И совсем уже скоро прогноз погоды на день грядущий.*

При этом дифференцируется ядро (собственно радиоречь – речь радиоведущих и других участников коммуникативной ситуации) и периферия – всё прочее. Уникальность и целостность радиотекста при такой структурно-текстовой организации радиодискурса видится в особом типе автора, специфической текстовой модальности, многообразном проявлении авторского «я», рассчитанного на включённость в процесс коммуникации [8. С. 14]. Как важнейший фактор, обеспечивающий целостность текста, оценивается его коммуникативная обращённость к целевой аудитории.

Особое положение среди структурных единиц радиотекста занимают радионазвания (названия радиостанций, радиопрограмм, рубрик) и слоганы: не будучи микротекстами, они выполняют структурирующую, организующую радиотекст и радиодискурс функцию.

Особенностью радиотекста является отсутствие у него заголовка. При этом названия радиостанций, радиопередач, рубрик радиопередач выступают как структурные единицы радиотекста. Наряду с номинативной они выполняют функцию коммуникативной перспективы [9. С. 169], так как указывают на тему предстоящей беседы, предстоящего участия адресата в коммуникации.

Для характеристики радиотекста как гипертекста важно, что названия радиостанций являются уникальными наименованиями в сфере радиокommunikации; названия радиопередач функционируют в эфире конкретной радиостанции; названия рубрик реализуются в определённой радиопередаче. Ср.: «Телехранитель» («Эхо Москвы», передача о телевидении), «Доживём до понедельника» («Маяк», шоу), «АЗС» («Авторадио», рубрика «Агентство забавных сообщений»). Пересечения названий передач на разных радиостанциях исключены.

Название не только выполняет указанные выше функции, но и передаёт информацию о радиостанции и радиопередаче. Информативная функция проявляется в его связи с тематикой передачи, с её содержанием, с обсуждаемыми событиями: «Большой эхонет», «Эхонет» («Эхо Москвы», тенденции, новости и события в интернет-сфере); «Радио-рельсы» (совместный проект радио «Эхо Москвы» и ОАО РЖД).

Радионазвания структурируют радиотекст. Слово или словосочетание, ставшее названием радиостанции или радиопередачи, имеет значение как единица языка, соотносённая с внеязыковой действительностью и осмысляемая в этой соотносённости. Указанная структурная единица является частью гипертекста: будучи наименованием конкретной передачи, прозвучавшей «здесь и сейчас», она в то же время выступает как «гиперссылка», являясь наименованием для всех выпусков передачи. К примеру, под названием «Говорим по-русски», уже более 15 лет служащим наименованием радиопередачи на радиостанции «Эхо Москвы», каждую неделю слушателю предлагается новый текст. Так как передачи идут в прямом эфире, выпуски никогда не повторяются. Отмеченные особенности функционирования радионазваний позволяют квалифицировать их как коммуникативно значимые и текстообразующие единицы в структуре радиогипертекста, выполняющие в то же время функцию межтекстовых ссылок.

Как структурные единицы радиогипертекста рассматриваются нами слоганы, которые звучат в эфире радиостанций, но не в рекламе. Имеются в виду фрагменты радиотекста, являющиеся девизом радиокomпании. Функционируют они, как правило, длительное время, так как направлены не на презентацию товаров и услуг, рекламирование которых ограничено временными рамками, а связаны с формированием имиджа конкретной радиостанции. Радиостанция, как правило, использует несколько слоганов: «Море удовольствия» – «Love радио», «Живи в удовольствие – слушай «Love радио», «Любовь не звучала лучше, чем сейчас» – «Love радио», «Love радио» – радио твоей мечты!

С точки зрения формальной структуры радиослоганы дифференцируются на связанные с радионазваниями и свободные [10]. Связанные слоганы включают название радиостанции или программы, благодаря чему последние

лучше запоминаются: «*Помаячим!*» (региональное включение «Радио Маяк» на томском радио, название передачи и её слоган); *Радио слушают. «Авторадио» любят*; «*Хит FM*» – *одно для всех, одно на всех*; «*Ностальжи*» – *это навсегда*; «*Максимум*» – *радио двух столиц*; «*Ретро канал*» – *море воспоминаний и немного грусти*; «*Европа плюс*» – *включи весь мир*; «*Модерн*» – *это не просто радио*.

Свободные слоганы подчёркивают особое положение радиостанции/радиoproграммы, их основную направленность, чем привлекают целевую аудиторию. Например: *Ваш лоцман в мире информации. «Эхо Москвы»*. Акцент в слогане сделан на ключевой составляющей эфира радиостанции – информационной. Радиостанция позиционирует себя в качестве компетентного источника информации (слово *лоцман* рождает ассоциации: *тот, кто ведёт, направляет*). Ср. также: «*Русское радио*» – *музыка для души*; «*Русский шансон*» – *вся палитра русского городского романса*; *Лучший друг автомобилиста* («Авторадио»); *Музыка, которая заводит* («Европа плюс»); *Слушаешь «DiFM» – танцуешь в клубе*.

По наблюдениям В.В. Смирнова, частое повторение слоганов создает эффект психологического приобщения к некоему кругу. Это важный фактор завоевания и удержания аудитории [11. С. 20–25].

Доминантой современных молодёжных радиостанций является музыкальный формат, поэтому у них возникает необходимость актуализировать дополнительные преимущества по сравнению с остальными радиостанциями. Например, «Хит FM» предлагает слушателям формировать музыкальное наполнение эфира посредством звонков или отправки СМС-сообщений, электронных сообщений. Указание на интерактивность программы находит отражение в слогане: «*Хит FM*». *Радио по заявкам*.

Анализ слоганов радиостанций и радиопередач убеждает, что они серьёзным образом отличаются от слоганов коммерческой рекламы целевой установкой – направленностью на формирование имиджа радиостанции или на презентацию радиопередачи. В отличие от рекламных слоганов, многие из которых «повторяют друг друга почти дословно» и некоторые слова и конструкции которых «эксплуатируются так часто, что совершенно обесценились» [12. С. 59], слоган на радио характеризуется индивидуальностью, будучи девизом конкретной радиостанции и конкретной радиопередачи. Радиослоган является и метатекстовым маркером, по которому, в любой час включив радио, можно узнать радиостанцию.

В рамках предпринятого подхода есть все основания в качестве структурной единицы радиогипертекста рассматривать звучащую в эфире рекламу. Реклама на радио имеет своё место в композиционной структуре радиотекста (чаще звучит после музыкального блока, предшествует радионовостям или завершает их) и отличается коммуникативным своеобразием в сравнении с другими типами рекламы.

Используются различные способы введения рекламы в радиодискурс. Типичным для всех радиостанций является следование рекламных блоков за выпусками новостей и прогнозом погоды. Новостная программа «обрамляется» рекламой, которая звучит перед выпуском новостей, а по окончании вы-

полняет роль своеобразного связующего звена при переходе к прогнозу погоды.

На музыкальных радиостанциях реклама «прикрепляется» к музыкальным хитам: часто следует после «лучшей десятки» музыкальных новинок. Рекламные блоки могут предварять включение музыкальных хитов. В этом случае ведущим произносится фраза-клише, являющаяся своеобразным анонсом дальнейшего наполнения программы: *Не переключайтесь! После рекламы мы услышим лучшие песни этой недели!*

Реже реклама звучит непосредственно в речи радиоведущего в виде отдельных реплик, высказываний. *И что теперь? Правильно. Реклама («Эхо Москвы»); Дело прежде всего. Реклама («Эхо Москвы»); Реклама на «Эхе». Попробуйте – вам понравится; В полном контакте с информацией. <...>. Вы слушали аэроновости (о нововведениях в Аэрофлоте. «Эхо Москвы»).*

Радиотекст, как гипертекст, представляет уровневую структуру. На первом уровне дифференцируются 1) эфирное наполнение радиостанции и 2) наполнение её сайта. Структурные единицы первого уровня различаются по способу представления макро- и микротекстов, по способу восприятия адресатом. Гиперссылками являются отсылки к сайту, к его рубрикам.

Второй уровень реализуется внутри указанных двух блоков первого уровня. Эфирный час, будучи основной структурной единицей радиодискурса, объединяет дифференцированные разноуровневые блоки, составляющие радиотекст: 1) звучащие в эфире аудиально воспринимаемые радиотексты и 2) представленные на сайте радиостанции – воспринимаемые визуально и аудиовизуально (2).

Структурные единицы аудиально воспринимаемого радиодискурса (радиотекста) организованы по принципу поля. Так как радиотекст является продуктом коммуникативно направленной деятельности радиожурналиста (радиоведущего) и адресата (радиослушателя – массового и «индивидуального») [9. С. 77], ядро составляет речь ведущих (монолог, диалог, полилог). При этом по объёму она занимает ограниченное место, потому что ведущий – прежде всего организатор (модератор) радиодискурса.

Концентрическими кругами от ядра «расходятся» микротексты, представляющие речь приглашённых в студию участников передачи, интерактивное общение посредством телефона и СМС с адресатом (слушателем). В разговорных программах, построенных в жанрах беседы и интервью, доминирующее положение занимает речь гостей студии. В интерактивных программах (радиоиграх, программах по заявкам) повышается роль дистантно расположенных участников (радиослушателей). Отмеченные «уровни» поля отражают эксплицированные отношения по линии *адресант – адресат*.

Дальше от центра следуют названия программ и рубрик; слоганы, заставки – органично связанные с содержанием программы и с главными интенциями радиостанции. Периферию составляют новостные выпуски, реклама, прогноз погоды, информация о курсе валют и о точном времени, музыкальные заставки, звуки, шумы – напрямую с содержанием программы не связанные.

Микротексты, имеющие разную степень связанности с темой эфирного часа, объединяются установкой на адресата, содержательной и стилистиче-

ской концепцией радиостанции. Структурная связь микротекстов и макротекстов обеспечивается межтекстовыми ссылками.

Что же касается сайта радиостанции, то он устроен по законам Интернета: включает макротексты, представляющие «радийный контент» [13] и нерадийный. Структурными единицами, организующими радиыйный контент сайта радиостанции, являются подкасты, расшифровки (стенограммы), интерактивная связь, обусловленная интернет-возможностями. Функцию метамаркёров выполняют названия разделов сайта и навигатор: *слушать, смотреть, читать* и др.

Обратимся за примером к сайту радиостанции «Эхо Москвы». Он включает многочисленные, разные по интенциям разделы (блоки), содержащие эфирный и неэфирный материал: *Эфир, Сетевизор, Интервью, Сетка, Гости, Спецпроекты, О нас, Форум; Новости, Блоги, Топы, Опросы, Рейтинги, Дос (Документы)*. Каждый блок имеет внутреннюю структуру разной «глубины». Названия разделов и наименования внутри них выполняют структурирующую и организующую деятельность адресата функцию. Радийный контент представлен в рубрике *Эфир*, предлагающей онлайн-вещание. Диалог с адресатом организуется предложением списка ссылок для прослушивания прямого эфира.

Адресат, который называется уже не слушателем, а пользователем, имеет возможность по своему усмотрению определять последовательность знакомства с материалами сайта. Он может «выбрать любой заголовок и перейти к статье, прослушать аудиотрансляцию или посмотреть видеорепортаж. И всё это доступно в одновременном режиме» [14. С. 67].

Предложенные в статье рассуждения в отношении к радиотексту как гипертексту подводят к следующему выводу: новая коммуникативная среда, обусловившая широкое развитие гипертекстов, самым серьёзным образом повлияла на радиотекст и дала основания для новых подходов к его изучению.

Литература

1. *Лингвистический энциклопедический словарь* / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990.
2. *Добросклонская Т.Г.* Массмедийный дискурс в системе медиалингвистики // Медиалингвистика: междунар. науч. журн. 2015. № 1 (6). С. 45–57.
3. *Базарова А.А.* Гипертекстуальность как базовая характеристика интернет-СМИ // Актуальные вопросы филологических наук: материалы междунар. науч. конф. Чита, 2011. С. 151–152.
4. *Мыгаль М.С., Карпенко И.И.* Журналистский гипертекст в системе массмедийной интернет-коммуникации // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2011. №18 (113), вып. 11. С. 201–208.
5. *Бережная М.А.* Телевизионный контент как объект комплексного исследования // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: материалы 51-й Международ. науч.-практ. конф. СПб., 2012. С. 96–99.
6. *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста // Об искусстве. СПб., 1998.
7. *Лошаков А.Г.* Сверхтекст: семантика, прагматика, типология: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Киров, 2008.
8. *Солганик Г.Я.* К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2005. № 2. С. 7–15.
9. *Богуславская В.В.* Моделирование текста: лингвокультурная концепция. Анализ журналистских текстов. М., 2008.

10. Бликина-Мельник М.М. Рекламный текст: задачник для копирайтеров. М., 2004.
11. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики // Особенности радиовещания и его формообразующие средства. М., 2002.
12. Аниськина Н.В., Колышкина Т.Б. Рекламный текст: теория и практика анализа. Ярославль, 2010.
13. Баранова Е.А. Особенности развития сайтов российских разговорных радиостанций // Медиаскоп: электрон. науч. журн. ф-та журналистики МГУ. 2015. Вып. 2.
14. Суворов А.А. Интернет: масс-медийные характеристики // Изв. Саратов. ун-та. Сер. Филология, журналистика. 2009. Т. 9, вып. 3. С. 64–70.

RADIO TEXT AS A HYPERTEXT.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), PP. 89–99.

DOI 10.17223/19986645/37/7

Nesterova Natalia G., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nesterova-tomsk@rambler.ru

Keywords: radio text, hypertext, macro-text, micro-text, structural unit, slogan, radio names, radio advertising, metatextual links.

The article explains the idea of the radio text as a hypertext. **Radio text** is a series of autonomous verbal texts characterized by communicative connection and integrity functioning on the radio and its website as well as music blocks and sound effects (noise) involved in radio discourse organization.

Radio discourse, being a non-linear, multi-level and poly-genre formation, represents a structurally integrative content. The structural units of the radio text are: speech of radio program participants, the Internet version of radio programs, e-mails, slogans, names of radio stations and radio programs, comments of listeners and radio personalities in blogs, and a variety of information and advertising included in the broadcast: news, ads, weather forecast, astrological forecast, information on exchange rates, etc.

The complexity and heterogeneity of the radio text explain the use of the concepts of macro-text and micro-text in its description. A micro-text is a minimal text unit of radio discourse, syntactically and / or thematically connected sequence of signs that is usually characterized by relative brevity and is part of a larger text unit, a macro-text. A macro-text is a semantically and structurally united sequence of signs consisting of micro-texts connected by metatextual links. The **basic structural unit** organizing radio discourse is the broadcast hour as a macro-text with clearly identified boundaries and a definite, regulated by a time frame, structure characterized by a set of goals and objectives.

The reason for qualifying the radio text as a hypertext is that the radio text as a media text, functions not only in the verbal, but also in the media and hypertextual dimensions. The approach chosen for this study approach is the basis for considering the radio text as a whole which includes: 1) fragments of speech in the broadcast, 2) materials on the radio station website in the graphic form: messages from listeners, transcripts of broadcasts, 3) video broadcasting of radio programs.

Within the approach non-linearity is seen not only in the intertextual relations in the Internet space, but also in the relations between micro-texts that form a macro-text in conventional radio communication. Thus, the idea of hypertextuality expands beyond the bounds of virtual communication and is understood as polytextuality.

A special place among the structural units of the radio text belongs to names of radio stations, radio programs and their parts, and to slogans: not being a micro text, they perform the function of radio discourse and radio text structuring and organizing.

The structural units of the broadcast radio text are organized by the field principle; its center is the speech of radio personalities.

The structural units that organize the radio content on the radio station site are podcasts, transcripts of broadcasts, interactive communication available via the Internet.

References

1. Yartseva, V.N. (ed.) (1990) *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic encyclopedic dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
2. Dobroslonskaya, T.G. (2015) Massmediyny diskurs v sisteme medialingvistiki [Mass media discourse in media linguistics]. *Medialingvistika – Media Linguistics*. 1 (6). pp. 45–57.
3. Bazarova, A.A. (2011) [Hypertextuality as a basic characteristic of Internet media]. *Aktual'nye*

voprosy filologicheskikh nauk [Topical issues of philology]. Proc. of the International Scientific Conference. Chita. pp. 151–152. (In Russian).

4. Mygal', M.S. & Karpenko, I.I. (2011) Zhurnalistskiy gipertekst v sisteme massmediynoy internet-kommunikatsii [Journalistic hypertext in the system of mass media Internet communication]. *Nauchnye vedomosti BelGU. Ser. Gumanitarnye nauki*. 18 (113):11. pp. 201–208.

5. Berezhnaya, M.A. (2012) [TV content as an object of complex study]. *Sredstva massovoy informatsii v sovremennom mire. Peterburgskie chteniya* [Media in the modern world. Petersburg readings]. Proc. of the 51st International Scientific and Practical Conference. St. Petersburg. pp. 96–99. (In Russian).

6. Lotman, Yu.M. (1998) Struktura khudozhestvennogo teksta [The structure of the literary text]. In: Lotman, Yu.M. *Ob iskusstve* [On the art]. St. Petersburg: Iskustvo – SPb.

7. Loshakov, A.G. (2008) *Sverkhtekst: semantika, pragmatika, tipologiya* [Hypertext: semantics, pragmatics, typology]. Abstract of Philology Dr. Diss. Kirov.

8. Solganik, G.Ya. (2005) K opredeleniyu ponyatiy “tekst” i “mediatekst” [On the definition of “text” and “media text”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika – Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 10. Journalism*. 2. pp. 7–15.

9. Boguslavskaya, V.V. (2008) *Modelirovanie teksta: lingvokul'turnaya kontseptsiya. Analiz zhurnalistskikh tekstov* [Modelling of text: a linguocultural concept. The analysis of journalistic texts]. Moscow: URSS Editorial.

10. Blinkina-Mel'nik, M.M. (2004) *Reklamnyy tekst: zadachnik dlya kopirayterov* [Advertising text: tasks for copywriters]. Moscow: OGI.

11. Smirnov, V.V. (2002) *Zhanry radiozhurnalistiki* [Genres of radio journalism]. Moscow: Aspekt Press.

12. Anis'kina, N.V. & Kolyshkina, T.B. (2010) *Reklamnyy tekst: teoriya i praktika analiza* [Advertising text: theory and practice of analysis]. Yaroslavl.

13. Baranova, E.A. (2015) **Development Features of Russian Talk Radio Stations' Websites.** *Mediascope – Mediascope*. 2. (In Russian).

14. Suvorov, A.A. (2009) Internet: mass–mediynye kharakteristiki [Internet: mass media characteristics]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philology. Journalism*. 9(3). pp. 64–70.

УДК 811.161.1
DOI 10.17223/19986645/37/8

Н.В. Орлова

СУБЪЕКТЫ КАРТИНЫ МИРА В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛАХ «ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ»*

В статье проведена сплошная выборка антропонимов и обозначений антропоморфных существ из десяти номеров современных журналов «для самых маленьких». Прослеживается динамика способов номинации персонажей в зависимости от возраста адресата (3+ и 5+, 6+). С учетом количественных показателей описаны номинативные области реального и ирреальных миров. Показано, что в реалистической части субъектная картина мира способствует вхождению ребенка в институциональные дискурсы – массмедийный, просветительский, развлекательный. В вымышленных мирах преобладают номинации героев традиционного русского фольклора, однако эта часть субъектного мира лишена культурной аутентичности, запрограммирована на регулярные интердискурсивные переключения. Сделан вывод о том, что в журналах с адресатом 5+, 6+ мир вымышленных героев не может быть адекватно воспринят заявленной целевой аудиторией.

Ключевые слова: журнал для самых маленьких, картина мира, номинации субъектов, антропоним, антропоморфное существо, дискурс.

Социализация нашего соотечественника в XXI в. проходит под влиянием различных факторов, среди которых чтение как источник информации хотя и вытесняется аудиовизуальными «конкурентами», но не исчезает вовсе. Данные о влиянии детского чтения на процесс вхождения ребенка в общество и культуру исследователи называют «разрозненными»: «Не хватает методологических работ о том, как изучать культурные мифы и коды, образцы поведения, эстетические предпочтения, этические принципы и т.п., которые предлагает ребенку детская литература [1. С. 150]. Обращение автора статьи к современным отечественным журналам «для самых маленьких» обусловлено особой значимостью культурной информации в раннем возрасте, когда активно формируются когнитивная и языковая картины мира.

Значимой характеристикой картины мира является её субъектная составляющая, выраженная собственными именами [2]. Собственное имя принадлежит реальному или вымышленному миру, маркируя эти миры; носитель имени совершает поступки, предписанные или, наоборот, несвойственные ему в его мире, взаимодействует с носителями других имен и т.д. Поименованные субъекты являются проводниками в определенные дискурсы с их специфическими ценностями.

Ограничение в отборе материала (только антропонимы, номинации животных и антропоморфных существ) обеспечило сплошную выборку единиц и выявило преобладающие типы субъектов.

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 15-04-00325 «Детство в дискурсивном пространстве региона: комплексный анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием ребенка».

В журналах, где возраст адресата обозначен «от 3 до 6 лет» («Сказка на ночь»), носителями собственных имен являются невзрослые антропоморфные животные, которые носят одежду, помогают друг другу и т.д. Мир антропоморфных животных, представленный в журнале «для самых маленьких», наиболее близок к культуре детской повседневности с её запретами и разрешениями. Специфическим способом номинации этих персонажей является употребление нарицательных имен как собственных: *Пёсик, Утёнок, Поросёнок, Цыплёнок, Жеребёнок, Зайка, Ёжик, Мишка, Волчонок, Зайка, Медвежонок, Индюшонок*. (В единичном случае указанный способ номинации применен к растению (журнал «РаЗвивалки», рубрика «Энциклопедия Кактуса»). Т.А. Гридина справедливо пишет об «ориентации ребенка на конкретную номинативную или коммуникативную ситуацию» как об одной из ментальных доминант, определяющих специфику языкового сознания ребенка [3. С. 276]. Согласимся с тем, что, называя единичную реалию именем класса предметов, данный способ номинации реализует принцип «от конкретного – к абстрактному» в формировании картины мира адресата дошкольного возраста (подробнее об этом см. в работе [4]). Благодаря обязательному изображению персонажа (рисунку), имя соединяется с визуальным образом.

В журналах с адресатом «5+», «6+» (в нашем материале это «Каникулы», «Маленькие художники», «Санька в стране сказок», «Саша и Маша», «Занимательный клуб», «РаЗвивалки», «Мульт и Мир» – всего 10 выпусков за 2014–2015 гг.) субъектная картина мира усложняется. Антропоморфные животные получают индивидуальные имена, в роли которых, как правило, выступают редкие в современном русскоязычном социуме антропонимы: *Меня зовут Гаврик [собака]! Я Зося [лиса]! Меня зовут Тимоша [кот]!* (в данном случае на класс животных указывает визуальная составляющая текстов); см. также *олёнёнок Лёка; зайцы Федя, Афоня, Тиша, Кузя*. С одной стороны, подобные номинации не противоречат современному русскому обычаю именования животных, с другой – подчеркивают «человеческие» признаки персонажей. Наряду с антропоморфными животными присутствуют другие группы субъектов. Чётко отграничиваются друг от друга реальный мир и миры вымышленные (волшебный, фантастический, художественный).

В реальном мире собственные имена принадлежат по преимуществу читателям журналов и известным личностям.

В первом случае (в картотеке таких номинаций 103) журнал выполняет массмедийную функцию, обеспечивая обратную связь с адресатом и решая маркетинговые задачи. В типичном варианте номинация включает данные, позволяющие носителю имени с помощью взрослых идентифицировать себя как участника игры, победителя конкурса и сообщить об этом «своему кругу». Наряду с полным и основным неполным именем функционирует имя с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Идентификация имени с реальным адресатом-читателем незначима для незаинтересованных лиц: название имени и фамилии регулярно не сопровождается указанием на место жительства либо последнее не является точным: *Елизавета Суглобова, 9 лет (г. Орёл); Даниил Семенов, д. Сызганка; Никита Меньшиков, д. Ракишино*. Исключение составляют рубрика «Переписка» в журнале «Мульт и Мир», где

указывается полный почтовый адрес читателя, а также ситуации, когда предполагается вручение денежных призов (называется почтовый индекс).

Во втором случае журнал решает просветительские задачи. В субъектный мир читателя вводятся имена русских и зарубежных писателей (6 номинаций), музыкантов, ученых, полководцев (по 3 номинации), первого космонавта (2 номинации), художника, путешественника (по 1 номинации), русского царя *Петра I*. Собственные имена включаются в кроссворды и сканворды, предлагающие идентифицирующие формулы, не всегда отражающие энциклопедическую информацию об известной личности (ср.: *автор сказки о Коньке-Горбунке* и *торт-император*). Еще одним коммуникативным жанром, куда включаются имена известных личностей, являются викторины, основанные на тестовых заданиях закрытого типа. Для отгадывания предлагаются главным образом универсально-прецедентные имена [5. С. 169–230]: *Ганс Христиан Андерсен, Л.Н. Толстой, Наполеон, В.А. Моцарт, Дмитрий Менделеев* и др. По разным поводам упоминаются иные российские и зарубежные персоналии: *Ватман* (производитель бумаги из Англии), *Наргиз Закирова* (певица), *Гоша Куценко* (артист).

В развлекательных и развивающих текстах действуют персонажи условно реального мира, не имеющие конкретной референции: герои анекдотов (4 номинации – *Вова, Валерочка, Петя, Мариванна*), игр и диалогов с читателями (16 номинаций – *Саша и Маша, Антон, Катя, Саша, Оля, Света, Таня, Лиза, Витя, Дима* и др.). Все номинации – распространенные в России русские имена.

Знакомство с вымышленным миром призвано будить фантазию, развивать эстетическое чувство и нравственное сознание. Тексты, в которых он воплощен (так же, впрочем, как и информация о реальном мире) формируют национальную и культурную идентичность адресата. Персонажами этого мира являются:

(а) герои русских сказок, былин, восточнославянской мифологии – 32 номинации: *Царевна-лягушка, Марья-царевна, Андрей-стрелок, Василиса Прекрасная, мальчик Терёшечка, Жучка* из сказки «Репка», *Серый волк, Кощей, Лихо одноглазое, Царь морской, Соловей-разбойник* и др.;

(б) герои современных зарубежных мультфильмов и мультсериалов – 16 номинаций: *Техна, Джек Воробей, Эзра Бриджер, Кэнан Джарус, Губка Боб, Черепашка ниндзя* и др.

(в) герои детской классики – литературных сказок, написанных или обработанных русскими и зарубежными писателями, – 12 номинаций: *Мальчик с пальчик, Спящая красавица, Снежная королева, Конек-горбунок, Черномор, Щелкунчик* и др.;

(г) герои произведений других литературных жанров, отечественных и зарубежных, – 10 номинаций: *дядюшка Скрудж, Винни Пух, Ванька*, написавший письмо «на деревню дедушке», *дядя Стёпа, Слон и Моська* и др.

(д) герои отечественных мультфильмов и мультсериалов – 9 номинаций: *Чебурашка, Золотая антилопа, Луладжа, Потаня* и др.

(е) герои неславянской мифологии: *Санта-Клаус, Пер Нозль, Йоулупукк*.

Персонажи традиционной русской культуры наиболее многочисленны, но лишены в журнальных текстах сказочно-былинной аутентичности. Они на-

ходятся в мире современных реалий, включаются в современные читателю коммуникации, их хронотопы пересекаются самым причудливым образом. Колобок разговаривает с Чебурашкой в пространстве анекдота, кот Баюн представлен в духе реалистичного описания как «породистый кот», который «скорее похож на амурского тигра или на рысь», и т.д.; при этом содержание его волшебных действий, о которых рассказывает журнал, не совпадает с мифологическим каноном. Детский журнал с адресатом «5+», «6+» с позиции взрослого читателя журнала характеризуется той «интердискурсивностью», которая, по словам В.Е. Чернявской, «предполагает переключение на другую систему знания, кодов и другой тип мышления в сознании реципиента. Это не диалог «своего» и «чужого» текста в форме цитат, аллюзий, реминисценций, но взаимодействие, взаимоналожение различных ментальных, т.е. над- и предтекстовых структур, операций, кодовых систем в процессе текстопроизводства» [6. С. 228].

Рассмотрим подробнее дискурсивные пространства, в которые помещаются герои русских сказок и былин, на примере двух журналов: «Санька в стране сказок» (2015. № 1) и «Мульт и Мир» (2015. № 1).

Героиня первого Марья-царевна ведет сказочную речевую партию, причем не только свою: *Он, сокол мой ясный!; Звери лесные, птицы поднебесные! Вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду летаете. Не слышали ль, как дойти туда – не знаю куда; Земля потому трясется, что Чудо-юдо храпит; Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее...* Однако традиционная сказочная ипостась Марьи-царевны в журнальном тексте далеко не единственная. Героиня представлена как участница современного конкурса красоты (...*соберутся все сказочные красавицы с мужьями, а мой Андрей-стрелок пропал. Как я без него буду косами мериться?; Финал конкурса красоты. Главной красавицей царства становится... МАРЬЯ-ЦАРЕВНА!*), как знаток компьютерных технологий (*Вот память девичья! Я ж его [ковер-самолет] запаролила, чтоб не угнали!*); как не вполне воспитанный человек, которому следует напомнить формулы вежливости (*Сват Наум, покорми и нас. Да побыстрей! – Ты чего командуешь? В сказке живешь, а слова волшебные забыла*). Кроме того, Марья-царевна включается в современный инструктивный дискурс, обучающий юных читательниц элементам парикмахерского искусства (*Что делаем? – и далее инструкция-алгоритм плетения косы*).

Наиболее яркие примеры интердискурсивности демонстрирует журнал «Мульт и Мир», предлагающий викторины и головоломки по содержанию современных мультфильмов или анимационных сериалов. По сути, весь журнал составлен из вторичных текстов, отсылающих к текстам мультфильмов как первичным. На одном развороте журнала (2015. № 1), где идет речь о героях мультфильма «Три богатыря: Ход конем», соседствуют *Алешиа Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец, певица Наргиз Закирова*, представленная как «финалистка второго сезона шоу «Голос», актер *Гоша Куценко*, который «озвучил разбойника *Потаню*», и др. Показательна постмодернистская (и в этом смысле похожая на СМИ для взрослых) стилистика текста под заголовком «Что будет?»: *Придворный конь Гай Юлий Цезарь, на свою беду, подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же де-*

лать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко – ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях... Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Вертикальный контекст – в части прецедентных феноменов и категории интертекстуальности, как видим, весьма неоднороден: имя древнеримского государственного деятеля, которым назван конь-спаситель, соседствует с персонажем русского и славянского фольклора, героями американского боевика, а также знаменитого героя романов советских писателей Ильфа и Петрова. К этому следует добавить, что действия и состояния упомянутых в тексте персонажей не свойственны им в их мирах, а приписываемые им характеристики являются сознательными анахронизмами (богатыри – плохие парни). Похожие процессы происходят с героями детской литературной классики. Отсылая к мультфильму «Снежная королева 2: Перезаморозка», сиквелу мультфильма «Снежная королева», указанный выпуск журнала «Мульт и Мир» включает в викторину имена, отсутствующие в литературном оригинале. Аналогично в одном виртуальном пространстве встречаются реальные исторические персонажи из разных времен и культур. В том же выпуске помещено задание «соединить попарно исторического персонажа и его профессию». Все персонажи – от Леонардо да Винчи и Христофора Колумба до Эйнштейна и Гагарина – согласно предваряющему заданию сообщению вместе отправятся в Лондон в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы».

Итак, в проанализированном материале мир субъектов предстаёт в динамике.

Судя по имеющимся в журналах указаниям на возраст целевого адресата, антропоморфные животные являются первыми «обитателями Вселенной» (см. данное обозначение субъектов картины мира у М.П. Одинцовой в [7]), с которыми предлагается познакомиться ребенку. Способ их именования в журналах с адресатом «3+» поддерживает традицию русских народных сказок и позволяет в доступной ребенку форме познакомиться с природным миром. Действия поименованных персонажей журнальных историй, так же как действия сказочных героев, вводят адресата в социальный мир и формируют у него зачатки нравственного сознания.

В изданиях для детей 5–6 лет и старше спектр реальных и вымышленных героев значительно шире.

В своей реалистической части антропонимы и схожие с ними именования в совокупности свидетельствуют о постепенном приобщении адресата-ребенка к разным видам институциональных дискурсов – медийному, развлекательному, просветительскому. Субъекты развлекательного дискурса национально маркированы (имеют русские имена), в то время как просветительское пространство журналов ориентировано на передачу универсальных знаний (преобладают универсально-прецедентные имена, ребенок знакомится с персоналиями мировой литературы, культуры, науки и т.д.). Такие культурные проекции оправданны. В качестве читателя журнала ребенок включается в игру с персонажами, похожими на тех, с кем он взаимодействует в жизни. Что же касается познавательных потребностей ребенка, то они реали-

зуются в журналах как поверхностное знакомство, а для кого-то – первая встреча с именами, которые «у всех на слуху» во взрослом социуме. Разгадывая викторину или сканворд, целевой адресат, как правило, может рассчитывать на помощь родителей или на интернет-ресурсы (в том случае, если он умеет читать и писать). Сведения о не общеизвестной личности – англичанине Ватмане – единичный факт в проанализированном корпусе текстов. (Возможно, создателям журналов стоило поискать столь же интересные имена в российском прошлом и настоящем?)

Организация субъектного пространства вымышленных миров в проанализированных журналах, на наш взгляд, не способствует построению в сознании ребенка хоть сколько-нибудь гармоничной картины. При крайней неоднородности сформировавших это пространство фольклорных, литературных, иных культурных традиций рецепция персонажей требует регулярных интердискурсивных переключений (см. выше: *кот Баюн – породистый; бояре – плохие парни, Горыныч – в отпуске, конь Юлий – великий комбинатор*). Существенно, что с наибольшей регулярностью интердискурсивные переключения запрограммированы для героев русского и славянского фольклора. Взрослые читатели, способные к метатекстовой рефлексии (скорее всего, дедушки и бабушки заявленных журналами адресатов), могут – с разной степенью осознанности процесса – вступать в интеллектуальную игру, подразумевающую переключения культурных кодов. Для взрослых читателей с гуманитарным образованием очевидно, что бытование многих вымышленных персонажей подчиняется эстетике постмодернистской картины мира. Но целевой адресат анализируемых журналов ни к какому переключению систем знаний и кодов не готов, потому что эти системы и коды у него не сформированы. Какие-либо объяснения взрослых в этом случае лишены смысла: они не создадут планируемого экспрессивно-эстетического эффекта. При таких условиях коммуникацию следует рассматривать по меньшей мере как неуспешную.

Внедрение современной западной культуры с её ценностями в сознание юных россиян – очевидный факт, который наш материал лишь подтверждает, и в частности результатами применения в анализе количественных подсчетов. Особую тревогу вызывает то, как функционируют в текстах субъекты «родом» из славянской мифологии и русских сказок. К сказанному выше добавим, что количественное преобладание номинаций этих героев в материале, призванном формировать эстетическое и этическое сознание ребенка, не обеспечивает доминирующего положения национально-культурной традиции. Если фантастические персонажи западных мультфильмов, так же как другие выявленные категории субъектов, сохраняют в журнальных текстах их индивидуальную идентичность, то о таких героях, как *Марья-царевна* или *Соловей-разбойник*, этого сказать нельзя. Выше на отдельных примерах было показано, что герои русского национального и славянского фольклора интегрируются в современное мультикультурное пространство в существенно трансформированном виде.

Какие практические выводы следуют из сказанного в критической части резюме? Учредители и создатели детских журналов должны понимать, что создаваемый ими субъектный мир не рассчитан на восприятие заявленным целевым адресатом. Что делать с этим пониманием – они, разумеется, решат

самостоятельно, исходя из своих мировоззренческих позиций и коммерческих интересов. Родителям и педагогам, если они сориентированы на передачу национального культурного опыта, необходимо к пяти-шести годам сформировать в сознании ребенка те «сгустки смысла» (по Ю.С. Степанову [8]), которые в совокупности сформируют у него представления о «настоящих» персонажах русского и славянского фольклора, и лишь после этого предлагать для чтения мультикультурные ребусы.

Литература

1. Литовская М.А., Маслинская С.Г. Новые издания: альманах «Детские чтения» // Филологический класс. 2013. № 1(31). С. 149–151.
2. Шкайдерова Т.В. Советская идеологическая языковая картина мира: субъекты, время, пространство: дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2007. 237 с.
3. Гридина Т.А. Недискретные способы семантизации слов: объяснительный мотивационный словарь детской речи // Дискретность и континуальность в языке и тексте. Новосибирск, 2009. С. 275–285.
4. Орлова Н.В. Речь школьника на уроках словесности: онтолингвистический и дискурсивный подходы. Омск: Вариант-Омск, 2010. 92 с.
5. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 375 с.
6. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: ЛИБРОКОМ. 2009. 248 с.
7. Одинцова М.П. Обитатели «духовной вселенной» в русской языковой картине мира // Miscellanea: Памяти профессора М.П. Одинцовой / под ред. О.В. Коротун, Л.Б. Никитиной, Н.В. Орловой. Омск, 2014. С. 258–267.
8. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: 2-е изд., испр. и доп. М.: Академический Проспект, 2001. 990 с.

SUBJECTS OF THE PICTURE OF THE WORLD IN MODERN RUSSIAN MAGAZINES "FOR THE YOUNGEST".

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp 100–107.

DOI 10.17223/19986645/37/8

Orlova Natalia V., Omsk State University n. a. F.M. Dostoevsky (Omsk, Russian Federation). E-mail: nvorl@rambler.ru

Keywords: magazine for the youngest, picture of the world, category of subjects, anthroponym, anthropomorphic being, discourse.

The study aims to identify the modern picture of the world of magazines for children in Russian (*Bedtime Stories, Vacation, Little Artists, Sanka in the country of fairy tales, Sasha and Masha, Entertaining club, RaZvivalki*: 10 issues for 2014–2015.). The author proceeds from the fact that a significant characteristic of the picture of the world is its subjective component, expressed in their own names, and the named entities are agents in certain discourses with their specific values. The material is limited to anthroponym nominations of animals and anthropomorphic creatures, which provided a solid sample of nominative units and identified the prevailing types of subjects.

It was established that magazines for children aged 3+ give proper names to anthropomorphic animals (Doggie, Duckling, etc.). Of all the worlds one thinks of the world closest to the culture of everyday life, with its core values. In magazines for children aged 5–6 the subjective world view is more complicated; it clearly distinguishes between the real and the imaginary (magic, fantastic, art) worlds.

The subjective part of the realistic picture of the world contributes to the child's entry into institutional discourses: mass media, education, entertainment. Proper names belong mainly to readers of the magazines and well-known personalities. In the first case, the magazine performs the mass-media function, providing feedback to the addressee; the second aims to enlighten decision-making problems. Mainly universal precedent names are offered: Hans Christian Andersen, L. Tolstoy, Napoleon, W.A. Mozart, Dmitry Mendeleev, Gagarin and others. In developing entertainment and action, text charac-

ters represent the real world: the heroes of jokes, games and dialogue with readers. All categories are common names in Russian (Vova, Valerochka, Marivanna etc.).

Introducing the fictional world is designed to awaken the imagination, develop a sense of aesthetic and ethical consciousness. Lyrics, as texts about the real world, re-form the national and cultural identity of the recipient.

The analysis showed that organization of the subjective space of fictional worlds in the analyzed magazines is not conducive to building a harmonious picture in a child's mind in any way. The heterogeneity of folklore, literature and other cultural traditions which have shaped this reception of characters requires regular inter-discourse switches (*cat Baiyun* – *purebred*; *boyars* – *the bad guys*, and so on). The target recipient of the analyzed magazines is not ready to such switches of knowledge and codes because they did not form the knowledge and codes. The issue of how characters of Slavic mythology and Russian fairy tales function in such texts is of particular concern. The characters of traditional Russian culture are most numerous, but in magazine texts they lack their cultural authenticity. They are integrated into the modern multi-cultural space in a substantially modified form. Existence of the heroes of Russian fairy tales, epics, Slavic myths is subject to the aesthetics of the postmodern worldview.

References

1. Litovskaya, M.A. & Maslinskaya, S.G. (2013) Novye izdaniya: al'manakh "Detskie chteniya" [New editions: Almanac "Children's Readings"]. *Filologicheskij klass – Class in Philology*. 1(31). pp. 149–151.
2. Shkayderova, T.V. (2007) *Sovetskaya ideologicheskaya yazykovaya kartina mira: sub"ekty, vremya, prostranstvo* [Soviet ideological language picture of the world]. Philology Cand. Diss. Omsk.
3. Gridina, T.A. (2009) Nediskretnye sposoby semantizatsii slov: ob"yasnitel'nyy motivatsionnyy slovar' detskoy rechi [Nondiscrete ways of word semantization: motivational explanatory dictionary of children's speech]. In: Tripol'skaya, T.A. (ed.) *Diskretnost' i kontinual'nost' v yazyke i tekste* [The discrete and the continual in language and text]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
4. Orlova, N.V. (2010) *Rech' shkol'nika na urokakh slovesnosti: ontolingvisticheskiy i diskursivnyy podkhody* [Schoolchildren's speech at lessons of literature: ontolinguistic and discursive approaches]. Omsk: Variant-Omsk.
5. Krasnykh, V.V. (2003) "Svoy" sredi "chuzhikh": mif ili real'nost'? [At home amongst strangers: Myth or Reality?]. Moscow: Gnozis.
6. Chernyavskaya, V.E. (2009) *Lingvistika teksta: Polikodovost', intertekstual'nost', interdiskursivnost'* [Text Linguistics: polycode, intertextual and interdiscursive features]. Moscow: LIBROKOM.
7. Odintsova, M.P. (2014) Obitateli "dukhovnoy vselenny" v russkoy yazykovoy kartine mira [The inhabitants of the "spiritual universe" in Russian language picture of the world]. In: Korotun, O.V. et al. (eds) *Miscellanea: Pamyati professora M.P. Odintsovoy* [Miscellanea: In memory of Professor M.P. Odintsova]. Omsk: Omsk State University.
8. Stepanov, Yu.S. (2001) *Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury* [Constants: Dictionary of Russian culture]. 2nd ed. Moscow: Akademicheskij Prospekt.

УДК 811.1/8
DOI 10.17223/19986645/37/9

И.В. Тубалова

СТИЛЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИСКУРСОВ КАК СФЕРА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНОДИСКУРСИВНЫХ СТИЛЕВЫХ ВЛИЯНИЙ

В статье рассматривается специфика стиля повседневных и неповседневных личностно-ориентированных дискурсов, заданная реализацией инодискурсивных речевых форм. Дискурсивно-стилистические различия определяются положением в дискурсе обыденного человека как его участника, для которого вступление в дискурс может носить либо рутинный, привычный характер, либо иметь характер непривычной, исключительной речевой деятельности, основанной на нарушении регулярного режима общения.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивный стиль, личностно-ориентированный дискурс.

В современной лингвистике наиболее общее функциональное понимание стиля представляет его как вербальный результат «когнитивных процедур обработки знаний» [1. С. 35]. Такое понимание находит особое уточнение в понятиях «стиль функциональный» (как социально обусловленный характер речи), «стиль автора» (как индивидуальная манера организации речи) и др.

При рассмотрении текста в качестве результативного речевого компонента дискурса внимание фокусируется на отражаемых в нем результатах обработки знаний, заданных особой дискурсивной интенциональностью и организованных как дискурсивная картина мира – «часть языковой картины мира, воплощенная в тексте, текстах, порождаемых в некоем типовом социально-психологическом контексте с типовыми коммуникантами» [2. С. 26]. Объектом исследования при таком подходе становится **дискурсивный стиль**.

Цель данной статьи – представить специфику стиля личностно-ориентированных дискурсов, заданную реализацией в нем инодискурсивных речевых форм. К анализу привлекались записи устной разговорной речи в объеме более 1500 текстов (ссылки на цитируемые источники прилагаются).

Дискурсивный стиль формируется на основании действия определенных дискурсивных стратегий организации текста, которые «дают возможность пользователям языка производить выбор между альтернативными способами выражения примерно одного и того же значения; выбор осуществляется с учетом типа текста и контекстуальной информации (тип ситуации, уровень неформальности общения, типы участников и характер общих целей)» [3. С. 21].

В аспекте дискурсивной обусловленности организации речевой формы исследуются тексты различных дискурсивных сфер, ограниченных различными подходами к их анализу: медийного ([4, 5] и др.), политического ([6, 7] и др.), праздничного [8], научного ([9, 10] и др.), фольклорного [11] и других дискурсов.

Термин «стиль» как результативная сторона социальной обусловленности речи в отечественной лингвистике в первую очередь связан с традицией его по-

нимания как «стиля функционального» (В.В. Виноградов, Т.Г. Винокур, Д.Н. Шмелев, М.Н. Кожина и др.). Подобное понимание стиля частично сближается с позициями дискурс-анализа: функциональная стилистика направлена на изучение закономерностей употребления языка в разных сферах и ситуациях общения, при этом внимание акцентируется на обращенности к **внешним условиям формирования речи** [12]. Но все же данные методологические установки качественно различаются, что вызывает активную потребность у отечественных исследователей соотнести обозначенные подходы [2, 5, 9, 13–22 и др.].

Концепция стиля, приближенная к пониманию дискурса как совокупности текстовых манифестаций социальных структур данного общества (М. Фуко), сформировалась в отечественной стилистике, развивавшейся до определенного времени в отрыве от западной теории дискурса, и восходит к работам В.В. Виноградова.

Функциональный стиль может быть рассмотрен в категориях дискурс-анализа в качестве особого **социально** обусловленного типа организации речевой структуры. При этом функциональная стилистика обращается к качествам самой речевой формы, являющейся носителем социально значимого смысла. В рамках дискурс-анализа текст рассматривается в «перспективе *субъекта*, его порождающего» [2. С. 38], внимание фокусируется на выборе способов организации речевой формы конкретным участником дискурса, на дискурсивной интенциональности текстопорождения, обнаруживается значимость взаимодействия «*социальной и ситуативной обусловленности формирования смыслов (картин мира)*», а также моменты проблемности прочтения смыслов дискурса» [Там же. С. 39].

Стиль дискурса, являющийся результатом выбора его субъектом средств и способов организации речи, формируется (1) на основании **дискурсивной интенции, условий и ролевой структуры общения** – как результат конкретно-деятельностной обусловленности и (2) на основании **опыта** участия **субъекта** в практиках других дискурсов – как результат реализации его инодискурсивного речевого опыта.

Указанные ракурсы формирования стиля дискурса качественно взаимодействуют. Стиль дискурса представляет стереомодель, в которой смыслы, диктуемые протекающим «здесь и сейчас» ситуационным (по Т. ван Дейку) дискурсом, взаимодействуют со смыслами речевых фрагментов, синтезированных в иных ситуационных дискурсах, на основании дискурсивной интенции, условий и ролевой структуры общения.

Таким образом, стиль дискурса, дискурсивная системность речевой формы создается в соответствии с внешними по отношению к ней дискурсивными факторами, которые в рамках конкретно-речевой деятельности субъекта определяют выбор речевых фрагментов и их организацию. Смысловая нагруженность и характер использования этих фрагментов, хранящихся в доречевых структурах памяти, усвоены им из опыта участия в других дискурсах.

Опыт участия в других дискурсах, с одной стороны, уникален для каждого субъекта (что определяется конкретно-коммуникативными условиями его получения), а с другой – социален (что определяется этнокультурными факторами существования языкового коллектива). В процессе конкретно-дискурсивного переживания речевой формы социальные компоненты опыта

индивидуализируются, в результате чего формируется особый **стиль ситуационного дискурса**. Его системно-структурирующим основанием является особый дискурсивный код, обеспечивающий коммуникативное взаимодействие. Этот код на основании дискурсивной и субъектной интенциональности перерабатывает и включает кодовые элементы социальных дискурсов («дискурсных формаций», по М. Фуко).

Рассмотрим пример: *И. ...и меня э... Вахтанг Иванович Мchedлов/ готовил/ в/ дублириши Тарасовой/ которая была премьершей/ в молодежном с... спектакле/ «Зеленое кольцо»// Имевшем тада большой успех// Но тут подоспело/ воззвание партии и правительства/ к молодежи/ заменить/ пустовавших/ э-э... учителей начальной школы// – М. Угу// – И. И/ я/ принесла такую жертву революции/ я бросила Художественный театр/ с почти готовой ролью/ и пошла/ учить детей// Я была такая дура/ но что с меня взять/ мне еще/ было восемнадцать лет// [23]. Ситуационный личностно-ориентированный дискурс допускает использование речевых форм, выработанных в практиках институционального политического дискурса в соответствии с его интенциональностью (*воззвание партии и правительства/ к молодежи; принести жертву революции*). В советском политическом дискурсе-источнике эти речевые формы являются носителями позитивнооценочного содержания, выражая приверженность советской идеологии в соответствии с особым дискурсивным эмоциональным пафосом. Субъект рассматриваемого дискурса, реализуя ироническую интенцию, подвергает содержание отмеченных речевых форм аксиологической переориентации. Кодовые элементы стиля советского политического дискурса подвергаются трансформации, подчиняясь речевой системности стиля дискурса ситуационного.*

Обращение к социальным основам дискурсивного кода, определяющего стиль конкретно-дискурсивной деятельности, возвращает к идее соотнесения теории дискурсивного стиля с функционально-стилистической теорией, различающей и устанавливающей взаимоотношения между «функциональным стилем языка» и «стилем речи». З.И. Резанова, интерпретируя соотношение терминов «дискурс» и «функциональный стиль» в указанных терминологических сочетаниях, определяет данное соотношение следующим образом: «Стиль языка – это тип кода, используемый в дискурсах. Стиль речи – тип текстовой структуры, являющийся результатом определенного типа дискурсивной деятельности» [2. С. 38].

Таким образом, в рамках дискурс-анализа следует учитывать наличие особых **стилей социальных дискурсов**, вырабатывающих принципы организации речевой формы, отвечающие их социальной интенциональности, а также **стилей ситуационных дискурсов**, определяющих принципы организации речевой формы в соответствии с ситуативной интенциональностью и перерабатывающих социальные дискурсивные коды.

Социальные дискурсы (дискурсные формации) в своей кодовой системе содержат речевые фрагменты, получающие стабильное смысловое содержание, образуемое типом социальной интенции. Эти единицы составляют систему **стилистических ресурсов социальных дискурсов** и при трансляции в инодискурсивные сферы, с одной стороны, сохраняют статус **стилистических знаков** дискурса-источника, а с другой – используются в соответствии с

требованиями конкретно-ситуативной субъектной интенции, обеспечивающей определенные смысловые трансформации.

Формирование стиля ситуационного дискурса осуществляется субъектом дискурса на основании «**образа правильной речи**» [16. С. 175] – когнитивной категории, отражающей его представления о том, как следует говорить в данной ситуации с данным собеседником на данную тему. С позиций дискурс-анализа наличие такого представления рассматривается как результат адаптации его дискурсивного опыта к условиям ситуационного дискурса. Его реализация проявляется в **выборе** речевых средств, хранящихся в эпизодической памяти говорящего, их особой **организации**, «установлении некоторой формы стилистической связности» [3. С. 21]. Это отражает воплощение речевой кодификации на уровне **этносоциальных систем** (стилистические ресурсы дискурсивных формаций) и на уровне **конкретно-коммуникативном** (стиль ситуационного дискурса).

Таким образом, **стиль дискурса** – это характер организации речевой формы дискурса, формирующийся в процессе деятельности его участника на основании образа правильной речи, заданного взаимодействием интенций ситуационного и социального дискурса.

Стиль личностно-ориентированных дискурсов отражает специфику внеинституционального общения.

Обращение к дискурсивным основам внеинституционального существования человека, к анализу разговорного стиля речи проявилось в ряде западных работ в 70-е гг. XX века (например, [24, 25]) и – в эти же годы – в отечественных исследованиях разговорной речи (работы Т.Г. Винокур, В.Д. Девкина, Е.А. Земской, М.В. Китайгородской, Е.Н. Ширяева, Л.А. Капанадзе, Н.Н. Розановой, Е.В. Красильниковой, О.А. Лаптевой, О.Б. Сиротининой и др.), в социальной психологии и психолингвистике (см. работы Л.С. Выготского, И.Н. Горелова, К.Ф. Седова, Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева и др.).

Специфические характеристики внеинституциональных дискурсов нашли отражение в работах [13, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30] и др.

Несмотря на интенциональную неоднородность, политематичность, полисубъектность личностно-ориентированных дискурсов, открывающие их границы для инодискурсивных стилевых влияний, их речевая форма представляет собой определенное стилистическое единство; результаты этих влияний подчиняются ситуационной дискурсивной интенциональности.

Дискурсы рассматриваемого типа в рамках социолингвистического подхода В.И. Карасик определяет как **личностно-ориентированные**, противопоставленные дискурсам институциональным [13], и это противопоставление является при анализе дискурсов такого типа определяющим. Фактор институциональности оказывает стабилизирующее воздействие на дискурсы (часто условия общения в рамках институциональных дискурсов оговариваются специально в различных предписаниях, законах, инструкциях, руководствах и под.). Индивидуально-личностная коммуникация же характеризуется принципиальной открытостью границ. В ее рамках действуют стереотипные дискурсивные правила, основанные на практическом опыте участников общения, отработанные в данном национально-культурном сообществе и освоенные ее субъектами индуктивным способом.

Стиль личностно-ориентированных дискурсов формируется как результат действия экстралингвистических дискурсивных факторов – условий общения, его ролевой структурой, спецификой дискурсивной картины мира, которые, в свою очередь, определяются интенциональной спецификой личностно-ориентированной коммуникации, в целом направленной на внеинституциональное общение как таковое.

Условия общения, дифференцирующие институциональные и личностно-ориентированные дискурсы по уровню его формальности, определяют, соответственно, и уровень формальности их речевой составляющей.

Шкала формальности общения, дифференцирующая его по степени внешней – внесубъектной, социально-дискурсивной – обусловленности, реализуется и в дифференциации стилистических принципов институциональных и личностно-ориентированных дискурсов.

Речевой форме личностно-ориентированных дискурсов «свойственны меньшая структурированность, эллипсис, повторы слов, хезитации, более высокий темп и ритм речи, а значит, меньшая длина ее единиц, тематическое разнообразие, снижение уровня когезии и т.д.» [16. С. 212].

Граница между личностно-ориентированной и институциональной сферой на этой шкале определяется, во-первых, степенью допустимости выбора элементов и способов организации речевой формы (для институциональных дискурсов заданной соответствующей интенцией); во-вторых, консолидирующим/ситуативным характером обоснования этого выбора (институциональные дискурсы предполагают относительное единство дискурсивного стиля – личностно-ориентированные дискурсы более разнообразны в стилистическом проявлении).

Более низкая, чем в институциональных дискурсах, формальность речевой составляющей личностно-ориентированных дискурсов, проявляется в отсутствии внешней заданности использования речевых средств формального общения. В институциональных дискурсах каждый их социальный тип формирует специфические средства стилистической формальности: например, специфические речевые конструкции, термины и им подобные средства, обязательные в дискурсе документа. В личностно-ориентированных дискурсах использование подобных средств допустимо, но не обязательно.

Открытость информационного содержания (как свойство **дискурсивной картины мира**) личностно-ориентированных дискурсов, нейтрализация институционально-ролевых позиций его участников определяют возможность изменения функции речевых форм, произведенных в институциональных дискурсах с целью трансляции институционально значимого содержания (тематически обусловленные номинации производственной сферы, в том числе обладающие общеупотребительными аналогами, конструкции, выражающие специфику институционально-ролевого распределения: *Прошу разрешить мне...; К NN (дата) необходимо представить...* – и т.п.). В личностно-ориентированном общении использование обозначенных речевых форм определяется ситуационно-дискурсивными и субъектными интенциями. В результате их функции могут быть как трансформированы на основании институционально заданных, так и кардинально изменены.

Так, функция маркирования тематической специфики институционально значимого предмета обсуждения при «добровольном» использовании таких речевых форм субъектом внеинституционального общения может быть расширена за счет функции повышения статуса его речевого произведения, реализующего особый статус темы общения и позиции говорящего: *Я не могу себе представить/ чтобы люди / администрация президента / да и сам президент добровольно сложили с себя все полномочия / как бы ушли в сторону* [31]. В данном примере выделенные речевые формы, заданные институционально значимой тематикой личностно-ориентированного общения, используются в контекстуальном взаимодействии с речевыми формами, общепотребительными и разговорными (*люди – администрация президента; сложили... полномочия – как бы ушли в сторону*). Их функция – маркирование «осведомленности» говорящего, реализация его субъектной интенции, но не интенции дискурсивной, не требующей экспликации стилистических средств формальности.

Кардинальное изменение функции институциональных речевых форм проявляется, например, при их использовании вне заданной источником тематикой общения. Так, институционально заданные речевые формы достаточно активно используются субъектом личностно-ориентированных дискурсов для реализации шутливо-иронических интенций: *В. Бабушка с нами живет// Да она щас пошла... она у нас... общественный деятель/ Л. Да? В. Общественный деятель большой/ да// То она идет на... на совет пенсионеров/ то она идет в кружок/ то она идет в библиотеку... помогать/ щас вот она на кружке/ как раз вышивальном//* [32] // [В ответ на критику недошитого платья]: *Сама просила «примерь-примерь», а слова доброго от тебя не услышишь! Это, между прочим, только демонстрационная версия, в конечном продукте я буду неотразима! (РРТ*)*.

Отсутствие прямой ориентации на общественные институты определяет неомогенность дискурсивной структуры личностно-ориентированных дискурсов. Совокупность личностно-ориентированных дискурсов рассматривается, с одной стороны, как единая сфера общения, противопоставленная институциональным сферам, а с другой – как палитра конкретных коммуникативных ситуаций, которые, в свою очередь, могут быть объединены в особые классы, каждый из которых характеризуется спецификой стиля.

Сложность внутренней организации личностно-ориентированных дискурсов определяется множественностью дискурсивных целей и локальностью их характера [16. С. 175]. В перспективе субъекта стиль ситуационного дискурса регулируется типом субъектной интенции, преломляющей национально-культурно обусловленные принципы повседневного общения, усвоенные говорящим.

Характер реализации субъектной интенции определяется положением в дискурсе его субъекта, для которого вступление в дискурс может либо носить **рутинный, привычный** характер, либо иметь характер **непривычной, ис-**

* РРТ – здесь и далее: записи текстов городской разговорной речи, сделанные в г. Томске и Томской области в 2003–2014 гг. автором, а также студентами в рамках учебных практик (2008–2015 гг.).

ключительной речевой деятельности, основанной на нарушении регулярно-го режима общения.

Коммуникация, протекающая в привычном либо непривычном для ее участника русле, формирует особые дискурсы, что определяет специфику их стиля. Дискурсы, привычные для обыденного человека, в которые он вступает регулярно, мы определяем как **повседневные**, а дискурсы непривычные, исключительные для него – как **неповседневные**.

Характер реализации целей субъектов дискурсов, реализуемых в обозначенных коммуникативных сферах, различается.

В повседневных дискурсах «наличные цели» субъектов направлены на поддержание отработанного порядка дискурса, что обеспечивает его протекание по относительно стабильным моделям.

В сфере институционально нерегулируемой неповседневной дискурсной деятельности, участвуя в реализации непривычного для него сценария общения, субъект вынужден дополнительно искать пути восстановления дискурсивного порядка.

В процессе реализации интенций неповседневного общения, пытаясь «удержаться» в дискурсе, субъект испытывает особые трудности, в том числе в связи с отсутствием «речевой безопасности» (как возможности свободного, раскованного производства речевой формы).

Несмотря на единство стилистической организации речевой формы личностно-ориентированного общения (противопоставленной в этом аспекте речевой форме дискурсов институциональных), стиль личностно-ориентированных дискурсов не монолитен. Стилистические принципы повседневных и неповседневных дискурсов рассматриваемого типа различаются.

Рассмотрим специфику **внутренней дифференциации** стиля личностно-ориентированных дискурсов в аспекте реализации в нем **инодискурсивных стилевых влияний**.

Внутренняя стилистическая неоднородность текстовых форм личностно-ориентированных дискурсов мотивируется многообразием **локальных дискурсивных целей**, в свою очередь определяющих (1) **условия** и (2) **ролевую организацию** общения, характер (3) **информационного содержания** дискурса.

Стиль **повседневных** личностно-ориентированных дискурсов характеризуется отработанностью принципов организации речевой формы.

(1) **Условия общения** в повседневных дискурсах характеризуются признаком комфортности, который в личностно-ориентированных дискурсах определяет низкий уровень формальности общения и, соответственно, неформальность стиля. Кроме того, комфортность общения определяет снижение уровня речевого контроля, также выступающего как фактор стилевого своеобразия.

Образ правильной речи, формируемый субъектом повседневного дискурса, допускает максимальную свободу в выборе речевых средств, активность реализации субъектных интенций при их использовании. Речевая организация повседневных дискурсов не только допускает использование речевых форм самых различных дискурсов (как проявление общего свойства стиля личностно-ориентированных дискурсов любого типа), но и наиболее часто подвергает речевые средства дискурсов, соответствующих более высокому уровню формальности, функциональной трансформации, отражающей

специфику ситуативной субъектной интенции: [А, жен, 40] Дома иногда говорят по-английски сыновья. Там очень много об искусстве разговоров / литературе и всего всего прочего. [Б, жен, 30] Угу. [А, жен, 40] И **руководство** все мамино. Все мамино. [Б, жен, 30] Ну конечно. [А, жен, 40] И конечно / жену подобрать очень трудно [31] // [№ 1, муж] Ну что / **внедрим** что ли пивка? [№ 2, муж] нет / я сегодня воздержусь. [№ 1, муж] А что так? Что-то на тебя не похоже [Там же].

(2) Повседневные дискурсы отличает сложившийся характер **ролевого распределения**.

В отсутствие стремления «завоевать» ролевые позиции субъект дискурса использует прямые субъектные формы выражения ролевой дифференциации. Субъект дискурса, позиционирующий себя как «лидер» («родитель», «старший», «осведомленный» и под.), активно привлекает глаголы в повелительном наклонении (*сначала думай, а потом говори; не бери пример с...*), в том числе – повелительно-запретительные конструкции (*не смей так говорить; не вздумай этого делать*), используются особые – субъектные – формы прямой оценки «неосведомленного» собеседника (*А ты прямо в этом разбираешься! // Ты ничего в этом не понимаешь! // Откуда тебе знать, что...*), личные местоимения 1 лица в функции подлежащего при выражении собственной позиции, особые формы самооценки (*Я знаю, как... // уж я-то, понимаю, как... // Долгую жизнь я прожил, много повидал...*) и под.

Активность прямых средств оценки интерпретируемой реальности определяется в повседневных дискурсах стабильностью ролевого положения говорящего (комфортность дискурса определяет активность реализации ролевой позиции). Оценочные модусы (как ведущие в дискурсах рассматриваемого типа) в соответствии с ролевой лидерской позицией говорящего приобретают конфигурацию категоричности, дидактичности, «воспитательности» и под. Это выражается не только в высокой частотности собственно-оценочных средств, но и в их особом отборе: использовании полярных в содержательном отношении оценочных номинаций, предпочтении средств эмоциональной оценочности и под.

Так, снисходительно-оценивающий, «воспитательный» модус проявляется в общении представителей старшего и младшего поколений: *Был урок – Вавилонская башня, иишо не убедились. Вот, а теперь что? Неправильно эта политика идёт, неправильно. Нельзя так делать. И иишо можно так сказать... Теперь каждый человек это понимает... На земли **порядка нету**, теперь **хлеба не сеем**, ничё... ну пусть там где-то что-то, а здесь хоть бы животноводство можно держать ведь – **всё прекратили**. Да не только здесь, дак **и по всей России. Всё-всё** [31]. Категоричность и эмоциональность проявляются в использовании прямых оценочных средств (*неправильно*), негативно-ориентирующих риторических вопросов (*...а теперь что?*), обобщенных характеристик негативных ситуаций (*иишо не убедились; порядка нету; хлеба не сеем; всё прекратили*), конструкций долженствования (*Нельзя так делать*) и др.*

Ролевая позиция «обладателя знания» формирует модус дидактический: *Вот в Троицу тожо **нельзя выгонять** скотину. **Надо** если дак уж, до Троицы **выгонить**. Или после Троицы **выгонять** скотину на пастбищё* [31]. Катего-

ричность оценки выражена в использовании конструкций долженствования (*нельзя выгонять; надо выгнать*).

(3) Открытый характер **информационной структуры** личностно-ориентированного общения предполагает его обращение к диктумному содержанию как институционального, так и бытового характера. При этом образ правильной речи, формируемый субъектом повседневных дискурсов при трансляции институционально заданного содержания, значительно меньше, чем в неповседневных дискурсах (см. далее), зависит от модусов источника, выраженных в нем определенными стилистическими средствами. Кроме того, в повседневных дискурсах стилистические ресурсы институциональных дискурсов достаточно активно используются при выражении бытового содержания, подвергаясь при этом активной содержательной трансформации.

Стилистические принципы, заданные институциональным источником для выражения выработанного в нем содержания, в повседневных дискурсах могут (а) игнорироваться; (б) трансформироваться; (в) сохраняться.

(а) Игнорирование стилистических принципов формальности источника при передаче институционально заданного содержания проявляется в активном использовании речевых средств неформального общения (сниженная лексика, разговорные конструкции, нарочитое использование номинаций, активизирующих бытовые смыслы, использование оценочных средств, содержание которых не соответствует оценке источника, и под.). Так, в приведенном тексте говорящий интерпретирует содержание романа Э.М. Ремарка «Три товарища»: *Ну он да / он...* (пропуски заменяют нецензурные лексические единицы. – И.Т.) *стимулирует такой // Дома есть "Три товарища" / где три **чувака** вернулись с войны после первой мировой короче // ... /Германия просто разрушена вся на ... там // полный ... творится / там **пивные** путчи ... / **мордобой** на улицах / бунты короче // расстрелы ... / ну го... голодовка голодовка ... в смысле что ... **жрать нечего** короче / кризис в стране экономический [31].* Стилистические принципы самого текста-источника, принципы передачи художественного текста и принципы передачи исторически значимого содержания, отработанные в институциональных дискурсах, субъектом повседневного общения игнорируются. При этом активно используются стилистические средства неформального общения: жаргонные и просторечные номинации (*три чувака, мордобой, жрать нечего*), номинации, актуализирующие бытовое восприятие институционально значимых событий (*пивные путчи*), нецензурная лексика и др.

(б) В комфортном повседневном общении активно проявляются креативные субъектные интенции, выраженные в особом – непрямом, интерпретативном – использовании речевых средств, в том числе речевых средств институциональных источников, созданных в них для фиксации институционально заданного содержания. В результате стилистические средства институциональных дискурсов (как дискурсов с более высоким уровнем формальности общения) подвергаются функциональной трансформации, например используются в иронической функции при выражении бытовых смыслов: *А. ...Которому я можно сказать сам того не желая/ отомстить не отомстил но воздал по его делам вот в «Литературной России»... [33] // [Об игрушке «железная дорога»] Б. – Вот пойдешь работать и купишь себе// А. –*

Будет ли в надежде на светлое будущее? // Б. – Сразу иди работать на железную дорогу// [32]. В основе использования выделенных стилистических средств – зеркальная трансформация образа правильной речи (субъект намеренно формирует образ «неправильной» речи), что является одним из стилистических качеств повседневного общения.

(в) Сохранность отдельных стилистических элементов институциональных дискурсов в повседневном общении определяется в основном интенцией передачи институционально заданного содержания: рассказ об институционально значимых событиях, потребность в номинировании институционально значимых реалий, не имеющих общепотребительных аналогов, и под. При этом в речевом стиле повседневного общения рассматриваемые элементы занимают подчиненную позицию, а организация речевой формы в целом соответствует принципам неформального общения: *[продолжает рассказ о своей защите] [№ 1, муж, 40] Вот. Ну / слушай что дальше значит. Ну я ему... он зачитал / я ему ответил / он сказал три четыре фразы на мой ответ / и сел. Потом второй оппонент значит* *начинает / я [пауза] толкаю [пауза] председателя / [мэ?] "Алексей Семеныч / тут вот написано / что мнение зависит... суждение зависит от того как я отведу / как мол я его удовлетворил своими ответами? Он же не сказал в сущности». Значит кончил второй оппонент* /Пигарев обращается к этому самому... к Машиову / "Владим Петрович / вот тут у вас сказано *то-то и то-то / как вы считаете /диссертант ответил на ваши вопросы?" Он сказал "да / я считаю что ответил". Ну и тут у меня камень с души свалился...* [№ 6, муж, 30] Да уж [31, 33]. В данном тексте стилистические средства формального общения в основном используются для номинирования смыслов, выработанных институциональным дискурсом, опыт участия в котором представляет говорящий (зачитал; второй оппонент; диссертант и др.). В основном среди них отдельные лексические единицы и словосочетания, развернутые формально-стилистические конструкции (*диссертант ответил на ваши вопросы* и под.) используются только в цитатных высказываниях. В целом же организация рассматриваемой речевой формы подчиняется стилистическим принципам неформального общения, диктуемым повседневным дискурсом: активно используются личные формы местоимений (*Ну я ему...*), неформальные средства прямого обращения к собеседнику (*Ну / слушай что дальше значит*), разговорные местоимения и частицы (*то-то и то-то; мол*), средства разговорной фразеологии (*тут у меня камень с души свалился*) и под.

Специфику стиля **неповседневных** личностно-ориентированных дискурсов определяет субъектная установка на восстановление дискурсивного порядка, формирующаяся в условиях нарушения привычных сценариев общения.

(1) Изменение **условий общения** и формирование признаков дискомфортного общения, определяющих переход от повседневности к неповседневности, сопровождается повышением уровня субъектного речевого контроля при организации речи: повышением частотности использования метатекстовых средств оценки речевых средств в аспекте их уместности/неуместности (*здесь лучше сказать...; как бы грамотно выразиться...; простите за базарное выражение, но это называется...; выражаясь простым языком...*), точности/неточности номинирования (*правильнее будет сказать...; как бы это вернее выразить...*); авто-

ритетности/неавторитетности (*специалисты называли бы это...; как умные люди говорят...; официально это бы прозвучало как...*) и под., различных средств хезитации, отражающих процесс подбора речевых форм. В таких условиях субъект проявляет особое предпочтение в выборе речевых средств, которое отдается средствам, с его точки зрения, формального общения – стилистическим ресурсам институциональных дискурсов, которые способствуют повышению уровня речевой безопасности в силу социальной авторитетности их источника: [№ 1, муж, 32] *Ну / я так... понимаю... в смысле / думаю / что все-таки перепись населения / основная ее задача направления переписи населения / это... полностью ревизия населения / для того / чтобы... как я уже раньше говорил / более грамотно и оптимально вести... проводить социальную политику* [31].

(2) В повседневных дискурсах незавершенность **ролевого распределения** не предлагает стабильных социально-ролевых позиций (лидер, знаток в определенной области и под.) и нейтрализует идентифицируемые социально значимые индивидуальные характеристики собеседника (гендерные, возрастные и под.). Это реализуется в формировании субъектом особого образа правильной речи и выражается в специфике стиля.

Находясь в состоянии адаптации к дискурсу, субъект оказывается ограниченным в использовании отработанных в повседневных дискурсах субъектных средств прямого выражения позиции «осведомленного»: ограничение накладывает незавершенность процессов статусно-ролевого распределения.

Субъект дискурса, находящийся в дискомфортных условиях незавершенного ролевого распределения, при попытке обозначить себя как «лидера»/«знатока» чаще использует не прямые, несубъектные формы выражения ролевой дифференциации, за которые «прячется» субъект в отсутствие речевой безопасности. К ним относятся безличные конструкции с возвратными глаголами с семантикой предположительности и личными местоимениями в косвенном падеже (*мне думается; мне кажется*), модальные конструкции в значении вероятности (*вероятно; возможно*), различным образом оформленные ссылки на источники (*как это обычно говорится; как вон по телевизору сказали; в одной умной книге написано*) и др.

Стремление субъекта представить себя наиболее выгодным образом реализуется не только за счет аргументативной структуры высказывания, не только за счет содержания аргументов, но и за счет повышения статуса продуцируемого им речевого произведения, что обеспечивается описанными выше способами реализации речевого контроля (особым предпочтением в выборе речевых средств, использованием метатекстовых средств оценки выбранных речевых средств, предпочтением в использовании средств формального общения и т.д.): *...А сейчас в нашей деревне молодежи маленькая **количества** (СГ*)*; [*...Почему в вашей бригаде остается много демобилизованных воинов?*] – /.../ *Ну, и затем то **количество** воинов, которые попадают в бригаду, они сразу попадают, так надо сказать, ну, в такой объем внимания, что ли, или как там* [31]; // *Поппадают иногда экземпляры. Но чтобы такое произведение хорошее, мне один только экземпляр достал, Достоевского*

* СГ – здесь и далее: записи текстов, собранных в рамках экспедиций студентов и сотрудников Томского госуниверситета в районы бытования среднеобских говоров (60–80-е гг. XX в.).

и все, и его прочитаю, а так – нет, если его постоянно читать, понимаешь смысл того времени, а так, если ты... Ну, так, не могу сформулировать, очень мало из этой, из того поколения писателей читал. /.../ Я читаю все эти книги, которые мне попадают вот так, ну, которые щас считаются, не знаю, как это сказать, ну это, ну, разнообразную литературу, какая мне попадется, ну, интересные романы, рассказы, повести, ну, которые относятся к сегодняшнему времени [34].

(3) Стиль неповседневных личностно-ориентированных дискурсов в большей степени, чем стиль дискурсов повседневных, зависит от характера их **информационного содержания**.

Речевая форма неповседневных дискурсов, содержательно направленных на институционально значимую информацию, более последовательно ориентируется на стиль дискурса, являющегося онтологическим источником этой информации. Формируя образ правильной речи и руководствуясь при этом заданной дискурсом интенцией повышения статуса речевого произведения, субъект в качестве «правильного» способа говорения выбирает тот, который был задан в источнике его институционального опыта. В качестве иллюстрации рассмотрим пример, содержание которого онтологически связано с политическим дискурсом: *Мне кажется / двухпартийная система вполне достаточна для России. А лучше вообще без партий. Это только лишняя трата средств. [Светлана:] Сюда нельзя вкладывать плановые данные. Всё должно определяться людьми. Партия должна регистрироваться только тогда /когда у неё определённое количество членов. А 2/ 3/ 4/ это уже детали [31].* В приведенном тексте корректность представления субъектами неповседневного личностно-ориентированного дискурса собственной позиции верифицируется использованием отработанных в дискурсе-источнике стилистических средств представления политически значимого объекта (*двухпартийная система; регистрация партии; члены партии*). Оценочный модус политического дискурса сохраняется в средствах оценки этого объекта, реализованных в виде безличных и пассивных конструкций, представляющих эту оценку как социально значимую, с позиции социальной группы (*лучше вообще без партий; нельзя вкладывать плановые данные; Всё должно определяться людьми; Партия должна регистрироваться...*). Ощущение собственного участия в борьбе политических сил также реализуется субъектом в использовании форм долженствования (*нельзя; должно*). Активно проявляется и свойственный политическому дискурсу модус категоричности, выраженный в указанных формах долженствования, а также в других дискурсивно-стилистических средствах, например в использовании оценочных прилагательных и наречий (*лучше, лишняя*), усилительно-ограничительных наречий и частиц (*вполне, вообще, только*) и др. Кроме того, для повышения статуса речевого произведения активно используются средства стиля дискурса документа – как прототипического для официального общения, реализующие модус официальности (*трата средств; плановые данные; определённое количество членов*).

Таким образом, низкий уровень формальности, вариативность принципов и средств организации стиля личностно-ориентированных дискурсов, отличающие его от стилей дискурсов институциональных, определяет особую

активность реализации в нем инодискурсивных стилевых влияний, характер их стилистической трансформации.

Названные свойства стиля личностно-ориентированных дискурсов реализуются различным образом в дискурсах повседневных и неповседневных.

Стиль повседневных дискурсов отражает отработанность сценариев личностно-ориентированного общения. Его формирование осуществляется при минимальном уровне субъектного речевого контроля. В результате средства стилистической формальности – как результат проникновения инодискурсивных речевых форм – используются в нем не частотно и в основном подвергаются активной функциональной трансформации.

Стиль неповседневных дискурсов формируется на основании субъектной установки на восстановление дискурсивного порядка, что предполагает повышение уровня речевого контроля. Формальность речи воспринимается субъектом как отражение институционально поддержанного социального авторитета. В результате субъект, руководствуясь стремлением повысить авторитет собственного речевого произведения, необходимый для обеспечения речевой безопасности, значительно более активно, чем в повседневных дискурсах, привлекает стилистические средства и способы стилистической организации институциональных дискурсов. Несмотря на то, что эти средства и способы активно взаимодействуют со средствами и способами неформального стиля, уровень формальности речи при переходе от повседневного общения к неповседневному повышается.

Литература

1. Leech G. Language in Literature: Style and Foregrounding. Longman Pub Group, 2008. 222 p.
2. Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс / З.И. Резанова, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина и др.; ред. З.И. Резанова. Томск, 2010. С. 15–84.
3. Дейк Т.А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связанного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М., 1988. С. 153–211.
4. Кибрик А.А. Обосновано ли понятие «Дискурс СМИ»? // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Орел, 2008. С. 6–11.
5. Орлова О.В. Дискурсивно-стилистика эволюция медиаконцепта: дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2012. 465 с.
6. Серю П. Русский язык и советский политический дискурс: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 337–383.
7. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2000. 440 с.
8. Тубалова И.В., Эмер Ю.А. Текстовое пространство дня города и дня рождения вузов: к проблеме праздничного миромоделирования // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2009. № 2. С. 11–22.
9. Баженова Е.А. Научный текст в дискурсивно-стилистическом аспекте // Вестн. Перм. гос. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 5. С. 24–32.
10. Мишанкина Н.А. Лингвокогнитивное моделирование научного дискурса: дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2010. 409 с.
11. Эмер Ю.А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре: когнитивно-дискурсивный анализ: дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2011. 458 с.
12. Кожина М.Н. Функциональный стиль (функциональная разновидность языка) // Речевое общение: (Теоретические и прикладные аспекты речевого общения). Специализированный вестник. 2006. Вып. 8–9 (16–17). С. 150–154.
13. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

14. Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопр. языкознания. 2009. №2. С. 3–21.
15. Кожина М.Н. Дискурсивный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций // Текст – Дискурс – Стиль: сб. науч. ст. СПб., 2004. С. 9–33.
16. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.
17. Орлова О.В. Проблема соотношения понятий стиля и дискурса в лингвистике начала XXI в. в контексте идей М.Н. Кожинной // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2013. №4 (24). С. 19–25.
18. Приходько А.Н. Таксономические параметры дискурса // Язык. Текст. Дискурс: межвуз. науч. альм. / под ред. Г.Н. Манаенко. Вып. 7. Ставрополь, 2009. С. 22–29.
19. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века. М., 1995. С. 35–73.
20. Хазагеров Г.Г. В поисках новой дискурсивной стилистики (о слабостях функционально-стилистического подхода и перспективности риторических теорий стиля) // Язык. Текст. Дискурс: межвуз. науч. альм. Вып. 3. Ставрополь, 2005. С. 13–22.
21. Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста. М.: URSS, 2005. 124 с.
22. Чернявская В.Е. Открытый текст и открытый дискурс: Интертекстуальность – дискурсивность – интердискурсивность // Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. СПб., 2007. С. 7–26.
23. Китайгородская М.В. Речь москвичей: коммуникативно-культурологический аспект. М.: Научный мир, 2005. 493 с.
24. Labov W. The Transformation of Experience in Narrative Syntax // Language in the Inner City. Philadelphia: University of PA Press, 1972. P. 354–396.
25. Sacks H., Schegloff E.A., Jefferson G. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation // Language. 1974. P. 696–735.
26. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое лит. обозрение, 1996. 348 с.
27. Лебедева Н.Б., Зырянова Е.Г., Плаксина Н.Ю., Тюкаева Н.И. Жанры естественной письменной речи: Студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, частная записка. М.: КРАСАНД, 2011. 256 с.
28. Силантьев И.В. Газета и роман: Риторика дискурсивных смещений. М.: Языки славянской культуры, 2006. 224 с.
29. Тубалова И.В. Специфика организации дискурсов повседневности // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 4 (16). С. 41–52.
30. Тубалова И.В. Институциональные речевые модели в личностно-ориентированных дискурсах различного типа // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 5 (31). С. 38–52.
31. Национальный корпус русского языка // www.ruscorpora.ru.
32. Живая речь уральского города. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. 206 с.
33. Русская разговорная речь / отв. ред. Е.А. Земская, Л.А. Капанадзе. М.: Наука, 1978. 306 с.
34. Русская разговорная речь европейского северо-востока России: сб. текстов / под ред. Н.С. Сергеевой, А.С. Герда. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. ун-та, 1998. 158 с.

THE STYLE OF PERSONALITY-ORIENTED DISCOURSES AS A SPHERE OF STYLISTIC INFLUENCE OF OTHER DISCOURSES.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 108-123.

DOI 10.17223/19986645/37/9

Tubalova Inna V., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: tina09@inbox.ru

Keywords: discourse, discourse style, personality-oriented discourse.

The article considers the features of the personality-oriented discourse style determined by the use of other discourse speech forms in it.

The style of discourse, a result of the choice of means and methods of speech organization a subject makes, is formed (1) on the basis of **discursive intentions, conditions and the role structure of communication**, as a result of specific activity frames, and (2) on the basis of the **experience** of a **subject's** participation in the practices of other discourses, as a result of the use of their speech experience in other discourses.

The style of discourse is a stereo-model in which the meanings dictated by a situational discourse interact with the meanings of speech fragments synthesized in other situational discourses.

Experience of participation in other discourses, on the one hand, is unique for each subject; on the other hand, it is social. In concrete discourse experience of a speech form, social components of experience are individualized, which results in a specific style of a situational discourse.

The style of personality-oriented discourses is formed as a result of these extra-discursive factors determined by the intention aimed at off-institutional communication as such.

The specificity of the style of situational personality-oriented discourses is regulated by the type of subjective intention that refracts the national and cultural principles of everyday communication, and by the discourse subject's position in the discourse. Discourses can be **everyday** (participation in it has a **routine, habitual** character) and **non-everyday** (**non-habitual** speech activity based on a breach of the regular communication mode).

Stylistic principles of everyday and non-everyday personality-oriented discourses are different.

The style of everyday discourses reflects the mastered scenarios of personality-oriented communication. It is formed at the lowest level of subjective speech control. As a result, stylistic formality means, signs of other discourse speech forms penetration, are not frequent, and they are subject to active functional transformation.

The style of non-everyday discourses is formed on the basis of a subjective aim to restore the discourse order, which involves raising the level of speech control. Speech formality for the subject reflects the institutionally supported social authority. As a result, the subject, guided by a desire to improve the credibility of their own speech product necessary to ensure speech security, uses stylistic means and methods of institutional discourse stylistic organization much more actively than in everyday discourses. Despite the fact that these means and methods actively interact with the means and methods of informal style, the level of speech formality increases in the transition from everyday to non-everyday communication.

References

1. Leech, G. (2008) *Language in Literature: Style and Foregrounding*. Longman Pub Group.
2. Rezanova, Z.I. (2010) Diskursivnye kartiny mira [Discursive world pictures]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: sovremennyy mediadiskurs* [Pictures of the Russian world: contemporary media discourse]. Tomsk: ID SK-S.
3. Dijk, T.A. Van & Kinch, W. (1988) Strategii ponimaniya svyazannogo teksta [Strategies of connected text comprehension]. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 23. pp. 153–211.
4. Kibrik, A.A. (2008) Obosnovano li ponyatie "Diskurs SMI"? [Is the concept "media discourse" justified?]. In: Pastukhov, A.G. (ed.) *Zhanry i tipy teksta v nauchnom i mediynom diskurse* [Genres and types of text in academic and media discourse]. Orel: OGIIK.
5. Orlova, O.V. (2012) *Diskursivno-stilisticheskaya evolyutsiya mediakontsepta* [Discursive-stylistic evolution of media concept]. Philology Dr. Diss. Tomsk.
6. Seriot, P. (1999) Russkiy yazyk i sovetskiy politicheskiy diskurs: analiz nominalizatsiy [Russian language and Soviet political discourse: analysis of nominalization]. In: Mazo, V.D. (ed.) *Kvadratura smysla: Frantsuzskaya shkola analiza diskursa* [The area of meaning: The French school of discourse analysis]. Translated from French and Portuguese. Moscow: Progress.
7. Sheygal, E.I. (2000) *Semiotika politicheskogo diskursa* [The semiotics of political discourse]. Philology Dr. Diss. Volgograd.
8. Tubalova, I.V. & Emer, Yu.A. (2009) Text space of City Day and Higher School Birthday: on the problem of holiday world modelling. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 2. pp. 11–22. (In Russian).
9. Bazhenova, E.A. (2009) Discourse-stylistic approach to the research of scientific texts. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya – Perm University Herald. Russian and Foreign Philology*. 5. pp. 24–32. (In Russian).
10. Mishankina, N.A. (2010) *Lingvokognitivnoe modelirovanie nauchnogo diskursa* [Linguocognitive modeling of scientific discourse]. Philology Dr. Diss. Tomsk.
11. Emer, Yu.A. (2011) *Miromodelirovanie v sovremennom pesennom fol'klore: kognitivno-diskursivnyy analiz* [World modeling in contemporary folk songs: cognitive discourse analysis]. Philology Dr. Diss. Tomsk.
12. Kozhina, M.N. (2006) Funktsional'nyy stil' (funktsional'naya raznovidnost' yazyka) [Functional style (functional variety of language)]. *Rechevoe obshchenie (Teoreticheskie i prikladnye aspekty rechevogo obshcheniya). Spetsializirovanny vestnik*. 8–9 (16–17). pp. 150–154.
13. Karasik, V.I. (2002) *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Linguistic Circle: Personality, Concepts, Discourse]. Volgograd: Peremena.

14. Kibrik, A.A. (2009) Modus, zhanr i drugie parametry klassifikatsii diskursov [Modus, genre and other parameters of classifying discourses]. *Voprosy yazykoznaniya*. 2. pp. 3–21.
15. Kozhina, M.N. (2004) Diskursnyy analiz i funktsional'naya stilistika s rechevedcheskikh pozitsiy [Discourse analysis and functional stylistics in terms of speech studies]. In: Chernyavskaya, V.E. (ed.) *Tekst – Diskurs – Stil'* [Text – Discourse – Style]. St. Petersburg: SPbGUEF.
16. Makarov, M.L. (2003) *Osnovy teorii diskursa* [Fundamentals of the theory of discourse]. Moscow: Gnozis.
17. Orlova, O.V. (2013) The correlation problem of style and discourse concepts in linguistics in the beginning of the 21st century in the context of M. N. Kozhina's ideas. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (24). pp. 19–25. (In Russian).
18. Prikhod'ko, A.N. (2009) Taksonomicheskie parametry diskursa [Taxonomic parameters of discourse]. In: Manaenko, G.N. (ed.) *Yazyk. Tekst. Diskurs* [Language. Text. Discourse]. Is. 7. Stavropol: PGLU.
19. Stepanov, Yu.S. (1995) Al'ternativnyy mir, Diskurs, Fakt i printsip Prichinnosti [Alternative world, discourse, fact and principle of causality]. In: Stepanov, Yu.S. (ed.) *Yazyk i nauka kontsa XX veka* [Language and science of the late 20th century]. Moscow: IYa RAN.
20. Khazagerov, G.G. (2005) V poiskakh novoy diskursivnoy stilistiki (o slabostyakh funktsional'no-stilisticheskogo podkhoda i perspektivnosti ritoricheskikh teorii stilya) [In search of a new discursive stylistics (on the weaknesses of the functional-stylistic approach and on prospects of rhetorical theories of style)]. In: Manaenko, G.N. (ed.) *Yazyk. Tekst. Diskurs* [Language. Text. Discourse]. Is. 3. Stavropol: PGLU.
21. Chernyavskaya, V.E. (2005) *Interpretatsiya nauchnogo teksta* [The interpretation of the scientific text]. Moscow: URSS.
22. Chernyavskaya, V.E. (2007) Otkrytyy tekst i otkrytyy diskurs: Intertekstual'nost' – diskursivnost' – interdiskursivnost' [Open text and open discourse: Intertextuality – discursivity – interdiscursivity]. In: Chernyavskaya, V.E. (ed.) *Lingvistika teksta i diskursivnyy analiz: traditsii i perspektivy* [Text Linguistics and discourse analysis: traditions and perspectives]. St. Petersburg: SPbGUEF.
23. Kitaygorodskaya, M.V. (2005) *Rech' moskvichey: kommunikativno-kul'turologicheskiy aspekt* [Muscovites' speech: communicative and cultural aspect]. Moscow: Nauchnyy mir.
24. Labov, W. (1972) The Transformation of Experience in Narrative Syntax. In: Labov, W. *Language in the Inner City*. Philadelphia: University of PA Press.
25. Sacks, H., Schegloff, E.A. & Jefferson, G. (1974) A simplest systematics for the organization of turn–talking for conversation. *Language*. 50(4):1. pp. 696–735.
26. Gasparov, B.M. (1996) *Yazyk, pamyat', obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya* [Language, memory, image. Linguistics of language existence]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
27. Lebedeva, N.B. et al. (2011) *Zhanry estestvennoy pis'mennoy rechi: Studencheskoe graffiti, marginal'nye stranitsy tetradey, chastnaya zapiska* [Genres of natural writing: Student graffiti, marginal pages of notebooks, private notes]. Moscow: KRASAND.
28. Silant'ev, I.V. (2006) *Gazeta i roman: Ritorika diskursivnykh smesheniy* [The newspaper and the novel: Rhetoric of discursive fusions]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
29. Tubalova, I.V. (2011) Spetsifika organizatsii diskursov povsednevnosti [The specifics of the organization of everyday life discourses]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (16). pp. 41–52.
30. Tubalova, I.V. (2014) Institutional speech patterns in person-oriented discourses. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 5 (31). pp. 38–52. (In Russian).
31. The Russian National Corpus. [Online]. Available from: www.ruscorpora.ru.
32. Borisova, I.N. et al. (1995) *Zhivaya rech' ural'skogo goroda. Teksty* [Live speech of a Ural city. Texts]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural State University.
33. Zemskaya, E.A. & Kapanadze, L.A. (eds) (1978) *Russkaya razgovornaya rech'*. Teksty [Russian colloquial speech. Texts]. Moscow: Nauka.
34. Sergieva, N.S. & Gerd, A.S. (eds) (1998) *Russkaya razgovornaya rech' evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Sbornik tekstov* [Russian colloquial speech of the European North-East of Russia: Collection of texts]. Syktyvkar: Syktyvkar State University.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 882

DOI 10.17223/19986645/37/10

И.А. Айзикова

ОБРАЗ ПАЛЕСТИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ¹

Представлена первая попытка систематического исследования темы Палестины в творчестве В.А. Жуковского. Хотя русский романтик никогда не бывал на Святой земле, мотивы и образы, связанные с Палестиной, постоянно присутствуют в его стихотворных и прозаических текстах. Они встречаются уже в его ранних переводах из Руссо и Шатобриана, но особенно важное место занимают в позднем творчестве 1840-х – начала 1850-х гг., прежде всего в поэме «Странствующий жид». Изучение этих и других «палестинских» материалов творчества Жуковского позволяет уточнить особенности поэтики и жанрово-стилевой системы его творчества, исследовать неизвестную страницу в истории культурных контактов Палестины и России XIX в. и проследить влияние Жуковского на формирование образа Святой земли в русской литературе XIX в.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, романтизм, Палестина, русская литература, Библия, мотив, образ.

Палестина – Святая земля с большой историей, почитаемая представителями трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Она хранит следы библейской истории и является символом христианской мечты о грядущей вечной жизни праведников. Палестина не могла не обратить на себя внимание романтиков, и в частности родоначальника русского романтизма В.А. Жуковского, который всю жизнь стремился к вере в Бога, к формированию христианского сознания у себя и своих читателей. Ханаан, Вифлеем, Самария, Иудея, Иордан и др. – всё это знаковые для Жуковского географические названия и пространства, святые земли, в которых сосредоточены все первоначала земной истории христианства. В самом общем виде Палестина воспринимается поэтом как единый целостный топос с двойной символикой, связанной с комплексами идей искупительных страданий и смерти Христа и его грядущего пришествия. Это в полной мере выразилось в творчестве поэта.

Тема Палестины в творчестве Жуковского привлекла к себе внимание еще в дореволюционной России. Прежде всего это было связано с попытками издать поэму «Странствующий жид», действие которой разворачивается на Святой земле и которая впервые была напечатана в посмертном 10-м томе 5-го издания Собрания сочинений поэта – с большими отклонениями от рукописи (см. об этом: [1. Т. 4. С. 536–542]). В числе тех, кто предпринимал

¹ Статья написана при финансовой поддержке РГНФ – совместный конкурс научных проектов РГНФ – Императорское Православное Палестинское Общество 2015 года, грант № 15-64-01001.

усилия восстановить текст по рукописи, был и С.И. Пономарев, один из первых авторов, поставивших вопрос о Палестине в русской литературе, науке и живописи. Особым вкладом в исследование темы следует считать описание бумаг писателя, поступивших в Императорскую Публичную библиотеку, сделанное И.А. Бычковым в конце 1880-х – начале 1900-х гг. [2]. Библиограф-архивист выявил целый комплекс не публиковавшихся ранее архивных документов, связанных с восприятием Жуковским темы Палестины. Это могло стать основой научного подхода к изучению интересующей нас темы. Но ее исследование в дальнейшем не получило полного систематического характера. Многие авторы, писавшие о Жуковском (А.Н. Веселовский, П. Загарин и др.), упоминали о его интересе к «палестинской» теме, но делали это лишь мельком.

Сегодня наступает время изучения этой чрезвычайно актуальной темы в связи с происходящим в последние десятилетия переосмыслением характера, масштаба и значения личности и творчества поэта в широком историко-культурном процессе первой половины XIX в. Точкой отсчета этого процесса, в который органично включается и наше исследование, следует считать трехтомную коллективную монографию «Библиотека В.А. Жуковского в Томске» [3], в которой была выработана плодотворная и перспективная методология изучения творчества писателя. Здесь была убедительно доказана необходимость и важность системного подхода к творческому наследию Жуковского, с которого, как указывает Ф.З. Канунова, «начинается в литературе XIX в. блестящая плеяда классиков <...> отличающихся подлинным универсализмом мышления, в творчестве которых были неразрывно слиты поэзия и философия, история и педагогика, эстетика и естествознание. С Жуковского в XIX в. начинается именно тот путь русской литературы и русского литератора, вершину которого означает деятельность Толстого, писателя, историка, философа, проповедника, педагога» [3. Т. 2. С. 4].

В ходе изучения библиотеки Жуковского и последовавшей за этим подготовки к печати Полного собрания сочинений и писем писателя современными исследователями был проявлен большой интерес к изучению роли Жуковского в диалоге России с другими культурами (Ф.З. Канунова, А.С. Янушкевич, Э.М. Жиликова, О.Б. Лебедева, Н.Б. Реморова, Н.Е. Разумова, Н.Е. Никонова и др.), к религиозно-философским исканиям Жуковского (Ф.З. Канунова, И.Ю. Виницкий и др.), с которыми «палестинская» тематика связана самым непосредственным образом, а также к педагогическим разработкам и практикам писателя (Л.Н. Киселева, В.С. Киселев, Э.М. Жиликова и др.), в которых тема Палестины занимала важное место.

Обращения Жуковского к теме и образу Палестины относятся к двум периодам: 1800–1810-х гг., времени его «поэтического» отношения к вере и Священному Писанию, и 1840-х гг., отмеченных глубокой религиозностью писателя. В 1800–1810-е гг. Жуковским был сделан ряд переводов, связанных с палестинской темой: «Левит Ефραίмский» (из Ж.-Ж. Руссо), «О нравах арабов», «Путешествие Шатобриана в Грецию и Палестину» (из «Путешествия

из Парижа в Иерусалим и из Иерусалима в Париж» Р. Шатобриана), а также прозаические пересказы ряда глав из первой части Пятикнижия Моисеева – «Бытия», собранные под общим заглавием «Библейские повести» («История Авраама», «Исаак» и «Исав и Иаков»). В 1840-е гг. были написаны такие произведения, как «Повесть об Иосифе Прекрасном», «Египетская тма», «Странствующий жид», сделано стихотворное переложение Апокалипсиса.

Перевод повести Ж.-Ж. Руссо «Le Levit d'Ephraïm» [4. Vol. 7. P. 163–186] относится к весне – лету 1806 г. Жуковский перевел повесть французского автора, являющуюся поэтическим переложением ветхозаветной легенды о Левите из Ефраима, принадлежавшем к колену Левии, о страшной смерти его наложницы из колена Иуды в городе Гаваоне, принадлежавшем колену Вениаминову, и о последовавшей за этим мести вениамитянам (Книга Судей Израилевых, гл. 19–21), полностью, сохранив ее сюжет, композицию, систему художественных образов, тип повествования – лиро-эпический, интерес к которому возник у Жуковского уже на раннем этапе творчества. «Левита Ефраимского» можно считать одним из ранних опытов писателя в работе с библейской легендой, когда его отношение к религии, Библии было не столько мировоззренческим, сколько эстетическим. Примечательно уже то, что Жуковский обратился не непосредственно к Библии, а к переводу поэтического пересказа одного из сюжетов Священной истории.

Вместе с тем сам характер изложения легенды о Левите и в подлиннике, и в переводе говорит о том, что изображенные в ней события и для Руссо, и для Жуковского означают некую закладку основных принципов отношений человека с другими людьми, с государством, с законом, Богом, происходившую на Священной земле. И несмотря на то, что они имеют для обоих писателей не столько религиозное, сколько нравственно-этическое значение, касающееся человеческой истории вообще, которая движется столкновением Добра и Зла, изображенный в легенде период очевидно обусловлен идеей ветхозаветного пророчества о гибели священного еврейского царства. Повесть открывается словами повествователя, «трепещущего» от своего намерения «говорить о преступлениях Вениаминовых, о мщении сынов Израиля. Злодейства неслыханные! Беспрецедентное наказание! – О смертные, любите красоту, храните невинность и святость нравов и гостеприимства; будьте справедливы не жестокостью; милосердны без малодушия. Знайте, что лучше простить преступника, чем наказать невинного» [1. Т. 8. С. 396].

Полное расстройство государственного управления, беззаконие, ослабление политического могущества всех 12 колен Израилевых, «истоки к вражде междоусобной, погубившей одно из колен священного народа, кровопролитной и ужасной» [1. Т. 8. С. 396] в повести связываются с поступком вениамитян, принадлежащих к роду последнего из 12 сыновей Иакова Вениамина. В «Первой книге Моисеевой. Бытие» читаем о том, что Иаков, находясь на смертном одре, дает Вениамину благословение: «Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу» (Быт., 49, 27), что следует отнести не к личности самого Вениамина, бывшего предметом особой заботы Иакова, а к последующей истории его племени (см.: [5. Т. 1. С. 232]). В переводной повести Жуковского Вениамин охарактеризован как

«сын болезни и горести, невинный убийца матери¹, осквернивший «преступлением неслыханным, приводящим в трепет» своих потомков, навлекший на них «грозную руку мщения» [1. Т. 8. С. 396].

Конечно, обращая, как и Руссо, основное внимание на изображение характеров, Жуковский с особой силой подчеркивает идею их сложности, противоречивости, являющихся источником их нравственного развития. Во-первых, внимание читателей акцентируется на том, что преступление Левита было совершено «во дни свободы, когда не имел царя народ израильский, было время смятений и безначалия, не знали покорности. Противились верховной власти, внимали собственным страстям необузданным. Израиль, обитавший рассеянно по полям цветущим, не имел городов пространных и пышных, простой обычаями и нравами, не чувствовал нужды в законах. Но чистота невинности не всем была драгоценна; под кровом добродетели мирной и беспечной порок находил убежище» [1. Т. 8. С. 396].

Во-вторых, Жуковскому чрезвычайно важны психологические мотивировки поведения героя. Как показывает сравнение перевода с подлинником, а также анализ правки перевода, писатель последовательно усложняет и уточняет их. Так, Левит – это вовсе не абсолютный злодей. У него доброе сердце, он способен на глубокое чувство (он «полюбил сердцем» девушку из Вифлеема; ср. у Руссо: «Левит увидел молодую девушку, которая ему понравилась»; ср. в Библии: «Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского» – гл. 19, ст. 1). Подчеркивается стремление Левита разделить счастье со своей возлюбленной (ср.: у Жуковского – «пленялся вместе с нею», «украшал грудь ее полевыми розами», у Руссо – «водил ее собирать полевые розы, наслаждаться прохладой»). Если в подлиннике с самого начала берется под сомнение чувство девушки к Левиту («он увел ее», ср. в переводе – «они пошли»; «постарается вновь привести», у Жуковского – «склонить ее к возвращению»), то в переводе показывается неустойчивость едва зародившегося чувства. Он абсолютно счастлив «мирным спокойствием, столь драгоценным для сердец простых и нежных», которое «он вкушал в своем уединении» вместе с «приятностями любви взаимной». Своё преступление, ледяющий душу читателей поступок Левит совершает в состоянии исступления, аффекта.

Наряду с этими характеристиками вводятся и другие детали, многое объясняющие в поведении Левита Ефраимского: полюбив дочь Иуды, которой он не может быть супругом «по Закону Божию», Левит приводит ее в свой дом и надеется «быть свободным в своем союзе»; он прославляет красоту «юной супруги своей» «на златой цитре, для прославления Всевышнего настроенной», и «гремящий отзыв повторял пение его на горе Гебале» (Гевале), расположенной в центре Палестины и предназначенной для ежегодного чтения Закона при всенародном собрании. «Из расселин утесов» Левит «похищал для нее соты златого меда», «иногда на зеленых оливах скрывал обманчивые западни для птичек и приносил к ней робкую горлицу – она целовала ее, гладила нежной рукою; прижимала ко груди своей и восклицала от жалости, чувствуя, как птичка билась и трепетала» [1. Т. 8. С. 397]. Земной рай, который выстроил для себя и своей возлюбленной Левит Ефраимский в

¹ Рахиль умерла при рождении Вениамина.

Сихемской долине, допускает насилие и превосходство материальных благ над духовными, человеческих земных интересов над верой в Бога и следованием его воле. Эти «внутренние болезни» Левита свойственны и его возлюбленной, и ее родителям, согласившимся отпустить дочь с Левитом, предчувствуя «погибельность сей разлуки». Никто не слышит посылаемых сверху знаков. Левита не останавливает то, что его возлюбленная ушла от него, чтобы возвратиться к родителям; он не замечает слез ее отца, провожающего их в дорогу; не слушает совета остановиться на ночлег в «городе Зевула» и направляется в «Гаваон колена Вениаминова» и т.д.

История любви Левита и его наложницы, описанная, с одной стороны, в соответствии с эстетикой сентиментализма, а с другой – с активным использованием мотивов соблазна, обмана, предательства, в целом разворачивается на фоне нарастающей непримиримой вражды и грехопадения 12 колен Вениаминовых. Трагически оборвавшаяся смертью возлюбленной Левита, она, благодаря его неугасимому желанию отомстить обидчикам, получает продолжение, которое начинается всё извращающим призывом Левита к израильтянам: «Благословение Израилю, врагу осквернителей, мстителю за невинных» и соответствующим всеобщим ответом: «Да погибнут убийцы! Слава Всемогущему! До тех пор ни один из нас не возвратится в дом свой, доколе не падут стены Гаваона» [1. Т. 8. С. 401], а заканчивается братоубийственной войной. Единственный не принявший участия в этой войне город Явес Галаадский, находящийся вблизи ручья Вади-Йябес, впадающего в Иордан на юго-востоке от Вефсана, был истреблен полностью: «...все явились кроме обитателей Явеса Галаадского. Сия отрасль потомков Манасеи¹, которую пролитие крови братий ужасало больше, нежели их преступление, не захотели вооружиться мечами наказания, забыв, что предательство и нарушение долга виновнее невольной жестокости. Увы! Смерть, ужасная смерть была наградой сих сострадательных. Десять тысяч человек от воинства Израилева исполнили сей приговор бесчеловечный: Подите, – сказали им, – истребите Явес Галаадский; да погибнут его жители, мужи и жены, старцы и младенцы» [1. Т. 8. С. 403].

В ходе сражений израильские воины не раз обращались к Богу за помощью, пока Бог не удостоил их ответом, понятным ими извращенно: «Идите, – сказал Он, – не полагайтесь более на число ваших воинов; полагайтесь на Господа: Он дает и отнимает мужество: завтра предам Вениамина в ваши руки». Израильтяне не услышали в словах Бога предупреждения о пагубности того, о чем они его просят. Погубив почти полностью колено Вениаминово, они оплакивают свою победу и вновь обращаются к Богу: «Бог Авраама, –

¹ О Манассии Иаков сказал, что «...от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его... И поставил Ефрема выше Манассии» (Быт. 48:13–20). Первенец Иосифа Манассия был, как и его брат Ефрем, оторван от служения Истинному Богу и жил в роскоши и неге языческого египетского двора, тем более что их мать по происхождению принадлежала к высшему жречеству. Но Иосиф неустанно заботился о том, чтобы привлечь своих сыновей к Богу. Манассия оказался в обстоятельствах, сходных с теми, в каких когда-то был Исав, – первородство, по праву принадлежавшее ему, было отдано меньшему брату. И здесь проявился прекрасный характер Манассии, который в отличие от Исава не возмущался, не испытывал негодования, обиды, зависти и ненависти, а спокойно смирился с тем, что произошло. И в дальнейшей истории его колена нет вражды между племенами двух братьев [6].

воскликали они в печали сердца, – где, где твои обещания? Целое колено угасло в Израиле!» Ответом на обращение являются слова повествователя, прямо разъясняющего суть произошедшего: «О, смертные, слепые и несчастные! Глаза ваши не видят прямого блага; напрасно хотите святыней оправдать свои страсти. Ваше наказание в погибельных крайностях, к которым они приводят; небо карает ослепленных, исполняя их обеты безумные, несправедливые» [1. Т. 8. С. 402–403].

Не случайно повесть заканчивается описанием следующего преступления, которое было совершено израильтянами из желания восстановить погибший род Вениамина – опять путем обмана и нарушения запрета Божьего соединять «дев» из города Силома, в котором, как в центре Земли обетованной, была поставлена скиния, в царствование Давида перенесенная в Гаваон, с сынами Вениамина.

Композиция повести, передавая идею хождения греха и преступления по кругу, приобретает форму кольцевой в результате введения в повествование еще одной истории двух влюбленных. Дева силомская Акса, жертвуя своей любовью к Эльмасину, жениху своему, по просьбе отца бросается в объятия одного из немногих оставшихся в живых вениамитянина. Вслед за нею так же поступают и другие девы Силомские. Описанием реакции Израиля, «пораженного сим трогательным зрелищем», посылающего благословение Богу за очередной совершенный грех перед ним, заканчивается последняя песнь повести.

Переведенные Жуковским через четыре года для публикации в редактируемом им журнале «Вестник Европы» отрывки из «Itinéraire de Paris à Jérusalem...» Р. Шатобриана открывают другую сторону его интереса к Палестине, отразившуюся в жанре травелога. Сразу подчеркнем, что они не пересекаются с традицией путешествий в Иерусалим к святым местам. По замечанию Шатобриана, точно переведенному Жуковским, путешествие по Греции и Ближнему Востоку было совершено из желания «излечить себя от невежества», т.е. от недостатка знаний о Святой земле, которое писатель ощутил в процессе работы над романом «Мученики, или Торжество христианства» (1809), где развивались идеи «Гения христианства»: «Осматривая Грецию, Палестину, Египет и Варварию, я не имел намерения писать путешествия, но только хотел, говоря словами древних, излечить себя от невежества. Несколько лет уже занимаясь сочинением, которое должно, так сказать, дополнить книгу мою “Дух христианский”, я почитал обязанностью видеть собственными глазами своими те страны, в которых я поместил своих героев. Я думал, что прежде не могу иметь доверенности к своим описаниям, пока не буду в состоянии сказать с Улиссом: “Я видел разные земли и разные нравы, и все изображения мои верны”» [1. Т. 10, кн. 2. С. 313–314].

Привлекательным для автора и для переводчика был сам материал, принципиально новый как для французской, так и для русской литературы. Это было даже специально подчеркнуто Жуковским в подзаголовке «(Отрывок из Шатобрианова путешествия по Востоку)», который он дал одному из своих

переводов – «О нравах арабов» (1810). Самим жанром был обусловлен упор на информативность и точность описаний. Удовлетворяя огромный читательский спрос на географический, этнографический материал, Жуковский дает в этом переводе свое первое описание Мертвого моря, на берегах которого, согласно библейской легенде, некогда процветали города Содом и Гоморра, уничтоженные Господом за греховность, а теперь плодородная долина превратилась в выжженную пустыню, где обитают арабские племена.

Сохраняя все детали быта, одежды, внешнего вида, нравов арабских женщин и мужчин, Жуковский создает в своем переводе их обобщенные образы, подчеркивая и эстетизируя, прежде всего, их восточную, отличную от западной культуры, специфику:

Арабы, которых я видел в Иудее, в Египте и в самой Варварии, показались мне более высокого, нежели малого роста. Поступь их гордая; они имеют стройный стан; очень легки; голова у них овальная, лоб большой и круглый, нос орлиный; глаза большие, имеющие форму миндаля и взгляд чрезвычайно нежный. Если они молчат, то вы не заметите в них ни малейшего следа дикости, но если, напротив, начнут говорить, то вы услышите грубые и сильные звуки и увидите зубы длинные, ослепительной белизны, имеющие много сходства с зубами шакалей. <...> Женщины аравийские выше ростом, нежели мужчины по пропорции, наружность их благородна; правильностью своего лица, красотой телесной формы и одеждою напоминают они о статуях жриц греческих или Муз. На горах иудейских встретились мы с тремя, которые имели на головах сосуды с водой: они напоили наших лошадей. Не дочери ли это Лавана или маданитян? Но сии прекрасные статуи бывают иногда облечены в рубища; бедность, нечистота и страдания безобразят несколько сии прекрасные формы; смуглость, так сказать, скрывает от вас правильные черты лица их; одним словом, чтобы смотреть на этих женщин с приятным чувством, надобно видеть их в некотором отдалении, довольствоваться целым и не входить в подробности [1. Т. 10, кн. 2. С. 233].

Конкретное описание погружено здесь в широкие и глубокие культурные контексты, что, безусловно, служит характеристикой образа повествователя, погруженного в вековые традиции, идеи и образы культуры, а также усиливает эпическое звучание текста. Современные обитатели священных мест ассоциируются у нарратора прежде всего с библейскими именами и событиями, происходившими на этих землях: «Я имел перед глазами потомков первобытного поколения людей; видел их с теми же нравами, которые имели они во дни Агари и Измаэля; и в той же пустыне, которую сам Бог наименовал их наследием. Я встречал их в долине Иордана, у подошвы гор Самарийских; на путях Эвронских, в местах, где некогда раздавался голос Навина; в полях Гоморра, еще дымящихся гневом Иеговы и освященных потом спасительными чудесами Христа-Искупителя» [1. Т. 10, кн. 2. С. 235]. Отдельного подробного описания в переведенном фрагменте заслуживает арабский конь. При всей конкретности изображения картина явно поэтизируется и наполняется глубоким библейским подтекстом за счет отсылки к образу коня, созданному в XXXIX песни Книги Иова (ст. 19–25):

Часто я удивлялся арабскому коню, прикованному таким образом к раскаленному песку и стоящему неподвижно, с разбросанною гривой, опустив голову к ногам, чтобы занять от них несколько тени, и поглядывая косвенно дикими глазами на господ своих. Но ты снимаешь с него оковы, бросаешься на его хребет – *он пенится, дрожит, разбрасывает копытами землю! Труба зазвучала; он восклицает: «Вперед!»* И ты узнаешь коня, которого изобразил тебе Иов [1. Т. 10, кн. 2. С. 234].

В рассматриваемом фрагменте нетрудно увидеть и руссоистские интонации описания арабов, которых автор видит в свете теории естественного человека. Здесь звучит и контекст античной культуры, вносящий свои ноты в изображение. Чтобы все это разглядеть в окружающей действительности, автору необходима дистанция («надобно видеть их в некотором отдалении»), прежде всего, конечно, в переносном смысле. Ему необходима эпическая дистанция для субъективного, личного восприятия сиюминутного, конкретного материала. Эту дистанцию он задает себе сам, уровнем своего культурного развития, внутренней свободой своих чувств и мыслей.

Перевод «Путешествие Шатобриана в Грецию и Палестину» (1810) в еще большей степени передает восприятие Святой земли как пространства с двоякой символикой. Места, по которым прошел нарратор, по его оценке, связаны с «величайшим из всех происшествий мира, происшествием, изменившим лицо земного круга <...> пришествием Мессии» [1. Т. 10, кн. 2. С. 317]. В его сознании отложились и памятники, относящиеся ко времени завоевания Палестины крестоносцами. Его взгляд отмечает следы арабских и турецких завоевателей. Все это поражает повествователя тесным переплетением в палестинском мире разных национальных культурных традиций и неизменно оживляет в его глазах «славную древность».

Особенно показательно в этом отношении описание жизни на корабле:

В нашей республике всякий занимался свободно своим особенным хозяйством; женщины заботились о детях, мужчины курили табак или готовили обед; попы разговаривали; везде слышались звуки мандолин, скрипок и лир – там плясали, здесь пели; в одном месте смеялись, а в другом молились. Все были веселы. Мне говорили, показывая на юг: «*Иерусалим!*», и я отвечал: «*Иерусалим!*» <...> богомольцы восклицали: «*Иисус Христос! Кирие элей сон!*», но через минуту после грозы все опять становилось и беззаботно, и весело. <...> Напев *кирие-элей-сонах* чрезвычайно разителен: вы слушаете одну ноту, которую тянут разные голоса, один важный, другой звучный, третий тонкий и нежный – действие этого *кирие* удивительно по своей унылости и своему величию. Это, вероятно, есть древний напев первоначальной церкви [1. Т. 10, кн. 2. С. 316].

Христианская вера воспринимается путешественником как великая объединительная сила, позволяющая находить «друзей и помощь в странах далеких». Оказанный путешественнику палестинскими монахами прием поразил его «братской любовью», абсолютно адекватной тому месту, где «первый из Апостолов проповедовал Евангелие»:

Сей христианский, исполненный братской любви прием в стране, где родилось христианство и любовь истинная, сие апостольское гостеприимство на тех самых берегах, где первый из Апостолов проповедовал Евангелие, трогали меня до глубины сердца [1. Т. 10, кн. 2. С. 318].

Важнейшее место в отрывке занимает поэтическое описание дороги в Иерусалим через Рамлу:

Мы вышли из Рамлы 4 числа в полночь; оставив за собою Саронскую равнину, вступили мы в горы Иудеи. При появлении дня увидел я себя среди лабиринта гор, имеющих форму коническую, совершенно между собою сходных и основаниями соединенных. Прошед долину Еремии, спустились мы в долину Теребинта, оставив вправо Маккавейский замок. Утесы, на которых видима была доселе редкая зелень, мало-помалу начали обнажаться; <...> горы, составлявшие передо мною смутный амфитеатр, казались красноватого, пламенного цвета [1. Т. 10, кн. 2. С. 320–321].

По собственному признанию нарратора, «Иудея – единственная страна в свете, в которой для путешественника-христианина воспоминания о происшествиях мира соединяются с великими воспоминаниями о делах Неба» [1. Т. 10, кн. 2. С. 322]. И Палестина, и Иерусалим – в представлении Шатобриана и точно переводящего фрагменты из его «Itinéraire...» Жуковского – это, безусловно, образы-мифы, древнейшие культурные архетипы при всей конкретности их описаний. Это пространство непременно одухотворяется повествователем, он прозревает в нем будущий Небесный Иерусалим.

Путь в Вифлеем оказался не менее насыщенным исторической памятью и прозрениями вечного будущего:

Рыцари французские восстановили некогда Иерусалимское царство и рвали иудейские пальмы⁵⁵; и теперь еще турки показывают вам источник Рыцарей, башню Рыцарей, гору Рыцарей; а на святой горе хранится меч Годофредов, который и теперь в древних своих ножнах кажется грозным защитителем Иисусова гроба. <...> Мы выходили из Иерусалима через те же врата богомольцев, через которые и въехали; потом, поворотив, вправо через рвы, находящиеся у подошвы горы Сиона, поднялись на вершину другой горы, по плоскости которой продолжали путь свой около часа. Иерусалим остался позади нас на севере; на юге были иудейские горы, а на востоке в великом отдалении Аравийские. Миновав монастырь св. Илии, вступили мы на поле Рамы, где и теперь еще показывают гробницу Рахили; а к ночи пришли, наконец, в Вифлеем. С каким удовольствием посетил я место рождения Спасителя, место, где поклонялись Ему маги, дом молитвы святого Иеронима! Осмотревши места, замечания достойные, и списавши некоторые надписи, отправился я к Мертвому морю [1. Т. 10, кн. 2. С. 321–322].

Очень важно, что Святая земля в восприятии повествователя естественно связана с колыбелью античной культуры – Грецией. Его путь в Палестину проходит через Грецию, что тоже наполняется глубоким символическим смыслом: нарратор повторяет вектор развития европейской культуры от Ан-

тичности, язычества к христианству. В этом плане весьма показательна композиция перевода, передающая момент перехода границы между греческими и палестинскими землями. Посетив ряд греческих островов, древние города Пелопоннеса, Мегары, Спарту, Мегару и Элевзис, Афины, Смирну, пешком дошедший до Троянской равнины и Пергама, повествователь садится на корабль с «христианскими богомольцами, греками» и через Константинополь отправляется «увидеть святыне места» «под знаменем креста, который изображен был на флагах, по мачтам развешенных» [1. Т. 10, кн. 2. С. 315]. Путь в Иерусалим пролегал с «воспоминаниями о Трое», через важнейшие достопримечательные места, связанные с античной, древнегреческой культурой:

...глазам моим представился высокий мыс, увенчанный девятью мельницами: то был *Сигейский мыс*. У подошвы его заметил я две насыпи; то были *гробы Ахилла и Патрокла*. Устье *Симоиса* находилось по левую сторону нового Азиатского замка; далее, позади нас, виден был *Ретейский мыс* и *гроб Аяксов*. В отдалении синелась *Ида*, которой скаты, видимые с корабля, казались некрутыми и приятными. *Тенедос* находился перед корабельным рулем: *Estinconspectus Tenedos*. Я смотрел, и сердце у меня билось; я видел славу древних героев и слышал песни древнего песнопевца. ...видели Хиос, Лесбос, Самос, славный своим плодородием, своими тиранами и особенно рождением Пифагора. Но все то, что ни писали об этом острове стихотворцы, должно уступить несравненному эпизоду в «Телемаке». Мы плыли около берегов Азии, где простиралась перед глазами нашими Дорида, и сия роскошная Иония, которая обогащала Грецию удовольствиями и великими людьми, там извивался Меандр, блистал Эфес, Милет, Галикарнас и Книд; и поклонился отечеству Гомера, Апелла, Геродота, Фалеса, Анаксагора, Аспазии <...>. Наконец проехав мимо Родоса и Кипра, увидели мы берега Палестины, но я не почувствовал того смутения, которое овладело мною при первом появлении Греции; я ощутил в себе трепет и почтение при виде колыбели израильтян и отчизны христианства. Я готовился ступить на землю чудес, идти к источникам возвышеннейшей поэзии [1. Т. 10, кн. 2. С. 317].

Отличительной особенностью путешественника-повествователя является удивительная подвижность «взгляда», проникающего сквозь видимые и невидимые границы. Он являет способность пребывать то в мире физическом, то в мире духовном. Он описывает окружающий его мир, размышляя при этом и об общем, вечном, и о себе. Жуковский, таким образом, вслед за Шатобрианом, по сути, синтезирует в своем переводе те жанрообразующие принципы путешествия, которые в предшествующие периоды тяготели к обособленности, определяя специфику «просветительского» (описательного) и «сентиментального» (эмоционально-психологического) путешествия.

Повествование организуется, по крайней мере, двумя моментами, исходящими от образа нарратора. Они, надо думать, и привлекают Жуковского-переводчика в «Путешествии» Шатобриана. Во-первых, это мысль об изначальной связи культуры древних евреев с другими ближневосточными древними цивилизациями. Во-вторых, это сохранившийся на Ближнем Востоке, в Палестине, в первую очередь ритм исторического развития, нашедший свое отражение в Библии и тонко уловленный французским писателем-

романтиком в самой атмосфере Ближнего Востока и переданный им в «Путешествии». Время в переведенном Жуковским отрывке – открытое, все его отрезки – из прошлого, настоящего и будущего – взаимосвязаны, и более того, получают полный смысл лишь в этой взаимосвязанности. Приведем для примера описание трапезы у Царского источника:

Мы сели на берегу источника Елисеева; на берегу же разложили большой огонь, потом зарезали ягненка, и он был целый изжарен на костре. Мы сели кругом большого деревянного стола, и каждый своими руками отделил для себя часть жертвы. Приятно замечать в сих обыкновениях некоторое сходство с обыкновениями дней прошедших и находить между потомками Измаила воспоминания о Аврааме, Иакове и патриархов израильских [1. Т. 10, кн. 2. С. 323].

Еще один пример:

Я сказал уже, что не буду ничего описывать, следовательно, не ожидайте, чтобы я говорил вам о славной обители св. Саввы, построенной в глубоком рве Кедронского потока⁶⁰; не стану по той же причине описывать ни реки Иордана, ни Мертвого моря, но впечатление, производимое сими местами на душе, так сильно, что я еще и теперь чувствую тот ужас и то изумление, которые объяли меня при виде сей земли, постигнутой гневом Господним! Я видел великие реки Америки с тем чувством, которое производит в нас удивление и природа; сидел в задумчивости на берегах величественного Тибра; смотрел на Цефизу, Эротас и Нил, и воображение мое пылало – но я не могу изъяснить того чувства, которым была наполнена моя душа, когда я видел перед собою Иордан! Река сия оживляла в глазах моих славную древность; на берегах ее совершились столь многие чудеса религии [1. Т. 10, кн. 2. С. 322].

Обратим внимание на то, что именно в описании палестинских земель возникает главный мотив творчества Жуковского – мотив невыразимого.

Эпический по форме, текст, переведенный из Шатобриана, оказывается одновременно лиро-биографическим. Цель «путешествия» обозначена автором и переводчиком вполне ясно: самостроение как условие дальнейшего творческого развития. В свою очередь, творчество является мощным стимулом к самосозиданию. Здесь Шатобриан чрезвычайно близок позиции Карамзина и его «русского путешественника», чем во многом объясняется столь пристальное внимание Жуковского к «Путешествию в Иерусалим» Шатобриана.

Вместе с тем всё, что видит повествователь, особенно в Палестине, он описывает, используя мотивы разрушения, опасности, которые сопровождаются идеей непримиримых и не прекращающихся религиозных распрей на Святой земле. Зримая материальность Палестины находится в явном противоречии с ее духовной благодатью, которую в подобных обстоятельствах дано почувствовать далеко не каждому.

В связи с этим характерен ряд деталей повествования. В упомянутом выше описании жизни на корабле, кроме уже приведенных, отметим и такие: корабль переполнен паломниками, ютящимися на палубе на рогожках; narra-

тор живет в чуть более комфортных условиях – в комнатке, отгороженной от каюты капитана, которую он разделяет еще с двумя пассажирами и которую называет «черным ларем». Веселье и свобода пассажиров сопровождаются постоянным страхом: «...мы были бы счастливейшими людьми на свете, когда бы не принуждены были часто бояться. При малейшем ветре матросы собирали паруса, а богомольцы восклицали: *"Иисус Христос! Кирие элей сон!"*». Картина дополняется мотивом болезни: «На другой день нашего отъезда почувствовал я сильную лихорадку и принужден был лечь на свою ро-гожу» [1. Т. 10, кн. 2. С. 316].

Знакомство с Палестиной начинается в Яффе, где на пристани богомольцев и нарратора встречают одетые в лохмотья арабы, предлагающие лодки для перевозки прибывших на берег. Повествователя забирают к себе в обитель монахи, испанцы по происхождению, едва говорящие по-итальянски. Перед трапезой было прочитано начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим, и католическая молитва «Benedicite». «Священное воспоминание о смерти, которое христианство соединяет со всеми действиями жизни, дабы они были важнее, и которыми древние оживляли все свои пиршества» было прочитано за столом, уставленным для гостя дичью, рыбой, прекрасными плодами: «...я мог пить, сколько хотел, кипрского вина и левантского кофе» [1. Т. 10, кн. 2. С. 318]. Эта роскошь, с которой был встречен на Святой земле нарратор, ему самому кажется неестественной, он даже сравнивает себя за трапезой с Сарданапалом. За столом в монастырской келье разговаривают о путешествии и о мерах безопасности, которые следует принять, чтобы оно закончилось благополучно. Монахи, уверяющие повествователя в том, что они живут здесь, как в раю, ежедневно слышат в свой адрес оскорбления и угрозы «замучить палками, посадить в цепи, умертвить жестокою смертью». Повествователь был потрясен и рассказами монахов о своей жизни на Святой земле, и тем, чему он сам стал свидетелем:

За несколько дней до моего приезда монахи вымыли покровы и прочие ткани, принадлежащие к алтарю. Вода, напитанная крахмалом, обелила камень, находившийся у ворот обители. Один турок это увидел и тотчас донес кадию, что монахи переделывают дом свой. Кади идет в обитель, осматривает камень, находит, что он из черного вдруг сделался белым – важное доказательство – и принуждает бедных отцов заплатить ему десять кошельков. Накануне моего прибытия в Яффу отец-эконом обители был обижен невольником одного аги, который в присутствии господина своего грозился его ударить. Что ж сделал ага? Спокойно пошевелил усами и не сказал ни слова в удовлетворение *христианина-собаки*. Таков *vegarparadiso* этих отшельников, которых некоторые путешественники описывают набобами палестинскими, счастливыми, роскошными, от всех уважаемыми [1. Т. 10, кн. 2. С. 319].

Со знанием дела монахи предупреждают повествователя, чтобы он не доверял местным жителям и был готов к тому, что его обманут, обидят и т.д. Отцы палестинские видят в своем госте спасителя, потому что он имеет по-дорожные охранные грамоты, которые можно будет показать паше: «...он

узнает о прибытии француза в наш монастырь и будет думать, что мы состоим под покровительством Франции». Находясь в крайней нужде, обязанные платить дань паше, они готовятся «продать святыя сосуды» и, «простившись навеки с Палестиною, покинуть гроб Иисуса Христа во власти варваров магометанских» [1. Т. 10, кн. 2. С. 321].

В Иерусалим повествователю предлагают отправиться ночью, в платье пилигрима, рассказав при этом историю «об одном польском епископе, который, два года тому назад, едва не заплатил жизнью за гордую свою пышность». «Я говорю об этом обстоятельстве, – обращается нарратор к читателю, – единственно для того, чтоб показать вам, как велико в этой несчастной земле развращение, безначалие и жестокость. Смело могу сказать, судя по тому, что я видел своими глазами, что без отеческих попечений и бдительности христианских отшельников половина из путешествующих ко Святому Гробу была бы жертвою или хищных арабов, или жестоких турков» [1. Т. 10, кн. 2. С. 320].

Лицемерию святых мест и погружению в переживание того, что ты находишься на Святой земле, постоянно мешают сигналы из внешнего мира, из настоящего: это тут и там открывающееся «совершенное бесплодие» земли, лагеря турецкой конницы, крики арабов, которые «могут произвольно и заграждать, и открывать для путешественников христианских вход во врата Иерусалима», драгоманов (переводчиков), приказывающих «стесниться, потому что надобно было переходить через турецкий лагерь»; путь к Иордану, в Вифлеем сопровождается «сшибками с бедуинами» и т.д. «Впечатление, производимое сими местами на душе, так сильно, что я еще и теперь чувствую тот ужас и то изумление, которые объяли меня при виде сей земли, постигнутой гневом Господним!» – заключает свой рассказ о путешествии по Святой земле повествователь [1. Т. 10, кн. 2. С. 322].

Характерно и то, какое большое внимание уделяет нарратор современной политической ситуации, сложившейся на палестинских землях, отмечая бесправие жителей Иерусалима, причисленного «к Пашалику Дамасскому неизвестно, по какой причине; может быть, это соответствует той разрушительной системе, которую приняли турки по естественному, так сказать, побуждению, будучи отделены от Дамаска горами и еще более арабами, бродящими по пустыне. Жители Иерусалима не могут ни жаловаться, ни просить защиты в случае жестокого утеснения губернаторов. <...> здесь требуют неволи безмолвной... Иерусалим некоторым образом подчинен правительству независимому, которое может без страха делать все возможные притеснения, будучи обязано ответом одному только паше. <...> ага имеет право снять с тебя голову или позволить тебе ее выкупить. Таким образом, палачи размножаются во всех деревнях Иудеи. Все правосудие заключается единственно в сих словах: *“Он должен заплатить десять, двадцать, тридцать кошельков; дайте ему пять сот палочных ударов; отрубите ему голову”*» [1. Т. 10, кн. 2. С. 323].

«Самым ужасным бичом для обитателей Иерусалима» называется паша, которого «страшится как главного вождя неприятелей; затворяют лавки, прячутся в подземелья, притворяются умирающими на рогоже, уходят в горы».

От паши зависит экономическая политика, которую он ведет по принципу «разделяй и властвуй», натравливая иудеев на арабов и наоборот:

Во время пребывания моего в Иерусалиме этот А... выдумал удивительный способ вдруг получить множество денег: он послал свою конницу ограбить арабов-землепашцев, поселившихся на другом берегу Иордана. Эти добрые люди, заплатив свою подать и полагаясь на мирное время, не могли ожидать нападения; у них отняли 2200 коз и баранов, 94 теленка, 1000 ослов и 6 кобыл лучшей породы; одни только верблюды спаслись. <...> Никакой европеец не в состоянии придумать, что этот паша сделал с своею добычею. Он наложил на каждую скотину тройную цену, а мясники, жители Иерусалима, и старшины ближних деревень раскупили их по этой таксе: они принуждены были это сделать – или плати деньги, или будешь удушен. Признаться, я не поверил бы тому, но сам, к несчастью, видел своими глазами [1. Т. 10, кн. 2. С. 325].

Уезжая из Иерусалима, паша оставляет его без охраны, которую не на что содержать, и город постоянно грабят «шайки разбойников». Разоренные деревни, расположенные вокруг Иерусалима, начинают бунтовать, «между ими открывается междоусобная война, производимая наследственными враждами. Всякое сообщение прекращено; землепашество гибнет; земледелец приходит ночью в виноградник своего неприятеля, подрезывает его виноград и портит его оливы. На другой день паша возвращается и налагает ту же самую подать на истощенный и уже против прежнего малочисленнейший народ. Для исторжения там подати надлежит удвоить и насилие, и целые селения уничтожаются вконец; мало-помалу пустыня растет; не видишь более ничего, кроме нескольких хижин, кое-где рассеянных, падающих и ветхих; у дверей сих хижин беспрестанно расширяются кладбища; каждый год погибает хижина и семейство, и скоро останется одно только кладбище для означения того места, на котором некогда было селение» [1. Т. 10, кн. 2. С. 325].

Одним словом, Палестина и ее центр Иерусалим воспринимаются нарратором как пространство, утратившее из-за грехов, продолжающих множиться день ото дня, свое земное величие и величие населяющего Святые земли богоизбранного народа. Здесь повествователь находит подтверждение тщетности надежд на бесконечное земное счастье и владычество, прозревая вместе с тем в печальном настоящем и великое прошлое, и вечное будущее, и то и другое связывая с духовным возвышением человека и человечества.

«Библейские повести» также относятся к ранним обращениям Жуковского к теме Палестины. В них образ Святой земли, в отличие от переведенных из Шатобриана травелогов, вновь возникает в связи с ветхозаветными мотивами, как это уже было в повести о Левите Ефраимском. Но в «Библейских повестях» Жуковский работает с прозаическим переложением библейских текстов, в частности с жанром притчи, библейской легенды, впервые преследуя воспитательные задачи. Автографы «Библейских повестей» сохранились в архиве писателя среди тетрадей с текстами, предназначавшимися ученице

поэта – великой княгине Александре Федоровне для чтения и перевода с русского языка на немецкий.

В.И. Резанов и И.А. Бычков датируют повести концом 1810-х гг. Но поскольку их создание связано с преподаванием Жуковским русского языка великой княгине Александре Федоровне, время работы над повестями можно уточнить – это конец 1817–1819 г. Вероятно, «Библейские повести» являются переводами из какого-нибудь издания «Детской Библии» или «Иллюстрированной Библии» (в ряде случаев притча заканчивается описанием и «изъяснением картинки», которая должна была быть приложена к тексту). Это издание установить не удалось, но можно указать на наличие в библиотеке Жуковского ряда подобных книг на немецком языке, с которыми он знакомился в разные годы. См.: [7. № 665, 667, 668, 670–672, 2584].

В «Библейских повестях» отчетливо выражен православный пафос в отношении к Святой земле, переданы мотивы и образы Священного Писания, которому Жуковский тщательно следует, в том числе и говоря о Палестине. Вместе с тем Жуковского как писателя могла привлечь «реалистичность повествования» в притче, т.е. то, что «аллегорические образы в них не воспринимаются как вымышленные, фантастические» [8. С. 420], а также то, что притча повествует «о действительности в обобщенно-трансформированной форме», фиксируя то, что кажется «неизменным и случается постоянно» [9. С. 45]. При этом «Библейские повести», создававшиеся в атмосфере работы над стихотворениями «Утренняя звезда», «К ней», «Невыразимое», запечатали поиски Жуковским возможностей соединения описания и психологизма, философии и эстетики. «Библейские повести» насквозь пронизаны «мистическим чувством», ощущением таинственности и невыразимости бытия. Их основой оказывается лиризм, позволяющий трансформировать библейские притчи в «Библейские повести», обращенные от души автора к душе ученицы.

Отдельно в этом контексте следует выделить стихотворение 1814 г. «Библия», являющееся переводом одноименного стихотворения французского классициста Л. де Фонтана. А.С. Архангельский указывает на то, что Жуковский предполагал перевести и стихотворение Фонтана «Страшный суд», но этот замысел остался неосуществленным [10. Т. 2. С. 139]. «Библия» Жуковского – это краткое поэтическое переложение книг Ветхого Завета с отчетливой оппозицией грехопадения иудейского народа и его грядущего спасения, отраженной в двух противостоящих пространствах: цветущего Эдема, «на берегу Иордана», где жил и вечно будет жить «восторг», и Сионского холма, на котором был построен Иерусалим и в котором должны воссоединиться израильские племена и появится на свет «Младенец-Бог Мессия». «Мистическим чувством», осознанием великих утрат и предощущением таинственного и невыразимого воссоединения человека с Богом наполнены все упоминающиеся в стихотворении точки Святой земли, все события, происходившие на ней, и все участники этих событий.

Занимаясь с великой княгиней, Жуковский не только помогал ей учиться говорить, читать и писать по-русски, но и, по выражению Б. Зайцева, «перестраивать душу для российской жизни» [11. С. 79]. Принцесса Шарлотта Прусская, вступив в брак с великим князем Николаем, оказалась в новой, чу-

жой для нее стране: чужая культура, чужой язык, переход в новую веру, очень трудный для нее, глубоко религиозного человека. Изящный, «тихий» Жуковский утешает ее печали. В письме И.И. Дмитриеву от 20 сентября 1817 г. он пишет: «<...> должность, мне теперь порученная, есть счастливая должность, счастливая не по тем выгодам, которые могут быть соединены с нею, но по той необыкновенно приятной деятельности, которой она меня подчиняет. Для поэта это главное» [12. Т. 6. С. 428]. Именно для выполнения своей «счастливой должности» Жуковский и начинает работу над «Библейскими повестями», книгой поэтических, художественных переложений библейских текстов. Позднее, размышляя о преподавании Закона Божия уже сыну Александры Федоровны – великому князю Александру Николаевичу, поэт пишет: «Найди мы только богослова, сведущего по части догматов, Закон Божий ничего бы не выиграл для Вашего ребенка и для его будущей судьбы. Требуется религия сердца. Ему необходимо иметь религию просвещенную, благодушную, проникнутую уважением к человечеству» [12. Т. 6. С. 282]. Главную роль в постижении учеником истины, по Жуковскому, играет «свет чистой прекрасной души» учителя, в проекции на литературу эта мысль оборачивается утверждением принципиального значения авторского начала в художественном произведении и его органического синтеза с началом эпическим.

Осуществление замысла почти в самом начале его было прервано (возможно, в связи с болезнью и отъездом Александры Федоровны и писателя, в составе ее свиты, за границу). Под общим заглавием «Библейские повести» записаны только три произведения: «История Авраама», «Исаак» и «Исав и Иаков». Они представляют собой поэтический пересказ ряда глав из первой части Пятикнижия Моисеева – «Бытия». В повестях нет случаев искаженной, неточной передачи Слова Божия, нет декларативных вступлений или заключений, почти отсутствуют пояснения откровенно дидактического, нравоучительного характера (исключение составляет лишь финал повести «Исав и Иаков»).

Между тем особое внимание в повестях уделено именно образу автора, стремящегося не только утвердить в сознании читателя определенные истины, но и выразить состояние их поиска, проникновения за завесу, скрывающую божественную суть всего сущего. Кроме того, авторская позиция, опирающаяся на библейскую концепцию мира, организует повести в некое целое. В этом плане прежде всего интересна композиция каждого отдельного произведения и «Библейских повестей» как некоего цикла, оставшегося, правда, незаконченным. Жуковский начинает свою работу с переложения рассказов о праотцах избранного народа, давшего миру Спасителя. При этом лист 1 с оборотом [13] оставлен чистым. По-видимому, здесь должны были быть записаны легенды о сотворении мира и человека, к которым Жуковский предполагал обратиться позднее. Но сначала он берется за подготовку своей ученицы к постижению центральных ветхозаветных преданий о духовной истории человечества, предшествовавшей христианству.

Рассказ о жизни духовного родоначальника человечества Авраама на земле обетованной начинается с пересказа обетования Божьего: «Бог обещал им сына, от которого должно было произойти потомство, столь многочисленное, как звезды на небе, как песок на берегу моря. И они верили обеща-

нию Божию (1 слово нрзб.). Бог сказал Аврааму: "Потомки твои будут долгое время угнетены чужим народом; это продолжится более четырехсот лет; потом они освободятся и завладеют всюю землею Ханаанскою. И, наконец, один из потомков твоих будет спасителем человеческого рода". Такие великие обещания радовали Авраама, и он с покорностью и терпением ожидал исполнения их» [13. Л. 3 об.]. Смысловым центром «Истории Авраама» становится описание одного из явлений (четвертого) Господа Аврааму. Здесь вводятся основные библейские идеи – Завета Божьего и полной веры всему, что говорит Бог. Легенда о богоявлении Аврааму у дуба Мамрийского обнажает самый нерв религиозного мировидения – «жажду прорваться сквозь грех к святости» [14. С. 483].

Повесть композиционно выстроена так, что идея всеведения Господа органично переходит в открытие истины о Божьем суде, карающем грешников даже в этой жизни. В свою очередь, последнее переплетается с идеей покаяния (фрагменты о Содоме и Гоморре, о расторгшейся под ними земле и образовавшемся на этом месте озере, о спасении Лота и превращении его жены, ослушавшейся запрета Ангелов, в соляной столп соединяются с историей Сары, рассмеявшейся на обетование Господа, а затем раскаявшейся в своем смехе). Тонкий узор, сотканный из отдельных библейских историй, звучащих рефреном, переплетающихся, перекликающихся своими идеями, проблемами и образами, оказывается гармонически целостным, завершенным и вместе с тем требует продолжения. Повесть и каждая ее часть остаются открытыми в финале, являя собой целостность и одновременно часть целого. Система сквозных идей диктует необходимость, говоря словами А.Ф. Лосева, «объединенности единичностей», которая возникает благодаря главному лейтмотиву повести – идее высшей воли, организующей целостность повествования. Она является главной характеристикой земли Ханаанской, где происходят описываемые события.

Так, рассказ о рождении Исаака, обещанного Господом Аврааму и Саре, сопровождается сюжетом об изгнании Авраамом своего сына от невольницы Агари – Измаила: «Надобно признаться, что Авраам поступил с ними жестоко. Но Бог спасает тех, которые с терпением сносят несчастья и смиренно ожидают его помощи. Агарь, не зная дороги, заблудилась в пустыне. Жар был жестокий, жажда их мучила, они уже выпили всю свою воду, и нигде не было источника. Маленький Измаил падал от слабости, кричал, просил напиться, но Агарь не могла напоить его; она положила его под куст; сама села на горячий песок, закрыла руками лицо, чтобы не видеть, как умрет ее милый сын, и плакала горькими слезами. Вдруг услышала она голос: "Агарь! Не плачь", – сказал ей кто-то ласково и тихо. Она подняла голову. Перед нею стоял ангел Божий. "Ободришь, Агарь! – продолжал добрый ангел. – Бог посылает тебе спасение". Измаил был спасен, ибо ему было предназначено стать «прародителем великого народа» [13. Л. 4 об. – 5]. Сюжет о сыне Авраама от Агари – Измаиле, отнятие которого было первым испытанием Авраама, в свою очередь, предваряет рассказ о принесении Исаака в жертву Господу, которым заканчивается повесть и в котором вновь звучит идея божьей предопределенности всего сущего:

Вдруг Авраам получил от Бога повеление, которое привело его в ужас. Бог захотел испытать покорность Авраама, а может быть, наказать его за жестокий поступок с Измаилом, и повелел ему идти на гору, находившуюся в стороне, называемой Мория, и там принести в жертву Исаака... Как ни горестно было такое повеление для Авраама, но он покорился воле Божией; встал рано поутру, навьючил осла дровами, нужными для жертвенного костра, взял с собою сына и двух слуг и пошел в Морию. <...> он велел Исааку нести на гору дрова; сам взял огонь и жертвенный нож, и они пошли на высоту. Дорогою Исаак сказал Аврааму: «Отец мой! У нас всё есть для жертвоприношения: и дрова, и огонь, и нож! Но где же сама жертва?» «Господь Бог укажет жертву!» – отвечал Авраам. И они молча взойшли на вершину горы. Тут Авраам, склавши дрова в костер, сказал Исааку: «Ты жертва, избранная Богом!». И покорный Исаак лег на костер, готовый, подобно отцу, исполнить Божию волю. И Авраам поднял уже нож на сына. В эту минуту раздался голос с неба: «Авраам! Авраам!» «Я здесь!» – отвечал Авраам. «Не убивай сына твоего!..» Как утешилось Авраамово сердце; он снял с костра Исаака, обнял его, облил радостными слезами и в эту минуту увидел овна, зацепившегося рогами за ветви терновника. Этот овен заменил Исаака и был принесен Авраамом на жертву. Тогда опять послышался голос с неба: «Я дал обещание, что потомство твое будет многочисленно, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и что одним из потомков твоих (Иисусом Христом) будет спасен род человеческий. Мое обещание исполнится. Своею покорностью заслужил ты Мое благословение» [13. Л. 5–5 об.].

Отметим, что, вводя в повествование психологические детали внутреннего состояния библейских героев, Жуковский наряду с идеей Божьей воли заостряет и проблему свободы выбора первых людей, проживавших на земле обетованной, сложности принятия того или иного решения, напрямую связывая это с силой веры в Бога и его обетования и запреты.

Вторая повесть «Исаак» органично присоединяется к первой, описывая Авраама, уже потерявшего Сару, но наслаждающегося «смирненным счастьем» Исаака и жены его Ревекки: «...наконец его час приблизился; и Бог позвал его к себе; тело его похоронили в той же пещере, где находился и прах жены его Сары: что разлучила смерть, то смерть и соединила. Исаак наследовал его стада и сокровища, и Бог подтвердил ему обещание, данное отцу его Аврааму: «От племени твоего будет спасение народов» [13. Л. 2об. – 3].

Рассказ об Исааке становится прологом к следующей, третьей повести – «Исав и Иаков», где в центре оказывается пересказ легенды о том, как Исав уступил свое первородство Иакову за чашу чечевицы. Показательно, что Жуковский, не особенно акцентируя, но и не опуская центральную, по богословскому толкованию, идею «выделения и очищения богоизбранного семени», вновь концентрирует внимание на проблеме свободы нравственного выбора личности – одном из главных вопросов своего творчества и особое внимание уделяет идее ответственности человека за проявление своей воли: «Уступи мне обед твой, – сказал он брату, – я умираю от усталости». «Уступи мне прежде свое первородство», – отвечал Иаков. «Возьми его! Если умру, то какая мне польза быть старшим!». Иаков согласился, и таким образом легкомысленный Исав променял без позволения отца важные права первородства

на чашу простой чечевицы. Поступок его нехорош, но Иаков поступил не лучше: он употребил во зло добросердечие и легкомыслие своего брата; такое дело не могло не иметь дурных последствий» [13. Л. 3]. Переводя идею нарушения запрета отца земного, за которым неизменно стоит воля Отца Небесного, в нравственно-этический план, Жуковский между тем подчеркивает и идею неслучайности всего того, что случилось в дальнейшем не только с братьями Исавом и Иаковом (от которого непосредственно ведут свою родословную все праотцы Израиля), но и с израильским народом. Соотнесение Жуковским свободы воли человека со всемогущей высшей волей во всех библейских повестях, действие которых происходит на Святой земле, где закладывались все первоначала бытия, не означает их противоречия. Искренняя вера в Бога и делает героев повести по-настоящему свободными – такова авторская позиция. Это любимая мысль Жуковского, и позднее она не раз будет звучать в его произведениях, письмах.

В силу непознаваемости первоосновы мира, Бога «космос» пространства, в котором происходили события, повлиявшие на ход дальнейшей истории человечества, покрыт ощущением сокрытого во всем конечном, видимом бесконечного, божественного начала, которое невозможно передать методом простого «называния». В мире «Библейских повестей» Жуковского, где воссоздается история земли обетованной и населявших ее людей, говоря словами П.А. Флоренского, «бытие, которое больше самого себя» [15. С. 287], вера напрямую связана с философией, этикой, психологией, конкретность – с ассоциативностью, субъективное – с объективным, что и потребовало от Жуковского обращения к символам, к образно-символическим параллелям, активно осваиваемым писателем в поэзии в силу их способности выразить «невыразимое». Именно поэтому наполненные глубоким религиозно-нравственным, философским содержанием поистине эпического масштаба, «Библейские повести» Жуковского отнюдь не напоминают проповедь. Принципом построения текста становится символ. Отсюда особая пространственно-временная организация повестей, когда прошлое, единичное, прикрепленное к конкретному пространству, вместе с тем устремлено в вечность и пространственную бесконечность. Отсюда особый «космос», по сути, каждого образа, каждого мотива «Библейских повестей». Слово в «Библейских повестях» Жуковского связано с «называнием» сущности и вытекающим отсюда процессом жизнестроения.

Учительный пафос «невыразимого» в «Библейских повестях» Жуковского оказывается как бы растворенным в нем. Они не являются традиционной «учебной книгой». Далекие от голой дидактики и назидательности, от схем и аллегорий, философской строгости, богословского догматизма и авторитарности, «Библейские повести» Жуковского-романтика действуют на читателя красотой, «поэзией» философско-этического, нравственно-религиозного поиска, в котором нет и не может быть отвлеченности и безликости. Напротив, в «Библейских повестях» автором создана атмосфера внутренней сосредоточенности человека над миром, прообразом которого является Святая земля, носительница божественной сути человека, созданного быть слабым и сильным одновременно.

Литература

1. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–2014.
2. Бычков И.А. Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет ИРБ за 1884 г. СПб., 1887.
3. Библиотека В.А. Жуковского в Томске: в 3 т. Томск, 1978–1988.
4. Rousseau J.-J. Collection completes. Genève, 1782.
5. Мифы народов мира: в 2 т. М., 1991–1992.
6. Двенадцать колен Израиля. URL: <http://www.studio-tree.com/ru/12-kolen.html>
7. Библиотека В.А. Жуковского: (Описание) / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981.
8. Древнерусская притча / сост. Н.И. Прокофьев, Л.И. Алехина. М., 1991.
9. Лихачев Д.С. Славянские литературы как система // Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. М., 1968.
10. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб., 1902.
11. Зайцев Б.К. Жуковский // Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991.
12. Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. 7-е изд. СПб., 1878.
13. РНБ, ф. 286 (В.А. Жуковский), № 94-1.
14. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1987.
15. Флоренский П.А. Имяславие как философская предпосылка // Флоренский П.А. Сочинения. М., 1990. Т. 2.

THE IMAGE OF PALESTINE IN THE WORKS OF V.A. ZHUKOVSKY (ARTICLE I).
 TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37). pp. 124–144.

DOI 10.17223/19986645/37/10

Ayzikova Irina A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wand 2004@mail.ru-

Keywords: V.A. Zhukovsky, Romanticism, Palestine, Russian literature, the Bible, motif, image.

The article presents the first attempt of a systematic study of the topic of Palestine in the work of V. A. Zhukovsky. Although the Russian romantic had never been to the Holy Land, motifs and images associated with Palestine are constantly present in his poetic and prose texts. Zhukovsky turns to the topic and image of Palestine in two periods: the 1800s–1810s, the time of his “poetic” attitude to faith and the Scripture, and the 1840s, marked by the deep religiosity of the writer. In the 1800s–1810s, Zhukovsky made some prose translations connected with the Palestinian theme: *The Levite of Ephraim* (J.J. Rousseau), “On the Manners of the Arabs”, “The Journey of Chateaubriand in Greece and Palestine” (from *Record of a Journey from Paris to Jerusalem and Back* by R. Chateaubriand), and a prose retelling of several chapters from *The Being*, the first part of the Pentateuch by Moses, compiled under the title “Biblical Stories” (“The Story of Abraham”, “Isaac” and “Jacob and Esau”). In the 1840s Zhukovsky wrote such works connected with the topic and image of Palestine as *The Story of Joseph the Beautiful*, a transversion of the legend Joseph, a favorite son of Jacob, which continues the aesthetics and poetics of the prose *Biblical Stories* Zhukovsky created in the late 1810s; *The Egyptian Darkness*, a transversion of the Old Testament story of the penultimate plague of Egypt about the “thick darkness” spread out across all the land of Egypt for three days; the poem “A Wandering Jew”, the main events taking place in the Holy Land, and a transversion of the Apocalypse. The study of these and other “Palestinian” materials in Zhukovsky’s oeuvre allows specifying the particular poetics and the genre-stylistic system of his works, exploring the unknown page in the history of cultural contacts of Palestine and Russia in the 19th century and seeing the influence of Zhukovsky on the formation of the image of the Holy Land in the Russian literature of the 19th century. It opens prospects for the study of the creative dialogue of Zhukovsky with other Russian writers, especially with N.V. Gogol. It also stresses the importance of understanding of the theme and image of Palestine to realize the logic of the worldview of the first Russian romantic, who laid some of the foundations of the history of Palestinian topic perception in the Russian literature and Russian society of the first half of the nineteenth century and, more broadly, intercultural communication of this era. The author of the article finds important the connection of the Palestine topic with the pedagogical vision and practice of Zhukovsky.

References

1. Zhukovsky, V.A. (1999–2014) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete works and letters: in 20 v.]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

2. Bychkov, I.A. (1887) Bumagi V. A. Zhukovskogo, postupivshie v Imp. publ. biblioteku v 1884 g. [V.A. Zhukovsky's papers received by the Imperial Public Library in 1884]. In: *Otchet Imperatorskoy Publichnoy biblioteki za 1884 g.* [Report of the Imperial Public Library for 1884]. Petersburg.
3. Romanova, N.B. (ed.) (1978–1988) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomske: v 3 t.* [Library of V.A. Zhukovsky in Tomsk: in 3 v.]. Tomsk: Tomsk State University.
4. Rousseau, J.-J. (1782) *Collection completes* [Complete works]. Génève.
5. Tokarev, S.A. (ed.) (1991–1992) *Mify narodov mira: v 2 t.* [Myths of nations of the world: in 2 v.]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
6. *Dvenadtsat' kolen Izrailya* [The Twelve Tribes of Israel]. [Online]. Available from: [http:// www.studio-tree.com/ru/12-kolen.html](http://www.studio-tree.com/ru/12-kolen.html).
7. Lobanov, V.V. (1981) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo (Opisanie)* [Library of V.A. Zhukovsky (Description)]. Tomsk: Tomsk State University.
8. Prokof'ev, N.I. & Alekhina, L.I. (1991) *Drevnerusskaya pritcha* [Old Russian Parable]. Moscow: Sovetskaya Rossiya.
9. Likhachev, D.S. (1968) Slavyanskije literatury kak sistema [Slavic literature as a system]. In: Markov, D.F. & Robinson, A.N. (eds) *Slavyanskije literatury. VI Mezhdunarodnyy s'ezd slavistov* [Slavic literature. VI International Congress of Slavists]. Prague.
10. Zhukovsky, V.A. (1902) *Polnoe sobranie sochineniy: v 12 t.* [Complete works: in 20 v.]. St. Petersburg.
11. Zaytsev, B.K. (1991) Zhukovskiy [Zhukovsky]. In: Zaytsev, B.K. *Dalekoe* [The Far]. Moscow: Sovetskij pisatel'.
12. Zhukovsky, V.A. (1878) *Sochineniya: v 6 t.* [Works: in 6 v.]. 7th ed. St. Petersburg.
13. National Library of Russia. Fund 286 (V.A. Zhukovsky). 94–1. (In Russian).
14. Losev, A.F. (1987) *Dialektika mifa* [Dialectics of myth]. Moscow: Pravda.
15. Florensky, P.A. (1990) Imyaslavie kak filosofskaya predposylka [Worshiping as a philosophical premise]. In: Florensky P. A. *Sochineniya* [Works]. V. 2. Moscow: Pravda.

УДК 821.161.1 + 82–92 + 82–43
DOI 10.17223/19986645/37/11

Е.В. Костецкая

ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА В ОЧЕРКОВОЙ ПРОЗЕ «ТОБОЛЬСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» (1850–1860-е гг.)

В статье рассматривается роль газеты «Тобольские губернские ведомости» в создании образа региона. В очерках «Тобольских губернских ведомостей» середины XIX в. начинает выработываться поэтика художественно-документального описания сибирских реалий. Публикации писателей-очеркистов Н.А. Абрамова, И.И. Завалишина включают в себя различные по тематике историко-краеведческие материалы – от природных наблюдений и статистики до художественных описаний родного края с его природой, историей, людьми.

Ключевые слова: литература Сибири, «Тобольские губернские ведомости», образ региона, мифологизации пространства Сибири, газетный очерк.

Исследователи неоднократно обращали внимание на необходимость и плодотворность структурно-семиотического подхода к изучению региональных текстов [1, 2]. Исходным здесь является тезис В.Н. Топорова «пространство есть текст» [3. С. 227]. На региональном уровне литература рассматривается как детище определенного места, которое тематизируется в качестве вещи-символа и в качестве текста [4. С. 11]. Обозревая материалы первых сборников конференции «Литература Урала: история и современность», И. Козлов говорит о роли места и среды в определении принципа региональности литературы: «Место, ландшафт, окружающая среда (мистически обнимающая и проникающая сознание человека) не создают ли особенной литературы? Ведь в этом случае ярлык провинциальности как культуры «второго сорта» меняется на титул региональности» [5. С. 250].

Структурно-семиотический подход к изучению регионального литературного наследия представлен в трудах В.В. Абашева. В соответствии с логикой исследователя необходимо «увидеть слово на фоне места, понятого в его собственной поэтике или геопоэтике». В.В. Абашев подчеркивает, что изучение литературы региона только во временном, историческом аспекте обнаруживает на местном уровне лишь повторение общих тенденций. Поэтому целесообразно рассматривать литературную жизнь и в пространственном отношении, понимая территорию как часть культурной среды [6. С. 51]. Со временем место накапливает культурные смыслы, приобретает свою символику, обретает свой язык, свою поэзию. Локальная семиотика начинает работать как самостоятельный аспект среды и оказывать влияние на человека и различные культурные практики.

Идеи современных исследователей региональных текстов во многом инспирированы трудами Н.П. Анциферова. По его словам, душа составляет основу образа города, который исторически развивается: «...смена эпох создает постоянно меняющийся – текучий образ города и вместе единый в чем-то

основном, составляющем его сущность как органического целого» [7. С. 285]. Н.П. Анциферов предлагает исследовать образ города через познание его внешнего облика (анатомии, физиологии) к постижению души. К предмету анатомии города относится место, на котором он построен, особенности почвы, рельефа, растительности, планировка и т.п. [8. С. 18]. Изучение физиологии города предусматривает исследование состава населения, места общежития, торгово-промышленного центра, транспортного узла (включая почту, телефон и радио), медицинского центра, коммунального хозяйства, администрации, военного центра, мест сосредоточения духовной культуры, центров развлечений [8. С. 20–21]. Литературовед подчеркивает, что для иллюстрации внешнего облика города важны вопросы быта. Например, авторы сборника «Физиология Петербурга» сосредоточили свой интерес на быте, сделав образ города лишь фоном при описании его физиологии. Однако главной задачей является постижение души города, под которой Н.П. Анциферов понимает исторически проявляющееся единство природного, исторического, социально-бытового, духовно-культурного бытия его граждан: «Душой города мы условимся называть исторически сложившееся единство всех элементов, составляющих городской организм, как конкретную индивидуальность» [8. С. 23]. Такие элементы, как городской пейзаж, исторические судьбы, хранилище воспоминаний, характер населения, выражение художественных вкусов, имеют особое значение для постижения души города [8. С. 29].

История формирования образа родной территории становится одним из ключевых компонентов регионального литературного процесса, о чем свидетельствуют исследования «сибирского текста», репрезентации Сибири в художественно-публицистических текстах [9, 10].

Существуя на границе художественного и документального дискурсов, краевая газета «Тобольские губернские ведомости» (далее – «ТобГВ») становится частью сибирского текста. В газетных публикациях проявляют себя признаки художественного творчества: авторский стиль, направленность на эстетическое восприятие газетного материала, образность, мифологизация хронотопа Сибири. Современная и историческая Сибирь в многочисленных публикациях губернской прессы обретает смысл, формульность. Семантика места закрепляется в системе художественной топики. При этом вырабатывается и собственная поэтика художественно-документального описания сибирских реалий.

В системе публикаций «ТобГВ», посвященных этнографическим описаниям разных территорий Тобольской губернии, основное место занимают очерки Н.А. Абрамова. Известный краевед, собиратель материалов о сибирской старине становится видным сотрудником газеты, с первых номеров регулярно публикуя в неофициальной части материалы по истории Сибири. Н.А. Абрамов был хорошо образован, владел несколькими языками, знал труды описателей Сибири Г.Ф. Миллера, Н.М. Карамзина, И.Э. Фишера, П.А. Словцова. Плодотворное общение с П.А. Словцовым, которого он считал своим наставником и учителем, а также усердная работа в тобольском архиве позволили Н.А. Абрамову представить подробную картину жизни губернских городов и их окрестностей.

Сибирский писатель создает образ родного края, его анатомический, физиологический и духовно-культурный портрет. В историко-этнографических очерках Абрамова образ Тобольской губернии складывается из описания городов Копала, Семипалатинска, Тюмени, Усть-Каменогорска, Ялуторовска и др. Описание дается по общей схеме: исторические сведения, население, местоположение, городской ландшафт, климат, окрестности, воды, пути сообщения, управление, просвещение, вероисповедание, промышленность и торговля, сельское хозяйство, древности и достопримечательные события. Документальность очерков проявляется в подробном изложении исторических фактов, характеристике географических реалий, привлечении статистических, демографических, этнографических данных, включении ссылок на архивные источники и научные работы.

При подчеркнутой документальности очерки Н.А. Абрамова носят художественно-публицистический характер. Такое сочетание научного и художественного методов описания стало традиционным для многих сибирских текстов XIX в. благодаря «Историческому обозрению», «Письмам из Сибири», «Прогулкам вокруг Тобольска» П.А. Словцова. Наравне с научными текстами в текст очерков Абрамова обширно включаются местные легенды и предания. Фольклорные сюжеты помогают лучше понять историю края, в них обнаруживает себя мифология места: «Малейший шаг в сокровенную глубину народных преданий и всякое приобретение в области туземной старины не могут не заслуживать внимания» [11. С. 42]. Статьи «Гора Алафейская», «Каменная пирамида. Надмогильный памятник Козу-Курпеча и Баян-Сулы, в киргизской степи», «Слобода Царево-Городище с окрестностями...», «Город Копал» и др. насыщены фольклорными материалами из истории татарского народа.

Н.А. Абрамова интересуют народные рассказы о происхождении названий местностей и их символике, о связанных с конкретной территорией исторических событиях и именах. Так, предание рассказывает о явлении умершей ханской дочери, разбуженной в Царев-Кургане кладоискателями: «В одну летнюю полночь, когда кладоискатели разрывали курган, вдруг из глубины его, на окованной серебром колеснице, запряженной двумя белыми лошадьми, показалась девица красавица с распущенными волосами, в блестящем разными дорогами камнями головном уборе и богатейшем татарском платье» [11. С. 44]. Еще одна киргизская легенда говорит о трагической любви дочери султана и простого киргиза, убитых за ослушание. Мифологическими мотивами о предсказаниях рождения и смерти, о сказочных испытаниях героев, о чудесных избавлениях от смерти, о превращениях и оживших возлюбленных насыщена другая киргизская поэма о любви Козу-Курпеча и Баян-Сулы. Фольклор помогает читателю ведомостей понять народный характер, нравы, обычаи многонациональной Сибири в исторической перспективе. В фольклорных интерпретациях истории и географии находит отражение взгляд сибиряков на их родину.

Постижению души места способствует наблюдение за характером населения, черты которого становятся понятны читателю благодаря включению в текст демографических и этнографических данных, описаний быта, религии, языка, художественных вкусов местных жителей. Эти элементы дают пред-

ставление о национальных типах характера остяков, самоедов, русских и др. Наряду со статистическими данными в очерках немало художественных описаний – портретов, бытовых зарисовок, характеристик нрава жителей того или иного города. Причем Абрамов редко бывает бесстрастным: его очерки отличаются разнообразием интонации – от патетики до иронии.

Наблюдения Н.А. Абрамова создают многомерный облик Тобольской губернии, определенный самой территорией, где скрещиваются разные национальные культуры, типы хозяйствования, языки. Авторская концепция истории края, субъективный взгляд на соотношение природы и культуры лежат в основе той ценностной иерархии, которая обнаруживает себя как в отдельных очерках, так и в очерковом наследии Абрамова в целом. Ядром сибирской истории у него выступает священная история. Центром сибирского локуса оказываются памятники древней культуры, а подлинно духовным средоточием человеческой деятельности служат монастыри и церкви. Наиболее обширную группу исторических очерков Н.А. Абрамова составляют статьи, посвященные православным святыням Сибири: «Иоанно-Введенский Междугорный монастырь», «Абалакский Знаменский монастырь», «Тюменский Троицкий монастырь» и др.

Своеобразным символом Тобольска и всей губернии является икона Абалакской Божией Матери, особо почитаемая тоболяками: «Бесчисленные чудеса, совершавшиеся и совершающиеся пред этою иконою, рождают особенное перед ней благоговение <...> многие тысячи людей <...> стекаются на сие священное торжество Богоматери <...>. Каждый приносит сюда свою душевную мысль, свою просьбу, свое благодарение Богу» [12. С. 116]. Не случайно на страницах «ТобГВ» регулярно появляются заметки о торжественных встречах и проводах иконы. Н.А. Абрамов обращает внимание на то, что в эти торжественные моменты «представляется отличное явление набожности народа» [12. С. 116]. Сочетание пейзажных и портретных характеристик в описании крестного хода дает представление о проявлении души города – духовного центра Сибири: «...в удивительном стечении народа икона как будто на общих руках несется в Собор. Звон колоколов производит чувство радости в сердцах народа, который молится и проливает слезы. Можно ли без умиления смотреть на эти слезы, которые не затопчутся ногами шествующих, но будут гореть, с елеем в лампаде перед ликом Приснодевы» [12. С. 117].

Описание сибирского города Н.А. Абрамов соотносит с природой и климатом, которые оставляют свой отпечаток не только на городском ландшафте, но и на характере жителей. Действие природы на облик города передается в описаниях весны, лета, осени, зимы. Статья «О климате в г. Березове» сочетает приметы документально-научного и художественного стиля. Достоверные метеорологические данные дополняются образным описанием климатических наблюдений.

Городской пейзаж выступает средством создания образа уездного города, который воспринимается в сознании читателей как пустынный, суровый край, где большая часть года отводится на зиму. Местная весна напоминает зиму: «Являются первые вестники весны – белые санигири <...>. На местах, более подверженных действию солнечных лучей, появляются проталины, на

которых слышатся крики прилетевших лебедей; но за всем тем, снег еще лежит как зимою» [13. С. 2–3]. Летом «здешний край не кажется пустынею»: «попынь и крапива, пригреваемые солнцем, начинают оживать», «деревья и кустарники одеваются зеленью», «шиповник украшается розами», – «езде бьется пульс жизни, везде деятельность» [13. С. 3–4]. Но ранняя осень вновь приносит с собой тоску и безжизненность: «Вообще в природе заметно какое-то уныние» [13. С. 4]. Особенное впечатление на читателя оказывает гиперболлизированное описание зимы в уездном Березове: «Иногда мороз с копытю захватывает дыхание у человека и выдыхаемый пар превращается в иней, стекла в окнах лопаются, шелкают стены домов, лед и земля растрескиваются <...>. Безмолвная пустыньность царствует в полутемном городке, взору представляются лишь необозримые равнины снега» [13. С. 5]. На фоне простой жизни природы и закономерной смены времен года явственнее представляется характер бессобытийной провинциальной жизни. Таким образом, пейзажные образы газетных очерков Н.А. Абрамова являются средством мифологизации пространства губернии, которое мыслится еще и как место безысходности и одиночества.

Н.А. Абрамов закрепляет в сознании читателя представление о сибирских городах как местах ссылки государственных преступников. С одной стороны, этот факт характеризует губернию как «гиблое» место, с другой – исторические личности, связавшие свою жизнь с Сибирью, стали героями местной истории. В физиологических очерках Н.А. Абрамова устанавливается связь между природными объектами и символическими фигурами русской истории: Иртыш – Ермак, Березов – Меншиков, Барабинская степь – Чичерин.

История губернии становится частью общероссийской истории. В очерке «Ермак – покоритель Сибири» Н.А. Абрамова Ермак провозглашается героем, «близким сердцу сибирских жителей»: «Да, Ермак был великий человек, – герой и с этим именем пусть останется на веки у потомства» [14. С. 152]. Историческое описание дополняет поэтический образ героя из драматической поэмы И.И. Дмитриева «Ермак»:

Великий! где б ты ни родился,
Хотя бы в варварских веках,
Твой подвиг жизни совершился;
Хотя б исчез твой самый прах [14. С. 152].

Патриотическое звучание очерка о Ермаке усиливает отрывок из стихотворения «К Сибири» П.А. Словцова, которое утверждает в сознании читателей миф о богатстве Сибири. Богатой и могущественной Сибирью должны гордиться современники и потомки:

Дщерь Азии, богато наделена,
По статным и дородным раменам
Бобровую порфирой облеченна,
С соболями хвостами по грудям.
Царевна! серебряный венец носяща
И пестрой насыпью камней блестяща.
Славян наперсница, орд грозных мать –
Сибирь тебя мне любо вспоминать [14. С. 152].

Использование литературно-художественных и фольклорных источников наравне с документом, опора на общее мнение, апелляция к опыту читателя, кровно связанного с жизнью региона, служат основанием для создания авторского образа Сибири, художественной поэтики сибирского пространства. В прозе Н.А. Абрамова развивается сквозной сюжет, посвященный не столько покорению Сибири, сколько ее духовному преображению, вхождению огромной территории в историю России. Историческими и сакральными центрами пространства Сибири в интерпретации Абрамова становятся монастыри и православные храмы, символизирующие исторический путь и судьбу территории. Такая историзация пространственного образа адресована «своему» читателю и направлена на формирование самосознания сибиряка.

Подобные способы формирования сибирской идентичности были общим явлением для ведомостей других сибирских губерний. В частности, в «Томских губернских ведомостях» находят выражение те же тенденции: газета ставит своей задачей показать жизнь края с точки зрения местного жителя, изображать события губернской жизни как значимые факты сибирской истории и повседневности. Авторы публикуют исторические, краеведческие, этнографические статьи, помещают на страницах издания биографические материалы об известных личностях, связанных с местной историей, статьи о самобытности Сибири, способствуя утверждению регионального самосознания [15].

В начале 1860-х гг. одним из сюжетов публикаций сибирских губернских ведомостей становятся материалы о Сибири И.И. Завалишина. В 1863 г. на страницах «Томских губернских ведомостей» появляются объявления об издании книги «Описание Сибири» И.И. Завалишина [15. С. 50–51]. В «ТобГВ» публикуются «Путевые заметки» И.И. Завалишина. Публикация заметок в нескольких номерах ведомостей вызвала их бурное обсуждение на страницах газеты. Особенно активно критиковал записки И.И. Завалишина Н.М. Чукмалдин за отсутствие правдивости в изображении тюменской жизни. Действительно, в них нет подробных этнографических, статистических наблюдений, исторических исследований. Цель заметок – эмоциональная передача собственных впечатлений автора от увиденного, полемическая и нередко ироническая оценка сибирских реалий. Ошибки в описании исторических и географических фактов, статистических наблюдениях вызваны не только слабой осведомленностью путешественника, но и намеренным заострением субъективного взгляда на Сибирь.

При этом композиция заметок провоцирует оценивать их с точки зрения достоверности. В повествовании преобладает хронологическая связь, характерная для жанра путевого очерка. В соответствии с ходом путешествия в поле зрения рассказчика и читателей попадают Туринск, Коркинская слобода, Липовка, Томилова, Тюмень, Ялуторовск. Исторические ракурсы редки, так как И. Завалишина больше интересует портрет современных губернских городов и их окрестностей.

Появление фигуры рассказчика не вполне традиционно для газетных публикаций «ТобГВ», тем более что очеркист присутствует в заметках как действующее лицо. Автор размышляет над фактами, свободно переключает внимание с одного предмета на другой, создавая ассоциативный сюжет па-

раллельно с сюжетом хронологическим. История входит в текст памяти повествователя, что придает очерку художественный характер.

Признаком авторской субъективности служат эпиграфы, сквозные мотивы, сны, детали-символы, диалоги. Автор обнаруживает себя в беллетризованном описании природы и городского быта: «Только окрестность дивно хороша и весела, в это раннее летнее утро; проснувшись, как и я, – она глядит сельски-мило. <...> И так я уже теперь в Тюменском!» [16. С. 354]. Особенностью стиля И. Завалишина является прямая оценка увиденного и иронический комментарий: «Что за отчаянные крюки да повороты, что за выбоины, что за мосты, даже пни патриархально торчат посреди разгову! Плохо же рекомендует себя богатая Тюмень!» [16. С. 367]; «Юродствовать вообще надо запретить, ибо это не в духе времени!» [16. С. 410]. От очерков сибирских авторов «Путевые заметки» отличает наличие художественного вымысла. Образное восприятие позволяет И. Завалишину создать условное пространство Тобольской губернии и Сибири. В описании городов много домысла, преувеличений, мифических представлений.

Общий тон «Путевых заметок» И. Завалишина задан печальными наблюдениями над тоскливой губернской жизнью. Дорожный колокольчик становится символом скучного путешествия по непозитичной и разочаровывающей дороге от Туринска до Ялуторовска: «Утомительно звенят колокольцы, а думы еще утомительней и неутешительней» [16. С. 353]. Меланхоличное настроение связано с идеей заметок – в главной губернии Сибири отсутствуют «общественный дух» и «жизненное начало». Эта идея объясняет двойственность созданного в «Путевых заметках» образа Сибири. С одной стороны, он связан с прошлым и настоящим, наполненным нищетой и душевной ленью. Другой лик обращен в будущее и связан с мифом о богатой и свободной Сибири, которой еще предстоит реализоваться.

Сибирь воспринимается читателем «Путевых заметок» И. Завалишина как дикий, первобытный край, где всюду заметна неустроенность, безграмотность, произвол чиновников. Это впечатление создает описание сибирских губернских городов, главным из которых является Тюмень. Впервые в «ТобГВ» в центре внимания оказывается не Тобольск, а Тюмень, которая представляется путешественнику лицом губернии, будущей столицей.

Вид городов Тобольской губернии и их окрестностей не вдохновляет, а удручает путешественника: «виды здешней местности незатейливы», «хлеба глядят вовсе не приветливо», «все селенья безобразно и дурно устроены», в общественных зданиях «вонь, грязь, духота, теснота», «почтовая станция – дрянь», гостинный двор как «чердак», «кладбища – навозные пустыри», «бедность и лохмотья на каждом шагу» – все «дико, пустынно, безотрадно» [16]. Неутешительное впечатление производит Тюмень, которая для Сибири «что Валдай для России». В богатой, но неряшливой и необразованной Тюмени как будто ничего не изменилось со времен Ермака Тимофеевича. Название деревни Томилова толкуется как метафора однообразной, скучной жизни. Вся губерния – болото, в котором застрял путешественник по дороге от Богандинской станции: «И вот очутились мы в лесу, окруженном топкими, еще не замерзшими болотами, в снежную вьюгу» [16. С. 408].

С натуры написаны портреты жителей губернских поселений. Характер сибиряка раскрывается в этнографических описаниях. Сибирь, как сама Россия, стала домом для посельщиков, каторжан, которые подают «худой» пример безнравственной и бесхозяйственной жизни: «Народ здесь озорной, вина много пьют, пропивается. Да и примеру худого много: расплодился посельщики, варнаки» [16. С. 355]. И. Завалишин рисует портреты ленивых и безграмотных чиновников-самодуров, пьяных мужиков, отдыхающих на службе писарей, благочинных без благочиния, лекарей, только числящихся на своем месте, и т.п. Выразителен портрет волостного головы: «Какая-то сертучная фигура держит у себя под носом указ Туринского земского суда, выкрикивая по складам <...> Икнул на все волостное правление и остановился» [16. С. 343]. Кроме отрицательно выписанных типов, есть редкие примеры деятельных, образованных личностей, которые способствовали развитию края. Среди них И. Завалишин называет «сибирским самородком» купца И.В. Иконникова.

Символично сравнение бессобытийной жизни дикой и темной сибирской губернии с первобытной Африкой: «Точно плывем мы по какой-нибудь пустынной реке срединной Африки, в полном отчуждении от мира!» [16. С. 389]. Художественные детали также создают образ «апатичной», неустроенной Тобольской губернии, которому часто ставится в пример цивилизованная Европа: «Печально горит сальный огарок в ржавом подсвечнике, да нещадно терзает слух конская брань ямщиков из-за очередей. Нет, воля ваша – это не комфорт и уж куда не Европа!» [16. С. 344].

Другое сравнение Сибири – с Европой – находит образное выражение в сне героя-рассказчика, которому привиделось, что «из России выродилась Англия», а Тюмень «обратилась в сибирский внутренний Ливерпуль» [16. С. 354]. Мечты о благоустройстве края связаны с идеалом свободной, богатой страны, которая представляется повествователю «другим миром». В основе этого идеала лежит уже сформировавшаяся к середине XIX в. мифология Сибири. Записки популяризируют миф о богатой, «избалованной похвалами» стране. В соответствии с мифом Сибирь представлена как «хранительница традиций», сюда завоеватели привносили культуру, которая «в этой глуши» сохранялась «упорнее и дольше», чем в других русских губерниях. Примером сохранения традиций являются особым образом почитаемые символы монаршего присутствия в Тюмени в 1837 г.: шлюпка, на которой переправлялся «Государь Наследник престола», будущий император Александр II, снимок с блюда, на котором были поднесены хлеб и соль, дом В.И. Иконникова, где останавливался Александр Николаевич. Рассказы о присутствии членов императорской семьи на сибирской земле являются частью местной мифологии.

Третья черта идеальной Сибири – свободная страна, которая «никогда не знала господского ига» и «издревле <...> была совершенно свободна» [16. С. 357]. Подобно Северной Америке, она не связана ни с прошлым, ни с будущим и «девственна от тлетворных влияний». Благодаря удаленности от столиц в ней медленно происходят изменения, поэтому она долго сохраняет традиционные культурные ценности. Автор обращает внимание на то, что Сибирь, находясь «на распутии Европы и Востока» и являясь «дверью в Ки-

тай и Индию», имеет выгодное географическое положение, что дает ей возможность быть в центре культурных контактов и заимствований.

Недоумение путешественника, почему столь богато одаренный край остается страной невежества, выражается в вопросах и рассуждениях, назидательном тоне статьи, в поучениях и рекомендациях «спящим» и «праздным» местным жителям. В рассказе о паровой прогулке поэтичный и живой пейзаж летней ночи контрастирует с описанием губернского праздника, который ничем не отличается от обыденности. Типичный провинциал не замечает «далекую песнь запоздалых косцов, мгновенное ржание коня, чирикание полусонной птички, качающейся в зеленой люльке, свесившагося на реку густого березника» [16. С. 389], потому что занят обычными делами: «Напротив – в мужской каюте-компании появились, лишь только набили желудки, неизбежные карты и горы кредитных билетов; а в дамской – кушали всякие сласти, да и то большею частию молча!» [16. С. 389]. Внимание читателей привлекает подчеркнуто медленное течение провинциальной жизни на фоне оживленной природы.

По ходу сюжета «Путевых заметок» усиливается критика жизни сибиряков, у которых «нет обычая жить по-людски, в ежедневной душевной беседе, в просвещенном обмене идей, в разговорах о том, что делается в мире» [16. С. 389]. Прощаясь с Тюменью, путешественник признается: «Меня так и порывает крикнуть им на весь их город: Когда же вы жить-то начнете?» [16. С. 399]. По мысли автора, миф о благополучной Сибири тогда станет реальностью, когда провинция станет источником того «жизненного начала, которое все ведет к лучшему» [16. С. 410].

Сам факт публикации беллетризованных «Путевых заметок» И. Завалишина в государственном печатном органе служит показателем стремления «ТобГВ» стать центром не только политической, общественной, но и литературной жизни губернии. Заметки инспирировали целый ряд читательских откликов, касающихся не только фактов местной жизни, но и вопроса о том, как об этих фактах должно писать, каким должен быть художник, заинтересованный в судьбе своего края.

Газетные тексты «ТобГВ» представляют собой сплав научно-описательной, публицистической, художественной традиции, что характеризует специфику сибирской литературы в целом. В 1850–60-е гг. в очерках «ТобГВ» получают развитие те тенденции региональной словесности, которые определились в творчестве ряда сибирских писателей. Сибирь изображается как страна свободы и изгнания, край богатств и нищеты, мир варварства и духовности. В документально-художественных текстах на страницах местных ведомостей рождается исторический образ Сибири, формируется региональное самосознание. Очерковая проза вселяет в сознание читателя идею особой миссии Сибири в истории России.

Литература

1. Тюпа В.И. Сибирский интертекст русской культуры // Тюпа В.И. Анализ художественного текста. 2009. С. 254–264.

2. Анисимов К.В. Парадигматика и синтагматика сибирского текста русской литературы (Постановка проблемы) // Сибирский текст в русской культуре: сб. ст. Томск, 2007. Вып. 2. С. 60–76.
3. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 227–284.
4. Созина Е.К. «Об истории литературы Урала»: предисловие к проекту // Литература Урала: история и современность: сб. ст. Екатеринбург, 2006. С. 7–17.
5. Козлов И. Освоение «уральского пространства» // Урал. 2007. № 7. С. 249–252.
6. Абашиев В.В. Мамин-Сибиряк: у истоков геоэтики Урала // Уральский исторический вестник. 2009. № 1 (22). С. 51–59.
7. Анциферов Н.П. Непостижимый город: (Петербург в поэзии А. Блока) // Об Александре Блоке: сб. ст. Пб.: Картонный домик, 1921. С. 285–325.
8. Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма: Опыт комплексного подхода. Л., 1926. 150 с.
9. Розачева Н.А. Методологические проблемы изучения сибирского текста русской лирики // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2010. № 5. С. 240–247.
10. Родигина Н.Н. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX вв. // Образ Сибири в общественном сознании россиян XVIII – начала XXI вв.: материалы регион. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. И.В. Островского, Новосибирск, 14–15 апреля 2006 г. / под ред. В.А. Зверева. Новосибирск, 2006. С. 95–105.
11. Абрамов Н.А. Слобода Царево Городище с окрестностями до переименования ее городом Курганом Тобольской губернии // Тобольские губернские ведомости. 1860. № 5. С. 41–52; № 6. С. 54–59.
12. Абрамов Н.А. Торжественное приношение в Тобольск иконы Абалакской Божией Матери и сопровождении ее обратно // Тобольские губернские ведомости. 1857. № 14. С. 116–118.
13. Абрамов Н.А. О климате города Березова // Тобольские губернские ведомости. 1860. № 1. С. 1–5; № 2. С. 12–17; № 3. С. 19–25.
14. Абрамов Н.А. Ермак – покоритель Сибири // Тобольские губернские ведомости. 1866. № 18. С. 120; № 19. С. 127–128; № 20. С. 135–136; № 21. С. 144–145; № 22. С. 152.
15. Жилыкова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – начало XX века): становление и развитие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 446 с.
16. Завалишин И.И. Путевые заметки // Тобольские губернские ведомости. 1863. № 41. С. 341–344; № 42. С. 353–357; № 43. С. 366–369; № 44. С. 379–381; № 45. С. 387–390; № 46. С. 397–400; № 47. С. 407–410.

THE POETICS OF SPACE IN THE PROSE ESSAYS OF *TOBOLSK PROVINCIAL BULLETIN* (1850S–1860S).

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 145–156.

DOI 10.17223/19986645/37/11

Kostetskaya Ekaterina V., Branch of Tyumen State University in Tobolsk (Tobolsk, Russian Federation). E-mail: katerinavb@yandex.ru

Keywords: literature of Siberia, *Tobolsk Provincial Bulletin*, image of region, mythologization of Siberian space, newspaper essay.

The newspaper essay exists at the intersection of documentary and fiction, and has special tools of aesthetic impact. Aesthetic possibilities of the essay were also realized by the Siberian writers of the 19th century. The literary topic of Siberia development takes place in the genre of the essay in the *Tobolsk Provincial Bulletin* newspaper. The documentary of the essays is manifested in a clear composition, a truthful and detailed presentation of historical facts. With all the documentary, the essays of *Tobolsk Provincial Bulletin* have an artistic component which is reflected in the tendency to typing, the author's fact interpretation and the imaginative perception of the native territory.

N.A. Abramov's essays on the ethnographic descriptions of different areas of Tobolsk Province occupy the main place in the system of publications in *Tobolsk Provincial Bulletin*. It is Abramov who consistently draws the province's "face", presenting a detailed picture of the life in provincial cities and their environs. With an emphatic documentary, N.A. Abramov's stories have an artistic and journalistic character. Along with scientific texts, N.A. Abramov's essays contain a lot of local legends. Folk stories help one understand the region's history better, and the mythology of the place shows clearly in them.

Landscape images of N.A. Abramov's newspaper essays are a means of mythologizing the province's space which is conceived as a place of despair and loneliness. In N.A. Abramov's physiological essays a connection is established between the geo-cultural objects and the symbolic figures of Russian history: Irtysh – Ermak, Berezov – A.D. Menshikov, Barabinskaya steppe – D.I. Chicherin.

Using literary, artistic and folklore sources on a par with documents, reliance on the general opinion, appeal to the experience of the reader are vitally connected with the life of the region; they serve as the basis for creating the author's image of Siberia, Siberian artistic ideology of space. In N.A. Abramov's prose a cross-cutting theme is developed on not only the subdue of Siberia, but also its spiritual transformation, joining a vast territory in the history of Russia. The historicization of the space image is addressed to "his" reader and is aimed at the Siberian's self-consciousness formation. The artistic and journalistic image of Tobolsk Province and Siberia as a whole in Zavalishin's travel essays is polysemantic. In the traveler's perception, the Siberian region seems a solitary place, with mismanagement and ignorance, where every step meets the tyranny of bureaucrats, but the "other world" is a free, rich and patriarchal country and the guardian of the country's traditions. The mythological perception of space, associative links, inclusion of the semantic elements such as the sleep motif in the structure of the text, characters, dialogues, landscape descriptions of Zavalishin's travel essays have a fictional character.

Despite the dominant nature of the documentary in the essays of *Tobolsk Provincial Bulletin* the artistic element in them shows in the figurative understanding of the facts and the mythological image formation of a Siberian province.

References

1. Tyupa, V.I. (2009) Sibirskiy intertekst russkoy kul'tury [Siberian intertext of Russian culture]. In: Tyupa V.I. *Analiz khudozhestvennogo teksta* [Analysis of a literary text]. Moscow: Akademiya.
2. Anisimov, K.V. (2007) Paradigmatika i sintagmatika sibirskogo teksta russkoy literatury (Postanovka problemy) / K.V. Anisimov [Paradigmatics and syntagmatics of the Siberian text of Russian literature (on the problem)]. In: Kazarkin, A.P. & Serebrennikov, N.V. (eds) *Sibirskiy tekst v russkoy kul'ture* [Siberian text in Russian culture]. V. 2. Tomsk: Tomsk State University.
3. Toporov, V.N. (1983) Prostranstvo i tekst [Space and Text]. In: Tsiv'yan, T.V. (ed.) *Tekst: semantika i struktura* [Text: semantics and structure]. Moscow: Nauka.
4. Sozina, E.K. (2006) "Ob istorii literatury Urala": predislovie k proektu ["On the literary history of the Urals": an introduction to the project]. In: *Literatura Urala: istoriya i sovremennost'* [Literature of the Urals: history and modernity]. Ekaterinburg: UB RAS.
5. Kozlov, I. (2007) Osvoenie "ural'skogo prostranstva" [Development of the "Ural space"]. *Ural*. 7. pp. 249–252.
6. Abashev, V.V. (2009) Mamin-Sibiryak: u istokov geopoetiki Urala [Mamin-Sibiryak: at the origins of the Urals geopoetics]. *Ural'skiy istoricheskiy vestnik – Ural Historical Journal*. 1 (22). pp. 51–59.
7. Antsiferov, N.P. (1921) Nepostizhimyy gorod (Peterburg v poezii A. Bloka) [Incomprehensible city (Petersburg in the poetry by Alexander Blok)]. In: Antsiferov, N.P. *Ob Aleksandre Bloke: sbornik statey* [Alexander Blok: a collection of articles]. Petersburg: Kartonnnyy domik.
8. Antsiferov, N.P. (1926) *Puti izucheniya goroda kak sotsial'nogo organizma: Opyt kompleksnogo podkhoda* [Ways to explore the city as a social organism: the experience of an integrated approach]. Leningrad: Seyatel'.
9. Rogacheva, N.A. (2010) Methodological aspects of studying the Siberian text of Russian lyric poetry. *Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta – UT Research Journal*. 5. pp. 240–247. (In Russian).
10. Rodigina, N.N. (2006) [The image of Siberia in the Russian journal press in the second half of the 19th – early 20th centuries]. *Obraz Sibiri v obshchestvennom soznanii rossiyan XVIII – nachala XXI vv.* [The image of Siberia in the public consciousness of Russians of the 18th – early 21st centuries]. Proc. of the Regional Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of Prof. I.V. Ostrovsky. Novosibirsk. 14–15 April 2006. Novosibirsk: Novosibirsk State University. pp. 95–105. (In Russian).
11. Abramov, N.A. (1860) Sloboda Tsarevo Gorodishche s okrestnostyami do pereimenovaniya ee gorodom Kurganom Tobol'skoy gubernii [Sloboda Tsarevo Gorodishche with the surroundings before renaming it the town of Kurgan of Tobolsk Province]. *Tobol'skie gubernskie vedomosti – Tobolsk Provincial Bulletin*. 5. pp. 41–52; 6. pp. 54–59.

12. Abarmov, N.A. (1857) Torzhestvennoe prinoshenie v Tobol'sk ikony Abalaskoy Bozhiey Materi i soprovozhdenii ee obratno [The ceremonial offerings to Tobolsk of the icon of the Abalak Mother of God and its accompanying back]. *Tobol'skie gubernskie vedomosti – Tobolsk Provincial Bulletin*. 14. pp. 116–118.
13. Abramov, N.A. (1860) O klimate goroda Berezova [On the climate of Berezovo town]. *Tobol'skie gubernskie vedomosti – Tobolsk Provincial Bulletin*. 1. pp. 1–5; 2. pp. 12–17; 3. pp. 19–25.
14. Abramov, N.A. (1866) Ermak – pokoritel' Sibiri [Ermak, the conqueror of Siberia]. *Tobol'skie gubernskie vedomosti – Tobolsk Provincial Bulletin*. 18. pp. 120; 19. pp. 127–128; 20. pp. 135–136; 21. pp. 144–145; 22. pp. 152.
15. Zhilyakova, N.V. (2011) *Zhurnalistika goroda Tomska (XIX – nachalo XX veka): stanovlenie i razvitie* [Journalism of Tomsk (19th – early 20th centuries): formation and development]. Tomsk: Tomsk State University.
16. Zavalishin, I.I. (1863) Putevye zametki [Travel notes]. *Tobol'skie gubernskie vedomosti – Tobolsk Provincial Bulletin*. 41. pp. 341–344; 42. pp. 353–357; 43. pp. 366–369; 44. pp. 379–381; 45. pp. 387–390; 46. pp. 397–400; 47. pp. 407–410.

УДК 82.94 + 94 (57) + 281.93
DOI 10.17223/19986645/37/12

С.В. Мельникова

ПРОСТРАНСТВО «ДУХОВНОГО ГЛАДА» И АПОСТОЛЬСКОГО ПОДВИГА: ОБРАЗ СИБИРИ В МЕМУАРАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА

Значимый для просвещенной части сибирского общества XVII–XIX вв. вопрос о самоопределении Сибири как особого географического и культурного пространства поднимается в статье в отношении представителей местного православного духовенства. Тема раскрывается на материале мемуаров и переписки духовенства, которые отражают, будучи источниками личного происхождения, индивидуальный опыт пребывания их авторов на территории Сибири и рефлексию по этому поводу.

Ключевые слова: образ Сибири, хронотоп, православное духовенство, мемуары, письма.

На всем протяжении своей истории в составе Российского государства Сибирь, хотя и являлась его частью юридически, фактически воспринималась как обособленное, отличное от остальной России пространство – в географическом (с четкой границей в виде «Камня», Уральских гор), культурном, ментальном и иных смыслах. «Край света», «царство вечного холода и мрака», «тюрьма без решеток» – такие определения создавали мифологему Сибири в массовом сознании. Показательно, что, даже отправляясь в Сибирь на должность генерал-губернатора, человек мог сказать: «Что я ни делал, чтобы избежать Сибири, и никак не избежал. Мысль сия, как ужасное ночное привидение, преследовала меня всегда <...> мне кажется, что я отправляюсь прямо на тот свет» – из письма М.М. Сперанского А.А. Столыпину [1. Ст. 454–455].

Ключевым для становления самосознания сибирской интеллигенции и для отражающей его областной литературы, как считает К.В. Анисимов, был «вопрос о целесообразности пребывания мыслящего, образованного человека на территории, давно закрепившей за собой репутацию «страны изгнания» [2. С. 180]. Данная идея представляется весьма продуктивной, так как различные варианты ответа на этот вопрос действительно могли формировать собственно сибирский биографический сюжет, разворачивающийся на фоне необычного и знакового пространства. Так, в литературе областников сюжет этот складывался на противопоставлении двух мотивов – бегства из Сибири, являющегося поведенческим стереотипом, и сознательного возвращения назад, воспринимаемого почти как подвиг [2. С. 172–198].

Значительный процент образованного населения края, особенно до Октябрьской революции, составляло духовенство. Для православных священно- и церковнослужителей проблема самоопределения в условиях сибирской действительности стояла, очевидно, не менее остро, чем для представителей других социальных групп. Тем более что большая часть сибирского духовенства, особенно из высших слоев церковной иерархии, были выходцами из

центральной или южной России и Украины¹, а значит, изначально воспринимали сибирское пространство как чужое для себя, требующее осознания и оценки с их стороны.

Вопрос об оценке духовенством Сибири, а также об определении им целей своего пребывания и церковного служения на ее территории может быть рассмотрен на материале мемуаров (воспоминаний, автобиографий, дневников, путевых журналов) и переписки сибирских священников и миссионеров. Мемуары особенно информативны в этом отношении потому, что, будучи источниками личного происхождения, они содержат невымышленные, отражающие индивидуальный жизненный опыт авторов рассказы о жизни в Сибири и, что особенно важно, авторскую рефлексию по этому поводу. Они помогают увидеть сибирское духовенство изнутри – в совокупности его социокультурных, конфессиональных и бытовых отношений и взаимосвязей.

Первые автобиографические сведения, касающиеся служения православного духовенства в Сибири, содержатся в датированных серединой XVII столетия челобитных тобольских митрополитов царям и их письмах другим высокопоставленным лицам. Документы этого типа, хранящиеся в архиве Сибирского приказа, Е.К. Ромодановская предлагает делить на две группы: «официальные челобитные о разных нуждах Софийского дома», которые писались «по строгому формуляру и, возможно, не самими архиереями, а их дьяками», и «индивидуальные», которые «несомненно сочинялись самим адресантом – диктовались им, а нередко и писались собственноручно» [3. С. 331]. Рассматривая личные письма сибирских владык, Нектария, Симеона и др., Ромодановская отмечает, что в них «в наибольшей степени находят отражение личные качества авторов – их характер, образованность, литературные пристрастия и умение владеть словом» [Там же]. В этих письмах отражены, иногда весьма подробно, и обстоятельства сибирского служения владык в их личном восприятии и интерпретации, что позволяет говорить о чертах мемуарного повествования в текстах.

Содержание челобитных самое разное, но тем более отчетливо проявляется одна объединяющая их черта: в переписке практически всех владык имеется челобитная, иногда не одна, со слезной мольбой о возвращении из Сибири.

«Прошу у тебя со слезами, побей челом великому государю, благоверному царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа России, чтоб меня государь пожаловал в келью ис Сибири на мое обещание, на мое душевное рождение и на мое душевное спасение...» [4. С. 280], – молит третий архиепископ Сибирский и Тобольский Нектарий (1636–1640) о своем возвращении в Нилово-Столбенскую пустынь, игуменом которой он был до назначения в Сибирь и которую ему «запретил... до смерти» покидать его старец Герман. Адресат послания точно неизвестен, но, как предполагает Е.К. Ромодановская, исходя из самого текста документа, это был «тот же самый человек», который «способствовал назначению Нектария на тобольскую кафедру» [4.

¹ Например, из 17 иркутских владык от основания самостоятельной епархии в 1721 г. до начала XX в. сибиряком по происхождению был только один – Михаил (Матвей Бурдуков). Он родился в Тобольске в 1770 г., окончил Тобольскую семинарию и стал ее наставником. Скончался преосв. Михаил в 1830 г. и погребен в Иркутске, в усыпальнице Богоявленского кафедрального собора.

С. 391]. Обращаясь к нему, архиепископ пишет: «Ты погубил, ты умертвил – ты взыщи, ты оживи душу мою окаянную, в конец погибшую» [4. С. 280]. Оценка своего пребывания в Сибири, данная Нектарием в этой фразе, однозначна – духовная смерть, и дело здесь, очевидно, не только в нарушении воли старца об оставлении Ниловой пустыни.

Преемник Нектария на Тобольской кафедре, архиепископ Герасим (1640–1650), просясь вон из Сибири в челобитной царю Михаилу Федоровичу, дает весьма нелестную характеристику самому краю: «Земля, государь, дальняя, а люди, государь, своеобычные, тяжкосердии все, ссыльные. Стражу, государь, от них, аки овца среди волков <...> Вели, государь, меня, нищего, из Сибири освободить и на обещание мое в Чюдов монастырь в келью отпустить» [4. С. 286]. Но, оценивая объективность Герасима, следует учитывать, что тобольские жители писали аналогичные челобитные на него самого, обвиняя архиерея в неуживчивом характере и жестокости, а приехавших вместе с ним многочисленных родственников в неумном стремлении к наживе [4. С. 394]. Не случайно просьба Герасима о его возвращении в Россию, в отличие от просьбы Нектария, не была удовлетворена, и архиепископ умер в Тобольске.

Архиепископ Симеон (1651–1664) в челобитной патриарху Никону с жалобой на тобольского воеводу А.И. Буйносова-Ростовского также просит «пожаловать» его «быть к Москве»: «...в таком гонении в Тоболску быть отнюдь невозможно. Пожалуй меня, богомольца своего, вели, государь, мне быть к Москве, чтоб мне, богомольцу твоему, и Софейскому дому в конец не разоритца» [4. С. 316]. Как известно, Симеон самовольно приезжает в Москву, о чем пишет оправдательную челобитную царю. Основной причиной для того, чтобы покинуть Сибирь и искать царской милости и защиты в Москве, становится конфликт владыки, известного своим неуживчивым характером, со светской властью: «А твои государевы воеводы ни в чем со мною, богомольцем твоим, не спрашиваются и не советуют ни о каких градских делах, как оне хотят, так и живут. И как твою государеву далнюю отчину хотят, так и строят по своей воле» [4. С. 321].

Ситуация мало изменяется и в начале следующего, XVIII столетия, о чем свидетельствует челобитная митрополита Филофея Лещинского, в которой он подводит итог своего двадцатипятилетнего служения в Сибири. Украинец по происхождению, Филофей прибыл на Тобольскую кафедру из Киево-Печерской лавры и возглавлял ее с 1702 по 1711 г., а также с 1715 по 1720 г. Лещинский оставил яркий след в истории края. Он окрестил несколько десятков тысяч инородцев и воздвигнул около 40 церквей. Митрополит Филофей объехал практически всю территорию своей огромной епархии, побывав даже в Якутии, что по тем временам было настоящим подвигом. Но даже у исполненного подвижнического духа митрополита Филофея единственным желанием после многолетнего и многотрудного служения в Сибири было покинуть ее навсегда. Об этом свидетельствует письмо от 25 декабря 1727 г., написанное им незадолго до смерти, в котором Филофей, уже бывший митрополит Тобольский, умоляет Феофана Прокоповича, архиепископа Великого Новгорода, позволить ему выехать из Тобольска в Киево-Печерскую лавру: «Двадцать пятое зачинаю жити в Сибири лето и не нажилем себе доброго ничего ни в душевном, ни в телесном. И власне до моего смирения проро-

ческое служит слово: сыне человек! посреде скорпий ты живеши. То в телесном. А что до душевного, то и близ не бывало, занеже место и нрав украшает, яко же человека в старци. Лета минают, смерть за плечима, а где грешник явится, когда праведный едва спасется. О бедной душе попечение имею и на обещание замышляю, но к кому припасти, дабы мя выдвигнул из Сибири, не знаю <...> Что во мне, уже старцу, и на Сибири? Нездужаю ездить и до иноземцев крестити; а крещенных благодатию Божиею премногое множество, было бы только кому пасти и охраняти. И тое требует человека, которому надобно не скудно быти, а хотя бы и свой им был епископ, чтоб сидячи не брал по тысячи, как преосв. епископ в Китайское царство посланный, через пять лет и единого чи окрестил, не знаю. А я бедняк многи с крещением прошел народы, а хлеба ошонка не получил за труды» [5. С. 545–547].

Определяющим мотивом в восприятии митрополитом Филофеем Сибири становится мотив пустоты – духовной, пространственной, материальной: «...не нажили себе доброго ничего ни в душевном, ни в телесном». Хотя свою миссию – «иноземцев крестить» – он считает во многом выполненной, на продолжение ее не имеет сил. Филофей смиренно просится вон из Сибири, как будто умоляет вернуть его из ссылки. Но ему так и не удастся умереть на родине.

В дальнейшем восприятие в духовной среде назначения в Сибирь как ссылки будет только усугубляться. Так, в письме к обер-прокурору Синода графу Победоносцеву, написанному почти два века спустя после письма Филофея, преосвящ. Вениамин, архиепископ Иркутский и Нерчинский выскажется более чем определенно по этому поводу: «...доселе в Сибирь назначались на архиерейские кафедры и на семинарскую службу люди, или менее способные, или чем-нибудь заслужившие неблаговоление начальства. Так, мой предместник Преосвященный Парфений, когда ехал в Сибирь на кафедру епархиального архиерея, всем открыто говорил, что предпочел бы быть в Казани викарием, чем в Сибири епархиальным архиереем. Его предместник Преосвященный Евсевий плакал, оставляя Самару для Иркутска. И я сам с великой скорбью принял назначение из ординарных профессоров Академии в ректора Томской семинарии. Все мы, и я, и предместники мои, попали в Сибирь по неблаговолению <...>

Объехавши в прошлом году почти всю Россию, я везде находил, что Преосвященные имеют гораздо лучшие средства, чем в Сибири, даже без отношения к дороговизне содержания в Восточной Сибири. Почему-то принято считать, что дороже всего содержание в столице, но я, проживши 8 месяцев в Петербурге, нашел, что там жить вдвое дешевле, чем в Иркутске. Если сибирские преосвященные не вопиют о своих нуждах, то потому, что живут надеждою на перемещение из Сибири во внутреннюю Россию <...>

Между тем здесь-то и необходимо, чтобы преосвященные служили возможно дольше на одном месте, потому что, чтобы с пользою управлять Сибирскою епархией, нужно немало времени на изучение особенностей здешнего края. К климату Сибири можно привыкнуть, но не все могут привыкнуть к стеснительному положению в материальном отношении и еще более к спокойному отношению к мысли, что попал в число стоящих под неблаговолением или «каких-нибудь» в мнении начальства. Мне самому приходилось

слышать в Петербурге: «лучшие люди нужны во внутренней России, особенно в западном крае, а в Сибири могут служить какие-нибудь» <...> Таким образом, само начальство дает понимать, что оно в Сибирь посылает на службу поневоле, как бы в наказание» [6. С. 109–111].

Назначение в Сибирь воспринималось не просто как «неудобство» по службе, но как испытание, грозящее смертельной опасностью. Полной уверенности в возвращении, особенно из дальних, наиболее суровых областей, не было: «В ноябре сего года отправляюсь я в Колыму, чуть не к Берингову проливу, и могу воротиться никак не ранее половины мая <...> Помолитесь обо мне перед святыми угодниками московскими, чтобы их молитвами и заступлением Господь помог мне благополучно совершить предлежащий мне трудный путь, монаху нечего терять: если доведется и умереть на деле проповеди – и это вменится в жертву Богу. Об одном прошу Бога, чтобы Он послал мне христианскую кончину, не постыдну и мирну», – писал Якутский епископ Дионисий (Хитров) [7. С. 97]. Любопытно, что когда Хитрова еще молодым священником «распределяют» в Сибирь, то он так напуган этим, что пробует откупиться, но безуспешно, так как «...в указе Св. Синода сказано: «не требовать от избираемых собственного на то согласия и не принимать от них никаких отзывать» [8. № 4. С. 105]. Впоследствии Дионисий станет выдающимся миссионером, сподвижником святителя Иннокентия (Вениаминова) и первым епископом Якутским (1870 г.).

Выходцев из Европейской России Сибирь зачастую не удовлетворяла и с собственно эстетической точки зрения, поражая скудностью пейзажей и убожеством городов, а также общим низким уровнем культуры – и материальной, и духовной. Так, весьма нелестную характеристику сибирским городам, встречавшимся на его пути из Вятки, дает в своих путевых записках молодой Нил (Исакович), следующий в 1838 г. в Иркутск, чтобы занять там епископскую кафедру. Исакович – уроженец Могилева, долго живший в самом центре России, и Сибирь для него дикое и чужое пространство. Особенно остро он ощущает эту чуждость, когда только пересекает границу края. Приведем некоторые из данных им характеристик расположенных по Московскому тракту городов:

«О Тобольском обществе не знаю, что сказать, ибо мне не пришлось видеть его и даже слышать о нем. Но, кажется, что оно не славно ни по количеству, ни по качеству своему. Сословие, нарицаемое дворянским, тут не зарождалось; купечество убито неблагоприятными обстоятельствами, в том числе и удалением генерал-губернатора и всего штаба в Омск; класс чиновничий, как и везде, горемыкается; прочие же сословия думают лишь о насущном. Такова-то старая столица Сибири!» [9. С. 26]

«Но, увы! При первом взгляде на Омск утешительные надежды и все чаяния исчезают. Это второй Иерихон; вокруг него не видно ни дерева, ни травы, а только терние и волчцы прозябают. При въезде, прежде всего, кидается в глаза городской сад. Но что это за сад? Тут нет дерева, которое не было бы искривлено, изуродовано <...> Площадь городская есть обширное поле, оставленное деревянными некрашеными домишками. И на этой единственной площади дано место <...> как бы вы думали – чему? Татарской мечети! А церковь задвинута Бог весть куда» [9. С. 33].

«...Город Колыван хуже порядочного русского села <...> По мнению моему, городам таким сто раз лучше не быть, дабы проезжие, особенно иностранцы, не имели повода вносить их в путевые свои журналы и распространяться в описании ничтожества их» [9. С. 41].

И только Иркутская губерния и сам город Иркутск – место его назначения – получают относительно положительную оценку: «Дорога усеяна, можно сказать, селениями, и притом так устроенными и расположенными, что даже в лучшей из российских губерний поставили бы их в первый разряд» [9. С. 54]. «Вся площадь и весь берег от ворот городских до сада покрыты были народом. И это многолюдство оправдало предо мной то мнение сибиряков, что Иркутск есть столица Сибири» [9. С. 64].

Однако Нил не только критикует Сибирь, как могло показаться на основании приведенных выше цитат, но говорит о необходимости деятельного преобразования ее пространства, которое не нарушило бы его природной самобытности, но способствовало бы благу живущих на нем народов. С одной стороны, в первозданной природной простоте приленских народов архиепископ видит благо: «...до обитателей здешнего края перстом не коснулась европейская техника и ее спутница – роскошь. Желания, труд, заботы определяются здесь условиями первой необходимости <...> природа наделяет человека душевным спокойствием и довольством, которые редко достаются на долю утонченной цивилизации» [9. С. 139]. С другой стороны, его возмущает контраст между природными богатствами Сибири и необустроенностью и безлюдностью ее земель. Например, о реке Обь он пишет: «Любуясь зрелищем реки, спрашивал я себя: что если бы такое богатство вод протекало через южную нашу Россию, где часто на пространстве десятков верст не встретишь даже ручейка, между тем как жизнь и деятельность кипит повсюду? <...> Обь не имеет на берегах своих ни одного городка. Даже деревень людных мало, и те нестройны, убоги, унылы. Отчего это? Знать, пора для развития жизни обской не пришла еще. Но, думаю, что она близка, ибо человечество и цивилизация скорыми шагами идут вперед» [9. С. 43]. Противопоставление природы и цивилизации приводит Нила к печальному выводу о том, что хотя природа сибирская – «великан», но «сам человек, витающий здесь среди терния и волчцев, носит образ тени, готовый явиться к Харону не сегодня, так завтра» [9. С. 288]. И дело Церкви – спасение этих народов.

Острое ощущение удаленности и обособленности Сибири, представление о себе как о ссыльном, испытывавшем «неблаговоление» начальства, скудность содержания, тяжелый климат, серость сибирских городов, фактическое отсутствие образованных людей – все эти негативные оценки, безусловно, имеют место в воспоминаниях и автобиографиях духовенства и остаются фактически неизменными и в XVII, и в XIX в.

Но рядом с критикой сибирского пространства в сочинениях духовенства, как правило, обнаруживаются и позитивные моменты. Например, почти обязательный для сочинений миссионеров мотив сложностей и трудностей пути уравнивается не менее частым выражением восторга от созерцания величественной сибирской природы. «...Неудобства дороги вполне искупались прелестью тех картин, которые представляла нам окружающая нас местность в своей грандиозной, вечной красоте. В лесу стояла торжественная тишина,

полная чарующей таинственности. Вековые сосны и ветвистые березы, покрытые инеем, искрились и сверкали, самыми разноцветными огнями, точно обвитые серебряными кружевами и осыпанные алмазами. Тени, бросаемые от деревьев, причудливо ложились на снег. Величественные пихты, согнувшись в дугу, под напором снега, создавали громадные арки. А дальше за этим лесом, словно <...> алтари, белели горы...», – пишет в путевом журнале алтайский миссионер С. Ивановский [10. № 11. С. 18].

Однако главное в том, что, несмотря на все inferнальные ощущения, сибирские священники и миссионеры разрабатывают *программу не просто выживания в Сибири, но продуктивного духовного служения в ней*. Эта программа находит отражение во многих мемуарных источниках, в которых прочитывается мифологема Сибири не только как пространства смерти и холода, но как пространства духовной инициации, апостольского подвига и возрождения.

Подобная многозначность сибирского хронотопа была заложена уже в одном из первых описаний Сибири в древнерусской литературе – Житии протопопа Аввакума. М.К. Азадовский в статье с красноречивым названием «Поэтика «гиблого места» писал о том, что хотя протопоп признает богатство и величие сибирской природы (вспомним, например, описание озера Байкал. – С.М.), однако эта природа не пленяет автора, так как она «не только фон, на котором протекают его тяжелые испытания, но неотделимый элемент последних и их орудие» [11. С. 163]. В.И. Тюпа в мытарствах протопопа видит «христологическую инициацию», таким образом, пространство Сибири наделяется инициационными функциями [12. С. 29]. Обобщая многочисленные наблюдения над текстом Жития, Е.Ф. Гудкова указывает на то, что можно выделять даже не две, а три и более «хронотопных плоскости», в которых у Аввакума раскрывается образ Сибири: «Во-первых, как место ссылки, гиблое место (социально-географическое пространство); во-вторых, инициальное пространство и, в-третьих, крестный путь, божий промысел» [13]. Очевидно, таковых «плоскостей» может быть и больше.

Образ inferнально-инициационного пространства Сибири остается актуальным и в последующие столетия, в частности, он находит воплощение в таком ярком мемуарном сочинении середины XIX столетия, как «Автобиография монаха Парфения (Агеева)» [14]. Инок Парфений был широко известен в свое время как автор многотомного «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле». «Автобиография» – прямое продолжение «Сказания».

Петр Агеев родился в раскольничьей семье и почти до 30-летнего возраста пребывал в расколе, но затем перешел в православную веру и принял постриг на Афоне. Афон стал для инока воплощением рая на земле. Однако старец, которому он передал свою волю, наложил на Парфения обет покинуть Афон и отправиться в бессрочное странствие в далекую и пугающую Сибирь. Парфений был потрясен и буквально раздавлен таким приказанием, тем более что старец никак не пояснил его смысла: «Я спросил, что я там буду делать? Он же сказал: там тебе Бог дело покажет» [14. С. 137]. После смерти старца Парфений даже просил патриарха разрешить его от исполне-

ния этой воли, однако получил отказ. Именно эта история описывается Достоевским в «Братьях Карамазовых».

Сибирь в определении Парфения – это страна духовного голода: «...сия страна Сибирская великая и пространная, но гладная; но не глад хлеба и воды, ибо этим преизобильно, но глад неслышания Божия, ибо во всей Сибири нет ни одного общежительного монастыря, куда мог бы прибегать голодный народ и насытиться словом Божиим и Благочестием; а церкви здесь очень редки, на 100 верст одна, а то еще и того нет; а служба в церквях бывает только в самые великие праздники, но и то не всегда; приходы очень обширные, а священников мало» [14. С. 152].

Описание Сибири строится на антитезе ее Святой горе Афону. Афон – это рай на земле, сакральный центр, куда инок стремится всей душой: «...мы пришли не в Афонскую Гору и не к земным человекам, но верно мы пришли в горный Иерусалим, в райские чертоги, к самой Царице Небесной и к самим Небесным Ангелам» [15. С. 59]. Если Афон – это рай, то Сибирь – ад: «Ох, значителен для меня Томск; это был для меня котел, в котором семь лет Господь меня вываривал; с одной стороны, поливал меня кипятком, серую, смолою и огнем, а с другой – Господь изливал на меня масло и розовую воду, и всякое утешение, и всякие свои милости; наконец, вышел вполне увенчанным; посрамилися все враги мои, видимые и невидимые» [14. С. 121]. Сибирь – адский котел, однако и в нем у Парфения нет ощущения богооставленности, поскольку это и место испытания (ведь «вываривает» его в этом котле не дьявол, но сам Бог), и место духовной брани, из которой Парфений, как он надеется, должен выйти победителем.

В Томске Парфений терпит многие лишения. Как бы следуя логике и воле самого пространства тюрьмы и ссылки, приехав в край свободным, инок сразу же становится узником. Еще по дороге его, по подозрению в том, что он беглый поп раскольниковый, ловят, заковывают и сажают в острог. Однако Парфений, подобно протопопу Аввакуму, воспринимает выпавшее ему страдание как благо: «Первые три дня я ничего не мог делать: ни пить, ни есть <...> Но потом Господь утешил меня, так что я радовался и благодарил Господа Бога, что привел быть узником без вины...» [14. С. 89]. В остроге Парфений усердно молится, размышляет, беседует с постоянно сменяющимися арестантами: «... до днесь помню ту блаженную жизнь: вот было училище благочестия и академия всех любомудрых наук <...> вот где любопытная картина, раскрывающая судьбы человеческие, что воистину все мается человек» [14. С. 90].

Парфений претендует на избранность. Еще будучи на Афоне, в Рождественский пост он видит сон, в котором ему указывают на 95-й псалом: «Когда же я прочитал сей псалом, то исполнилось сердце мое неизреченною радостью; как бы Господь Сам лично объявил свою Святую волю и раскрыл <...> зачем Он меня посылает в Россию? Только помышляя себе: «Господи! Каким же образом могу я возвестить в языцех славу Твою и во всех людех чудеса Твоя; я человек неученый, невежда <...> но Тебе, Господу Богу, все возможно. Буди Твоя святая воля надо мной» [14. С. 116]. Парфений истолковывает цель своего пребывания в Сибири как проповедь «во всех языцех...», т.е. собственно апостольскую миссию.

Однако понятое таким образом предназначение остается неосуществленным. Вопрос, зачем старец послал его в Сибирь, так и не разрешается для Парфения, несмотря на то, что именно в Сибири он приступает к написанию мемуаров, которые сделают его знаменитым на всю Россию. Доминирующие мотивы в описании сибирского периода – мотивы людской хулы, тоски, безвременья, драмы одинокого существования и неосуществленного предназначения.

Вопросом о мотивах и целях своего пребывания в Сибири задается и такой известный миссионер XIX столетия, как Андрей Аргентов. «Не могу дать себе отчета, почему именно понравился мне Нижнеколымск и из-за чего предпочел я его другим местам, пожелав туда на службу. Между прочим, может быть меня заинтересовал: переезд к антиподам моей родины, солнце глубокого Севера, то не заходимое, то не восходимое, величественное сияние арктических небес, чудные там пурги и мрак, дивные пирамиды нетающего льда и снега, пролежавшие целые века по захолюстьям тундры <...> Быть может, меня подстрекало и самолюбие, неопытность с безрассудством. Последнее как-то ближе к делу <...> еще скажу, что я тогда считал весь Божий мир себе сокровищем. Я думал, на край-свете должно быть так же хорошо для доброго человека, как и везде, а между тем небо, следовательно, и многое небесное, оттуда ближе» [16. С. 4].

Приведенный отрывок чрезвычайно интересен: это не описание сибирской природы, как может показаться на первый взгляд, но раскрытие семантической структуры сибирского хронотопа. Сибирь – иное пространство, более того, пространство-антипод (Аргентов был родом из Нижнего Новгорода, самого сердца России), мифический край-свет, «тридевятое царство», куда герой отправляется за испытанием и перерождением. Задано пространство, несмотря на всю свою обширность, не столько горизонталью, сколько вертикалью. Это, прежде всего, небо и удивительное, то незаходимое, то невосходимое солнце. Это белое безмолвие – суровое, холодное и чистое, в котором фактически нет земли, но есть нетающие, и опять-таки устремленные ввысь, пирамиды из льда и снега. Такое пространство может очистить и возвысить человека, непрерывно испытывая его и заставляя страдать, тем самым приближая его к небу. Но с другой стороны, в отрывке чувствуется и самоирония: по прошествии лет автор понимает, что воспринимать Сибирь подобным образом заставляли «неопытность с безрассудством».

Служение в Сибири православные миссионеры и священники трактовали как особый о них Божий Промысел. «Божий промысел, призвавший меня на чреду служения, указал мне поприще деятельности в дальних окраинах обширного отечества нашего», – писал архиепископ Нил (Исакович) [9. С. 1], как бы вопреки своим же критическим характеристикам удаленного от центра и нецивилизованного края. «Я всегда благодарил и благодарю Бога, что, хотя против воли попал на службу в Сибирь, и дай Бог, чтобы до гроба не изменилась моя привязанность к ней...» [6. С. 109–111] – такие слова рядом с определением сибирской службы как ссылки мы находим в цитирувавшемся выше письме Вениамина Победоносцеву.

Высший смысл и цель этого Промысла заключалась в просвещении далеких северных земель и населяющих их народов Евангельским Словом, в апо-

стольском подвиге созидания и укрепления Православной церкви в Сибири. С деяниями апостолов сопоставимы самые первые оригинальные церковные сибирские тексты. По утверждению О.Д. Журавель, с ними, например, может быть соотнесено «Житие Симеона Верхотурского», содержащее рассказ о просвещении Сибири и открытии в ней собственных святынь автором жития – тобольским митрополитом Игнатием (Римским-Корсаковым). «Сюжет обретения мощей и выяснения имени и личности чудотворца разрабатывается в связи с темой христианского просвещения Сибири. Важнейшая роль при этом отводится самому митрополиту, – описание его миссионерской деятельности вызывает ассоциации с апостольским шествием» [17. С. 379], [18. С. 79–91].

Подобная оценка деятельности православных миссионеров будет характерна и для последующих поколений сибирского духовенства. Апостолом Сибири и Аляски называли святителя Иннокентия (Вениаминова), апостольские черты видели и в другом знаменитом миссионере – архимандрите Макарии (Глухарева), основателе Алтайской духовной миссии. «Если сколько-либо продолжительное время читать их (алтайских миссионеров, прежде всего самого Макария и его сподвижников. – С.М.) творения (особенно своеручные путевые дневники и переводы) или тщательно читать труды их деесписателей, то вдруг совершенно по-иному начинает восприниматься, можно сказать, просто оживает для читающего и сама книга Деяний Святых Апостолов, в которой алтайские миссионеры вслед за первоапостолом Алтая – отцом Макарием Глухаревым – всегда созерцали «подобный небесам образ Церкви Христовой», – пишет протоиерей Борис Пивоваров [19. С. 20–23].

Миссионерское апостольское служение и было искомым духовным вариантом позитивного деятельного выживания в Сибири, направленного на преобразование окружающего пространства и собственное возрождение через испытания и лишения. По своей сущности оно сопоставимо с программами такого выживания, предлагаемыми представителями светской культуры – декабристами или областниками.

Примером последовательного раскрытия этой жизненной стратегии в автобиографическом повествовании может служить «Автобиография высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского» [20]. Небольшая по объему, всего 50 печатных страниц, автобиография архиепископа Вениамина поражает своей целостностью и продуманностью авторской концепции судьбы, которая вся мыслится как осуществление еще в детстве понятого и принятого предназначения, как отражение постоянного и неусыпного руководства свыше, Промысла Божьего в человеческой судьбе. Помимо мотивов личной избранности и осуществленного предназначения в иноческом подвиге, сюжетобразующим в этом сочинении становится мотив апостольского служения на окраинах империи.

Выше мы приводили обширную цитату из переписки архиепископа Вениамина, в которой он говорил об исключительно негативном отношении духовенства к службе в Сибири. Однако следует признать, что эта цитата была вырвана из контекста. И мы намеренно не упомянули о том, что сам Благонравов не считал такую ситуацию нормальной. Именно Сибирь для Вениамина, уроженца Тамбовской губернии, стала основным местом духовного

служения. В 1858 г. выпускник Казанской академии, Вениамин был назначен ректором вновь открытой Томской семинарии и настоятелем одного из местных монастырей. Но уже в 1862 г. архим. Вениамин был хиротонисан в епископа Селенгинского, викария Иркутской епархии и поставлен начальником Забайкальской духовной миссии. 31 марта 1873 г. преосв. Вениамина возвели в сан епископа Иркутского. 16 апреля 1878 г. – в сан архиепископа. Иркутским владыкой он оставался вплоть до своей смерти, в 1892 г. Похоронен он был в Иркутске же, в строящемся кафедральном соборе.

«Преосвященнейший Владыко!

Приводилось ли вам совершать свое путешествие среди мрака темной ночи, сбившись с дороги, без путеводителя? <...>

Посреди мрака подобной ночи, только не физической, а что страшнее, – духовной, среди подобных опасностей сени смертной ходят те люди, к которым отселе посылает Вас Господь, воззвавший вас на высокую степень апостольского святительства <...> Вас первого посылает Господь, в высоком сани святительства, с дарами апостольского служения, в эту безотрадную страну тьмы и сени смертной» – такое напутствие дает Вениамину, новопоставленному епископу Селенгинскому, высокопреосв. Парфений, архиепископ Иркутский и Нерчинский [21. С. 1–2, 4].

Сам Вениамин в своей миссии среди язычников и будущем архиерейском служении также видит высокий смысл и склонен осмыслять их как духовный подвиг, о чем свидетельствует, например, тревожный и мистический сон, который будущий епископ видит перед своим прибытием в Иркутск. «После обеда заснул я и вижу во сне, будто еду я льдом по Байкалу на место своего служения; вдруг навстречу мне выходит страшный черный зверь и старается не дать мне ехать дальше. Сердце мое чувствует, что это сатана не дает мне ехать дальше. Я стал смотреть по сторонам, как бы мне миновать его, но вижу на противоположном берегу Байкала, куда мне следовало ехать, множество бесов грозит мне и не хотят пустить меня. Я подумал, что я сегодня молился и причастился Святых Тайн, чего же мне бояться, если они и растерзают меня, с этою мыслью я решил ехать напролом и вдруг и черный зверь, и бесы исчезли все» [20. С. 44]. Вениамин – рыцарь веры, отправляющийся на борьбу с дьяволом и защищенный только Святым причастием и сознанием праведности своего дела. Дьявол же укоренился в непросвещенных местных народах, и задача Вениамина – их спасение.

Но, что особенно важно, для Вениамина Сибирь – это все-таки страна не тотального «духовного голода», как для Парфения, напротив, она обладает собственной сакральностью. «Иркутск мне больше всего нравится святынями. Пр. Парфений полуоткрыл мощи св. Софония, над которыми теперь постоянно совершаются панихиды, сверх того сделал окно к мощам преосв. Михаила и Вениамина...» [22. С. 115]. Стержневым для автобиографического сюжета становится мотив обретения преосв. Вениамином небесного покровителя в образе сибирского святого – святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого иркутского епископа. Святитель становится проводником преосв. Вениамина в Сибири и его небесным покровителем. Сибирь не только сакральна, но и поддается дальнейшей сакрализации, что и делает принципи-

ально возможным в ней апостольский подвиг, который избирает для себя архиепископ Вениамин.

Попадая в Сибирь или оставаясь в ней в большинстве случаев не по своей воле, священники, как и другие жители края, видели в ее образе inferнальные и тюремные черты. Но они были способны подняться до осмысления Сибири в духовной проекции и воспринимать свое служение в ней как особое духовное предназначение и Промысел Божий. О поиске этого предназначения и своего места в неоднозначном сибирском пространстве и повествует большинство мемуаров местного духовенства, написанных с начала христианизации края и до прихода коммунистов. Октябрьская революция существенно изменила семантику сибирского пространства и судьбу сибиряка. В высшей степени это сказалось на судьбе духовенства, чей апостольский подвиг сменился мученическим. Все эти трагические изменения, безусловно, нашли отражение в воспоминаниях, дневниках и записках духовенства, что, однако, составляет уже предмет отдельного, весьма непростого разговора.

Литература

1. *Письма* М.М. Сперанского к А.А. Столыпину // Русский Архив. 1871. Вып. 3. Стб. 431–484.
2. *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 304 с.
3. *Ромодановская Е.К.* Эпистолярное наследие сибирских архиереев XVII века // Ромодановская Е.К. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, 2002. 391 с.
4. *Литературные памятники* Тобольского архиерейского дома XVIII века / подгот. текстов и коммент. Е.К. Ромодановская, О.Д. Журавель. Новосибирск, 2001. 439 с. (История Сибири. Первоисточники; вып. 10).
5. *Письмо* бывшего тобольского митрополита Филофея Лещинского (в схимонахах Федора) к Феофану Прокоповичу с просьбою о позволении выехать из Сибири на обещание в Киево-Печерскую Лавру / Филофей (Р.Б. Лещинский) // Киевские епархиальные ведомости. 1877. № 20. С. 545–547.
6. *Переписка* Высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Иркутского с Обер-прокурором Св. Синода К.П. Победоносцевым / Вениамин (В.А. Благодоров). Иркутск: Иркутское братство во имя святителя Иннокентия, 1916. 170 с.
7. *Выписка* из первого письма Дионисия от 6 сентября 1868 г. из Якутска // Невоструев К. Нечто об архипастырском путешествии преосвященного Дионисия, епископа Якутского из Якутска в Нижнеколымск в 1868–1869 гг. // Душеполезное чтение. 1872. Ч. 3. С. 93–100.
8. *Автобиографические* записки преосв. Дионисия, епископа Уфимского и Мензелинского / Дионисий (Д.В. Хитров) // Уфимские епархиальные ведомости. 1900. № 4. С. 95–105; № 5. С. 140–149; № 6. С. 176–183; № 7. С. 218–226 (О Сибири; № 5–7).
9. *Нил (Исакович), архиеп.* Путевые записки преосвященного архиепископа Нила / Нил (Н.Ф. Исакович). Ярославль, 1874. Ч. 1–2. 497 с.
10. *Записки* миссионера Алтайской духовной миссии, Кебезенского отделения, священника Сергея Ивановского за 1889 год / С. Ивановский // Томские епархиальные ведомости. 1890. № 11. С. 16–28; № 12. С. 1–16.
11. *Азадовский М.К.* Поэтика «гиблого места»: (из истории сибирского пейзажа в русской литературе) // Азадовский М.К. Очерки литературы и культуры в Сибири. Вып. 1. Иркутск, 1947. 203 с.
12. *Тюпа В.И.* Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
13. *Гудкова Е.Ф.* Хронотоп Сибири в русской классической литературе XVII–XIX вв. [Электронный ресурс]. <http://guuu7.narod.ru/HS.htm>. (дата обращения: 10.03.2014).

14. *Инок Парфений (Агеев)*. Автобиография монаха Парфения (бывшего в Молдавии раскольника, затем постриженника русского Пантелеймонова монастыря на Афоне) / Парфений (П. Агеев). М.: Индрик, 2009. 256 с.
15. *Инок Парфений (Агеев)*. Странствия по Афону и Святой Земле / Парфений (П. Агеев). М.: Индрик, 2008. 272 с.
16. *Путевые записки священника миссионера А. Аргентова в приполярной местности* / А.И. Аргентов // Записки Сибирского отдела Русского географического общества. Исследования и материалы. СПб., 1857. Кн. 4, отд. 1. С. 1–59.
17. *Житие* Симеона Верхотурского. Ранняя редакция / публ. О.Д. Журавель // Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 196–232, 377–386 (комментарий).
18. *Журавель О.Д.* Житие Симеона Верхотурского (к изучению литературного творчества Игнатия Римского-Корсакова) // Источники по русской истории и литературе: средневековье и новое время. Новосибирск, 2000. С. 73–93.
19. *Пивоваров Борис, прот.* История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и современность // Миссионерское обозрение. 1997. № 1(15). С. 20–23.
20. *Автобиография* высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Иркутского и Нерчинского / Вениамин (В.А. Благодравов). Иркутск: Иркут. центр. Братство, 1913. 51 с.
21. *Труды православных миссий Восточной Сибири* / Изд. Иркут. комитета православного миссионерского общества. Т. 1. (1862–1867). Иркутск, 1883. 560 с.
22. *Письма* Вениамина, архиепископа Иркутского к Казанскому архиепископу Владимиру (1862–1889 гг.) / предисл. и примеч. К.В. Харламповича / Вениамин (В.А. Благодравов). М.: Изд. Имп. общества истории и древностей российских при Московском университете, 1913. 247 с.

THE SPACE OF “SPIRITUAL HUNGER” AND OF APOSTOLIC HEROIC DEED: IMAGE OF SIBERIA IN MEMOIRS OF PRE-REVOLUTIONARY ORTHODOX CLERGY.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 157–171.

DOI 10.17223/19986645/37/12

Melnikova Sofya V., Irkutsk Regional State Universal Scientific Library n. a. I.I. Molchanov-Sibirsky (Irkutsk, Russian Federation). E-mail: memuaristika@yandex.ru

Keywords: image of Siberia, chronotope, intellectuals, orthodox clergy, memoirs, letters

A significant issue for the Siberian intellectuals of the 18th and 19th centuries of their self-determination in relation to Siberia as a special geographical and cultural space is discussed concerning representatives of local orthodox clergy. The topic reveals on the material of memoirs and correspondence of clergy which, being sources of a personal origin, reflect their authors' individual experience of staying in the territory of Siberia and their reflection about it.

The attitude of clergy to Siberia is analyzed through three centuries: from petitions of the Tobolsk metropolitans of the 17th – early 18th centuries (Nectarios, Symeon, Herman, Philotheus) to memoirs and letters of the end of the 19th century. The emphasis is made on compositions of the 19th century: the author addresses to the traveling notes of Irkutsk archbishop Nil (Isakovich) and missionary Andrey Argentov, autobiographies of Irkutsk archbishop Veniamin (Blagodaravov) and Yakut bishop Dionysius (Khitrov), and to the autobiography of monk Parfeniy (Ageev), a spiritual writer well-known in his time.

Despite the genre and thematic diversity of sources and broad chronology, the works show some general tendencies which are the main subject of the article.

Practically all the authors perceive their stays in Siberia as exile and punishment and express desire to leave it forever. The main evaluation of the Siberian space and stay in it in the compositions of the clergy remains almost invariable throughout all pre-revolutionary Siberian church history, it is a keen feeling of remoteness and isolation of Siberia, perception of oneself as of an exile who fell out of favor with the administration, severe climate, poverty of Siberian cities, actual absence of educated people, etc. Motives of emptiness (material and spiritual), dangers, unrealized mission prevail. All this allows to define Siberia as a space of “spiritual hunger”. In their perception of Siberia, representatives of clergy differ little from the secular intellectuals.

However, priests and missionaries are inclined to comprehend their ministry in Siberia in the religious aspect and to consider it as Providence. In this context negative evaluation and motives are counterbalanced by the positive program of not only survival, but also productive spiritual ministry in Siberia.

ria. This program is traced in the majority of the considered memoirs and epistolary sources, and its essence is the missionary apostolic ministry directed both on spiritual and cultural transformation and sacralization of the surrounding space and the people inhabiting it, and on one's own spiritual revival.

References

1. Speranskiy, M.M. (1871) Pis'ma M.M. Speranskogo k A.A. Stolypinu [Letters of M.M. Speransky to A.A. Stolypin]. *Russkiy Arkhiv*. 3. Columns 431–484.
2. Anisimov, K.V. (2005) *Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX veka: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noy literaturnoy traditsii* [Problems of poetics of literature of Siberia in the 19th – early 20th centuries: Features of formation and development of the regional literary tradition]. Tomsk: Tomsk State University.
3. Romodanovskaya, E.K. (2002) Epistolyarnoe nasledie sibirskikh arkhierееv XVII veka [Epistolary heritage of Siberian bishops of the 17th century]. In: Romodanovskaya, E.K. *Sibir' i literatura. XVII vek* [Siberia and literatura. The 17th century]. Novosibirsk: Nauka.
4. Romodanovskaya, E.K. & Zhuravel', O.D. (eds) (2001) *Literaturnye pamyatniki Tobol'skogo arkhieyskogo doma XVII veka* [Literary Monuments of Tobolsk bishop's house of the 17th century]. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.
5. Leshchinskiy, Filofey (R.B.). (1877) Pis'mo byvshego tobol'skogo mitropolita Filofeya Leshchinskogo (v skhimonakhakh Fedora) k Feofanu Prokopovichu s pros'boyu o pozvolenii vyekhat' iz Sibiri na obeshchanie v Kiev-Pecherskuyu Lavru [Letter from the former Metropolitan of Tobolsk Philotheus Leszczynski (Schemamonk Fedor) to Feofan Prokopovich asking for permission to go from Siberia to the promise to Kiev Pechersk Lavra]. *Kievskie eparkhial'nye vedomosti*. 20. pp. 545–547.
6. Veniamin (Blagonravov, V.A.). (1916) *Perepiska Vysokopreosvyashchenneyshego Veniamina, arkhiepiskopa Irkutskogo s Ober-prokurorom Sv. Sinoda K.P. Pobedonostseym* [Correspondence of His Eminence Benjamin, Archbishop of Irkutsk, with Procurator of the Holy Synod K.P. Pobedonostsev]. Irkutsk: Irkutskoe bratstvo vo imya svyatitelya Innokentiya.
7. Nevostruev, K. (1872) Vypiska iz pervogo pis'ma Dionisiya ot 6 sent. 1868 g. iz Yakutska [Extract from the first letter of Dionysius of 6 September 1868 from Yakutsk]. In: Nevostruev K. *Nechto ob arkhiepiskopskom puteshestvii preosvyashchennogo Dionisiya, episkopa Yakutskogo iz Yakutska v Nizhnekolymsk v 1868–69 gg.* [On the archpastoral journey of Reverend Dionysius, Bishop of Yakutsk, from Yakutsk to Nizhnekolymsk in 1868–69]. *Dushepoleznoe chtenie*. III. pp. 93–100.
8. Dionisiy (Khitrov, D.V.). (1900) *Avtobiograficheskie zapiski preosv. Dionisiya, episkopa Ufinskogo i Menzelinskogo* [Autobiographical notes of Rev. Dionysius, bishop of Ufa and Menzelinsk]. *Ufimskie eparkhial'nye vedomosti*. 4. pp. 95–105; 5. pp. 140–149; 6. pp. 176–183; 7. pp. 218–226.
9. Nil (Isakovich). (1874) *Putevye zapiski preosvyashchennogo arkhiepiskopa Nila* [Travel notes of Archbishop Neil]. In 2 pts. Yaroslavl: Tipografiya Gubernskoy zemskoy upravly.
10. Ivanovskiy, S. (1890) *Zapiski missionera Altayskoy dukhovnoy missii, Kebezenskogo otdeleniya, svyashchennika Sergiya Ivanovskogo za 1889 god* [Notes of the missionary of the Altai spiritual mission, Kebezensk department, priest Sergey Ivanovsky of 1889]. *Tomskie eparkhial'nye vedomosti*. 11. pp. 16–28; 12. pp. 1–16.
11. Azadovskiy, M.K. (1947) Poetika “giblogo mesta”: (iz istorii sibirskogo peyzazha v russkoy literature) [Poetics of the “waste place” (the history of the Siberian landscape in Russian literature)]. In: Azadovskiy, M.K. *Ocherki literatury i kul'tury v Sibiri* [Essays on Literature and Culture in Siberia]. V. 1. Irkutsk: OGIZ.
12. Tyupa, V.I. (2002) Mifologema Sibiri: k voprosu o “sibirskom tekste” russkoy literatury [Mythologeme “Siberia”: on the “Siberian text” of Russian literature]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 1. pp. 27–35.
13. Gudkova, E.F. (2007) *Khronotop Sibiri v russkoy klassicheskoy literature XVII–XIX vv.* [Chronotope of Siberia in the Russian classical literature of the 17th–19th centuries]. [Online]. Available from: <http://guuu7.narod.ru/HS.htm>. (Accessed: 10th March 2014).
14. Monk Parfeniy (Ageev). (2009) *Avtobiografiya monakha Parfeniya (byvshego v Moldavii raskol'nika, zatem postrizhenika russkogo Panteleimonova monastyrya na Afone)* [Autobiography of monk Parthenius (formerly Moldavia schismatic, then consecrated monk of the Russian Panteleimon Monastery on Mount Athos)]. Moscow: Indrik.
15. Monk Parfeniy (Ageev). (2008) *Stranstviya po Afonu i Svyatoy Zemle* [Wanderings in Athos and the Holy Land]. Moscow: Indrik.
16. Argentov, A.I. (1857) *Putevye zapiski svyashchennika missionera A. Argentova v*

pripolyarnoy mestnosti [Travel notes of missionary priest A. Argentov in circumpolar areas]. In: *Zapiski Sibirskogo otdela Russkogo geograficheskogo obshchestva. Issledovaniya i materialy* [Notes of the Siberian Department of the Russian Geographical Society. Research and Materials]. V. 4. Pt. 1. St. Petersburg. pp. 1–59.

17. Zhuravel', O.D. (2001) Zhitie Simeona Verkhotur'skogo. Rannaya redaktsiya [Life of Simeon Verkhotur'sky. Early edition]. In: Romodanovskaya, E.K. & Zhuravel', O.D. (eds) *Literaturnye pamyatniki Tobol'skogo arkhieyskogo doma XVII veka* [Literary Monuments of Tobolsk bishop's house of the 17th century]. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.

18. Zhuravel', O.D. (2000) Zhitie Simeona Verkhotur'skogo (k izucheniyu literaturnogo tvorchestva Ignatiya Rimskogo-Korsakova) [Life of Simeon Verkhotur'sky (the study of literary works of I. Rimsky-Korsakov)]. In: Pokrovskiy, N.N. (ed.) *Istochniki po russkoy istorii i literature: srednevekov'e i novoe vremya* [Sources of Russian history and literature: Middle Ages and modern times]. Novosibirsk: SB RAS.

19. Pivovarov, B. (1997) Istoriya missionerskoy deyatelnosti Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi i sovremennost' [The history of the missionary activity of the Russian Orthodox Church and modernity]. *Missionerskoe obozrenie*. 1(15). pp. 20–23.

20. Veniamin (Blagonravov, V.A.). (1913) *Avtobiografiya vysokopreosvyashchennogo Veniamina, arkhiepiskopa Irkutskogo i Nerchinskogo* [The Autobiography of His Eminence Benjamin, the Archbishop of Irkutsk and Nerchinsk]. Irkutsk: Irkut. tsentr. Bratstvo.

21. Irkutsk Committee of the Orthodox Missionary Society. (1883) *Trudy pravoslavnykh missiy Vostochnoy Sibiri. Izdanie Irkutskogo komiteta pravoslavnogo missionerskogo obshchestva* [Proceedings of the Orthodox Mission in East Siberia. The publication of the Irkutsk Committee of the Orthodox Missionary Society]. V. 1. (1862–1867). Irkutsk.

22. Veniamin (Blagonravov, V.A.). (1913) *Pis'ma Veniamina, arkhiepiskopa Irkutskogo k Kazanskomu arkhiepiskopu Vladimiru (1862–1889 gg.)* [Letters of Benjamin, Archbishop of Irkutsk, to Kazan Archbishop Vladimir (1862–1889)]. Moscow: Imperial Society of Russian History and Antiquities of the Moscow University.

УДК 82.02
DOI 10.17223/19986645/37/13

Д.С. Туляков

УИНДЕМ ЛЬЮИС – КРИТИК МОДЕРНИЗМА

В статье анализируется эволюция критики писателя и художника У. Льюиса, который в 1910-е гг. формулирует эстетические принципы английского авангардного движения «вортицизм» по контрасту с другими живописными течениями, а к середине 1920-х гг. переходит к полемике с писателями-модернистами Э. Паундом, Дж. Джойсом и Т.С. Элиотом с позиции защитника визуальных ценностей. Подчеркивается релевантность авторской концепции модернизма как рефлексивного искусства уникальной новизны для современного исследователя.

Ключевые слова: Уиндем Льюис, модернизм, литературная критика, визуальность, английская литература.

Писатель и художник Уиндем Льюис (1882–1957), один из признанных классиков английского модернизма, с каждым годом привлекает внимание все большего числа исследователей. Если популярное и авторитетное тематическое исследование 1970-х гг. «Модернизм: 1890–1930 гг.» еще обходится без единого упоминания Льюиса [1], то в сегодняшних изданиях подобное вряд ли возможно. Его тексты читаются и переиздаются, к ним обращаются как в вводных пособиях по модернизму, так и в более углубленных исследованиях и специальных монографиях¹. Только в текущем году должны выйти два критических путеводителя по творчеству Льюиса², а в издательстве Оксфордского университета уже началась подготовка полного собрания его сочинений [3].

Одна из причин растущего интереса к Льюису состоит в актуальности его критических работ, что, на наш взгляд, обусловлено тремя главными факторами: совмещением в его критике точек зрения писателя и живописца; пристальным вниманием к взаимосвязи искусства и современности; критической оценкой как массовой, так и всей элитарной интеллектуальной культуры, создаваемой его, казалось бы, единомышленниками – современниками-модернистами.

Во-первых, следует отметить, что Льюис – уникальный для английского искусства первой половины XX в. художник, оставивший равное по значе-

¹ Например, Льюису уделяется значительное место во всех связанных с модернизмом пособиях из серии «Cambridge Companions», равно как и в других многочисленных коллективных трудах этой направленности. Библиографию монографий о Льюисе, вышедших до 2004 г., см. в работе [2. С. 167–172]. В отечественном литературоведении Льюис по-прежнему находится на периферии. Его тексты не переведены на русский язык, а его имя, насколько нам известно, упоминается лишь в небольшом количестве работ И.В. Кабановой, Т.Н. Красавченко, А.П. Саруханян, В.М. Толмачёва. Единственное крупное исследование Льюиса на русском языке – кандидатская диссертация С.С. Жуматовой о концепции личности в творчестве писателя.

² «Wyndham Lewis: A Critical Guide» под редакцией А. Гасьорека и Н. Уоддела и «The Cambridge Companion to Wyndham Lewis», подготовленный Т. Миллером.

нию живописное и литературное наследие¹. Известно, что в развитии европейского модернизма литература тесно переплеталась с изобразительным искусством и обращалась к его опыту в теории и на практике². Не случайно в литературоведческих, искусствоведческих и междисциплинарных исследованиях творчество художника часто анализируется на предмет взаимодействия вербального и визуального. Более того, работы Льюиса по эстетике открыто обращаются к вопросам смысловой наполненности, возможностей и специфики визуального образа. При этом он неоднократно подчеркивает, что, даже когда он пишет не о живописи, он отстаивает «позицию визуального, или пластического, сознания» [7. С. XIX] и берет за основу «философию зрения» [Там же. С. 392]. Таким образом, Льюис стоит особняком среди других английских модернистов, что позволяет ему взглянуть на их литературное творчество со стороны – с точки зрения не только писателя, но и живописца.

Во-вторых, критическое наследие Льюиса не только обширно, но и многогранно. Оно включает огромный пласт работ, посвященных искусству, культуре, политике и обществу. При том что именно нехудожественным книгам Льюис обязан своей испорченной репутацией и многолетним забвением³, многие из них представляют собой написанный восприимчивым и аналитически мыслящим художником точный анализ современного искусства, его философских и культурных предпосылок и условий существования.

Рефлексия Льюиса особенно актуальна в свете непрекращающейся дискуссии о модернизме. Сегодня это понятие, объединяя противоречащие друг другу характеристики⁴, не обладает содержательной завершенностью и четкими временными рамками, хотя в случае с англо-американской литературой, как правило, говорят о периоде с 1910-х до 1930-х гг. или середины XX в. Широко понятый модернизм «подразумевает реальный или воображаемый разрыв между прошлым и настоящим культуры, а также вытекающее из него переживание кризиса, который писатели попытались не только вскрыть, описать как трагедию, но и обратить, насколько возможно, в свою пользу» [11. С. 43]. Искусство модернизма – отклик на круто изменившуюся к началу XX в. действительность, «набор дискурсивных практик, которые вступали во взаимодействие с современностью различными способами», «выражают определенную степень неудовлетворения превалирующими унаследованными литературными условностями и пытаются их расширить, оспорить или раз-

¹ Обоснование этой оценки изложено в работе [4].

² В качестве примера можно привести манифесты и книги русских футуристов, интегративный концепт «нового видения» в немецком экспрессионизме, поэзию и статьи Э. Паунда и английских имажистов и мн. др. Обзор способов взаимодействия живописи и литературы на материале английского искусства начала XX в. с литературоведческой и искусствоведческой точки зрения см. в [5, 6].

³ В 1931 г. Льюис публикует книгу «Гитлер» («Hitler»), где выражает одобрение фашистскому диктатору и называет его «Человеком Мира». Несмотря на то что впоследствии он отречется от своей оценки исторической ситуации и выступит с опровержением своих прежних взглядов («The Hitler Cult and How it Will End», 1939), его репутации был нанесен непоправимый урон. Обвинения Льюиса в тоталитаристских политических убеждениях, далеко не беспочвенные, по-прежнему препятствуют разностороннему изучению его наследия [8].

⁴ Например, Р. Поттер указывает на такие антиномии английского модернизма, как традиция/инновация; элитарность/доступность; безличность/субъективность; хаотичность/порядок и др. [9. С. 7–14]. Для А. Гасьорека главные три оппозиции модернизма – это субъективизм/объективизм; отчаяние/оптимизм; актуальность прошлого/актуальность настоящего [10. С. 9, 11, 26].

рушить» [10. С. 2–3]. Столь ёмкое понимание модернизма приводит к тому, что его развитие часто видится не более чем «набором отметин, а не четко определенных исторических моментов» [12. С. 1]. В условиях расплывчатости и поливалентности термина особо значимым становится то, как сами модернисты воспринимали и обозначали специфику своего творчества.

Идентичность модернизма была задана тем, что его представители, принадлежа к одному или двум последовательным поколениям, создавали художественные и литературные объединения, были авторами и редакторами в «малых журналах», пытались отследить собственную генеалогию, составляли списки представительных текстов и имен, а также намечали черновики своей истории [13. С. 19–23]. Появляющиеся таким образом концепции не претендуют на научную полноту и заметно отличаются друг от друга. Акценты, которые расставляют, например, В. Вулф и Т.С. Элиот, могут не совпадать, однако стремление нащупать самую суть искусства нового времени было общим для самых разных авторов.

Когда Льюис пишет о современном искусстве «непреходящего порядка», призванном «привести в действие все человеческие способности – к чувству, размышлению, воображению и воле» [14. С. 12], он одновременно определяет его как продукт особого вида человеческой деятельности и предъявляет определенные требования к произведениям, которые могли бы войти в модернистский канон. В явном виде он сформулирован в автобиографии «Подрывник и бомбардир» («Blasting and Bombardiering», 1937), где Льюис из всех английских писателей выделяет себя, Э. Паунда, Дж. Джойса и Т.С. Элиота: «Я называю нас здесь “Мужчинами 1914 г.”. В Англии в интеллектуальной («highbrow») сфере не произошло ничего, что могло бы соревноваться с этими высокими достижениями до того, как появился Оден» [15. С. 252]. Единство этих английских модернистов задано, помимо связи с конкретным историческим моментом, тем, что они «представляют попытку уйти от романтического искусства к классическому искусству, от политической пропаганды к беспристрастности истинной литературы» [Там же]. Тем не менее, как будет показано далее, даже к перечисленным «привилегированным» авторам, и сегодня воспринимаемым как «костяк» англоязычного модернизма, Льюис отнеслся в высшей степени критично.

То, что в данном случае речь идет именно о модернизме, следует не только из употребления не самого распространенного на тот момент в англоязычной традиции термина «модернистский» для описания предвоенного искусства [Там же. С. 4]. В критике Льюиса постоянно акцентируется, что «создавать новую красоту, предоставлять новый материал, – вот очевидная задача любого искусства сегодня» [7. С. 91], ведь лишь о сегодняшнем дне «у нас, в конце концов, есть хоть какой-то шанс узнать что-то определенное» [14. С. 61]. Эта аксиологическая ориентация на новое искусство, соответствующее настоящему времени, делает Льюиса модернистом *par excellence*, по меньшей мере, в этимологическом значении этого слова (*модернизм* – от лат. *modernus* «новый, современный»). Мысль о том, что искусство не может быть оторвано от современности, проявляется также в стремлении Льюиса выйти за пределы сугубо эстетического измерения и определить, каков «этический и

политический статус» [14. С. 12] того или иного произведения, какая идеология за ним стоит.

В-третьих, критика Льюиса актуальна благодаря авторам – признанным классикам XX в. – и их произведениям, которые становились ее объектом. Разделяя искусство на массовое и интеллектуальное и, хоть и с оговорками, признавая превосходство последнего, Льюис тем не менее вступает с его представителями, своими крупнейшими современниками, в жесткую полемику. Одна из его задач состоит в разработке «системы определения современных подделок “революционного” типа», присутствующих в современном искусстве повсеместно [7. С. 91]. По мнению Льюиса, подобной фальшивкой были, например, публикации в парижском авангардном журнале *«транзишин»*, критике которых Льюис посвятил большую статью в одном из своих журналов. Его наиболее значительные критические книги – «Время и человек Запада» («Time and Western Man», 1927) и «Люди без искусства» («Men without Art», 1934) – правильнее назвать атакой: в первом случае на дягилевские балеты, Э. Паунда, Г. Стайн, Дж. Джойса; во втором – на Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Т.С. Элиота, В. Вулф. Критика Льюиса далека от нейтрального значения этого слова в составе понятия «литературная критика» и служит не только осмыслению модернизма, но и его разоблачению с характерным воинственным неприятием отдельных авторов и принципов их поэтики.

Перед тем как обратиться к литературной критике, с 1914 по середину 1920-х гг., Льюис выступает в печати с обсуждением более общих вопросов эстетики. Однако во всех подобных публикациях – в выпускавшихся им журналах «Бласт» («BLAST», 1914–1915) и «Тайро» («Tyro», 1921–1922), памфлете «Чертеж калифа» («The Caliph's Design», 1919) и серии статей о живописи – автор пишет практически только о современном европейском изобразительном искусстве и лишь вскользь упоминает литературу.

Реклама первого журнала обещала «обсуждение кубизма, футуризма, имажинизма и всех жизненно важных форм современного искусства», и хотя в действительности акцент был сделан на другом, здесь же провозглашенном английском художественном направлении – вортицизме, другие «измы» действительно фигурируют в первом номере в манифестах и «Вортексах и заметках» Льюиса [16. С. 25–53]. Намеченные здесь идеи развиваются в его статье «Обзор современного искусства», где футуризм, кубизм и экспрессионизм критически рассмотрены с целью «от противного» охарактеризовать эстетику вортицизма. Специфика вортицизма в том, что он не романтизирует измененную новыми технологиями современность, как футуризм; не имеет характера формального пластического эксперимента в жанре натюрморта или портрета, как кубизм; и не отказывается от материального мира в пользу изображения неопределенного «духовного» содержания, как экспрессионизм Кандинского [Там же. С. 58–77]. «Вортицист находится в точке максимальной энергии тогда, когда он неподвижен» [Там же. С. 53]; он призван воплотить свое видение современности, не растворившись ни в ней самой, ни в собственной субъективности. Эта «критическая рациональность» [17. С. 184]

не только провозглашается в статьях и манифестах Льюиса, но и органически входит в его вортицистское творчество¹.

Несмотря на то что предметом этой критики являлась живопись, целью вортицизма было создать новую эстетическую программу для искусства в широком смысле. Это следует как из манифестов, в которых не проводится разграничение между живописью и литературой, так и из того факта, что на страницах «Бласта» репродукции живописи и графики соседствуют с поэзией и прозой, а пьеса Льюиса «Враг звезд» из первого выпуска журнала, по признанию автора, должна была стать аналогом вортицистского визуального стиля [19. С. 139].

Повышенное внимание к изобразительному искусству в критике Льюиса середины 1910-х – начала 1920-х гг. отчасти объясняется его убеждением, что именно «революция в живописи за несколько предвоенных лет полностью достигла своей цели» [16. С. 116]. В то же время кардинальное обновление живописной эстетики не изолировано, и «на общий вопрос о том, каким будет искусство в ближайшее десятилетие или, скорее, будет ли оно иным, чем до войны, можно ответить прямо и определенно для всех видов искусства» [Там же. С. 113]. Автор считает, что возврат к эстетическим системам прошлого исключен, поскольку какой бы чудовищной ни была война, она не может в корне изменить «ни наше индустриальное общество, ни облик мира», т.е. ту современность, которой новое искусство обязано своим появлением на свет. Сразу же после ее окончания война представлялась Льюису не концом модернизма, а одним из средств самоопределения: «Нам, в ее огромной, бессмысленной тени, она напоминает горную цепь, внезапно выросшую и ставшую преградой, которую следует интерпретировать как указание нашего пути» [Там же. С. 195].

Льюис намечает основные черты «движения в живописи», или «современной живописи», в своей крупнейшей критической работе этого времени – послевоенной брошюре «Чертеж калифа». На его взгляд, такие художники, как Дерен, Матисс или Пикассо, «более или менее связаны одним временем и делом» [20. С. 12], а их картины демонстрируют, что «достаточно бесформенный натурализм импрессионизма эволюционировал в одновременно синтетические и конструктивные произведения» [Там же. С. 89]. Эта расплывчатая формулировка в дальнейшем не конкретизируется. Напротив, возможность действительного существования такого «в совершенстве сбалансированного и изумительно сложного движения» ставится под сомнение: ведь значительных современных художников мало и индивидуальность каждого из них противоречит любому коллективному начинанию [Там же. С. 90–91]. Для Льюиса художник всегда обладатель свободного творческого сознания, находящийся вне зависимости от течений, общепринятых норм или новых тенденций, но в тесном контакте с современностью.

¹ Т. Норманд отмечает, что в живописи Льюиса 1914–1915 гг. сложное сочетание черт, свойственных различным течениям, и их отрицание создавало «эстетическую дистанцию, которая заставляла зрителя осознать «инаковость» изображения и распознать в нем сатирические и дидактические функции» [18. С. 74]. Во многих картинах этого времени, помещающих искаженные, но узнаваемые человеческие фигуры в окружение угловатых геометрических форм, можно предположить критику дегуманизации и подавления человека в модернизированном обществе [4. С. 130–137].

Отсюда можно сделать вывод, что в понимании Льюиса живописный модернизм – это не институциональное, а концептуальное (и лишь относительно) единство художников, которым свойственно «конструктивное», а не подражательное в узком смысле отношение к современности как художественному материалу. В этом он близок многим современным трактовкам модернизма (в том числе процитированным выше), в которых для того, чтобы объединить широкий ряд разнородных явлений, этому термину дается намеренно широкое толкование.

Как и в «Бласте», в «Чертеже калифа» Льюис продолжает противопоставлять модернизму «в целом» (искусству, предлагающему в ответ на радикально изменившуюся действительность новаторские художественные формы) свой вариант этого «движения». На этот раз он не только пишет о необходимости обращения к материалу современности, который должен быть преобразован, чтобы приобрести новый смысл, но и требует гораздо более тесного взаимодействия между художником и действительностью: «*Нужно вывести Живопись, Скульптуру и Дизайн из мастерской в жизнь так или иначе, чтобы эта новая жизненная сила не иссушилась в яме неорганического экспериментаторства*» [Там же. С. 57–58] и вернулась обратно в мастерскую обновленной и насыщенной [Там же. С. 12]. В 1939 г. в примечании к переизданию брошюры Льюис писал, что «Чертеж калифа» «был еще одним “Бластом”», продолжавшим критику первых двух номеров, а его авангардный порыв к переустройству послевоенной действительности якобы стал «одним из главных источников вдохновения для самой модернистской архитектуры в Великобритании» [16. С. 129]. Так это или нет, использованный здесь ретроспективно термин «modernist»¹ точно отражает характерную для художника фиксацию на искусстве, укорененном в современности, и обладает значением, близким к сегодняшнему словоупотреблению.

Наиболее значительные работы о литературе Льюис пишет в десятилетие, начинающееся приблизительно с середины 1920-х гг. Для критики данного периода характерно, с одной стороны, смещение фокуса с живописи на литературу и, с другой стороны, кардинальное расширение предмета анализа. В это время Льюис печатает две упомянутые выше книги философско-литературной критики, выступает редактором и автором большинства материалов трех номеров журнала «Энеми» («*The Enemy*», 1927–1929), а также выпускает огромное количество книг, посвященных разным аспектам общества, политики и культуры². В противовес активной вовлеченности в художественную жизнь довоенного Лондона он на какое-то время полностью исчезает из вида и, по его собственному выражению, «уходит в подполье» [15. С. 211]. В это же время Льюис максимально дистанцируется от современного

¹ В незначительно измененной версии «Чертежа калифа» 1939 г. Льюис также упоминает «выставку французских модернистских картин» [16. С. 143], которая в оригинальном тексте была названа просто «французской выставкой на Тоттенхем корт роуд» [20. С. 39]. Судя по письму Льюиса, в число показанных на выставке модернистов входили Модильяни, Вламаник, Матисс, Пикассо и др. [Там же. С. 170–171].

² Фрагменты некоторых из них («Paleface», 1929; «The Diabolical Principle and the Dithyrambic Spectator», 1931) и «Времени и человека Запада» первоначально печатались в «Энеми». В это же время Льюис пишет монографию о Шекспире («The Lion and the Fox: The Rôle of the Hero in the Plays of Shakespeare», 1926), несколько романов и автобиографию.

искусства, объединенного схожими новаторскими исходными установками, но в силу разных причин утратившего, на его взгляд, актуальность¹.

К 1927 г. Льюис четко формулирует для себя задачу критического переосмысления современного искусства, в том числе своего собственного: «На протяжении нескольких лет я чувствовал, что едва ли где-то требуется более безжалостная переформулировка всей “революционной” позиции, чем в моей специфической области – искусстве и литературе» [7. С. 22]. Ставя «революционность» некоего искусства в кавычки, Льюис отделяет его от настоящей революции в искусстве, которая, по его мнению, практически сошла на нет после Первой мировой войны. Разница между ними в том, что в первом случае «оригинальная и экспериментальная манера» произведения интерпретируется лишь как рекламный трюк или следование модной тенденции, а во втором случае она действительно выражает «существенно новое и особенное сознание» художника [Там же. С. 122]. Естественно, что при разделении искусства на истинно и ложно новое Льюис обращается к текстам признанных сегодня модернистов, в том числе Паунда, Джойса и Элиота. Удивляет, скорее, насколько безоговорочно он отказывается увидеть ценность даже в их творчестве.

Во «Времени и человеке Запада» Льюис предлагает концепцию, которая, как ему кажется, вскрывает философскую и идеологическую подоплеку «”продвинутой” – т.е. единственной значимой – современной литературы» [7. С. 22]. По мнению автора, в ее основе лежит «Время», а точнее, крайне неблагоприятный «культ времени» (*time cult*), который требует «критики... временной с позиции визуального, или пластического сознания» [Там же. С. XIX]. Последнее выражает ценности льюисовской версии модернизма, т.е. такого искусства, которое «на какое-то время удаляет бытие от жизни» [16. С. 116] и позволяет взглянуть на мир обособленно от «действия, несовместимого с рефлексией, неспособного к созерцанию» [7. С. 389]². «Культ времени», напротив, абсолютизирует идентификацию субъекта с воспринимаемыми им и постоянно изменяющимися феноменами, лишенными пространственной цельности и внутреннего единства: «Толпа спешащих форм, временная совокупность должна заменить вещь, обладающую одним временем и пространственной глубиной, встать на место единого объекта» [Там же. С. 172]. Подобная философия не может привести в искусство ничего, кроме «экстатической пропаганды, погружений в космические течения потока времени, чудодейственных таинств, ритуалов богов времени и бездыханных трансформаций» [Там же. С. 110]. Поэтому она представляет опасность как для искусства, которое рискует превратиться в механическую, мистифицированную и идеологически уязвимую ретрансляцию субъективных переживаний, лишенную всякого критического потенциала, так и для художника или

¹ П. Эдвардс считает, что культурная критика Льюиса одновременно продолжала расчищать пространство для перспективных форм модернизма и была его попыткой найти и проанализировать причины поражения в Англии европейского живописного авангарда, представленного его собственным творчеством [21].

² По точному замечанию Ф. Джеймсона, пластическая эстетика Льюиса выходит за пределы эстетики и «пытается оправдать его огромную и широкомасштабную критику культуры в категориях защиты прав визуальности и практики художника» [22. С. 18].

писателя, размывающего вместе с «чистотой очертаний, пластической красотой вещей» вокруг себя контуры собственной индивидуальности [7. С. 167].

Льюис мотивирует свою критику литературного модернизма признанием превосходства, во-первых, ценностей «пластического сознания» над «философией времени» и, во-вторых, искусства уникальной современности и новизны над творческой переработкой форм и традиций прошлого. Так, Паунд осуждается им за поворот от вортицистских идеалов, берущих начало в визуальном искусстве, к музыке, а именно за продвижение американского композитора Дж. Антейла. По мнению Льюиса, этот шаг свидетельствует о том, что Паунд ставит бесформенность чувственно воспринимаемой музыки выше его собственного идеала пластичности. Более того, так как Паунд обращает внимание на музыку только тогда, когда «в отношении революционной шумихи от пластических или графических искусств было уже нечего добиться» [Там же. С. 39], он обвиняется также в уступке поверхностной «революционной» моде и отсутствии последовательной творческой позиции. Разумеется, Льюис не может оставить без критики и богатое обращение Паунда к искусству прошлого (например, к античной и ренессансной традициям), называет его одержимым «туристом во времени» («time-trotter») и упрекает Паунда в том, что он лишен индивидуальности и «неспособен иметь дело ни с каким живым материалом» [Там же. С. 69].

Джойс демонстрирует не меньшую зависимость от поработавшего «Прошлого» в «Улиссе», который напоминает Льюису «невообразимый набор подержанных безделушек», «плотную массу мертвого хлама», «замкнутое психологическое пространство, в которое были вывалены несколько энциклопедий», «презрительный катафалк викторианского мира» и т.п. [Там же. С. 89–90]. Главный упрек Льюиса Джойсу состоит даже не в том, что он несовременен, а в том, что он лишь исполнитель, «ремесленник», а не творец нового и изобретатель. Его увлечение *«тем, как делаются вещи»*, техническими процессами, а не тем, *что должно быть сделано*» [Там же. С. 88], приводят к тому, что «Улисс», при всей виртуозности своего создателя, не более чем «громоздкое упражнение в стиле» [Там же. С. 74]. Поскольку «технические авантюры, очевидно, не стимулируют в нем мышление» [Там же. С. 90], Джойс со своей гипертрофированной пассивной восприимчивостью становится инструментом, неосознанно запрограммированным политикой и чуждой ему идеологией. Как и Паунд, Джойс не творец, а лишь посредник. Чтобы указать на это, Льюис прибегает к метафоре чувства зрения, критикуя в Джойсе «неспособность к наблюдению напрямую, привычку всегда смотреть на людей глазами других людей, а не собственными» [Там же. С. 99]. По Льюису, индивидуальное и творческое видение доступно лишь художнику, который ориентирован на пространственную четкость и определенность очертаний объективного мира, но не стремится механически подражать ему. Техника Джойса, напротив, страдает «фанатичным натурализмом», уже преодоленным, «к счастью для чистого творческого импульса художника» [Там же. С. 90] в изобразительном искусстве, а его метод потока сознания – тот же одержимый натурализм, только направленный вовнутрь – «фотография дезорганизованного сновидения сознания в словах» [Там же. С. 102].

В отличие от Паунда и Джойса, Элиот интересует Льюиса не как поэт, а как авторитетный литературный критик и автор влиятельной имперсональной теории поэзии. Категорическое отрицание искусства, основанного на изолированном субъективизме, не позволило Льюису критиковать Элиота за несоблюдение требований пластической определенности образа. Более того, когда в 1930-е гг. Льюис выдвигает в качестве альтернативы модернизму с «философией времени» в основании свой вариант сатиры, основывающийся на поэтике поверхности – «внешнем подходе» и «визуальном обращении» [14. С. 95] с материалом, продиктованном «свидетельствами глаза, а не более эмоциональных органов чувств» [Там же. С. 103], он удивительно близок Элиоту.¹ Что Льюис предсказуемо не принимает, так это отношение, в котором, согласно Элиоту, автор находится к истории своего искусства и к своему творению. Льюис всегда настаивает, что сегодня уже «больше невозможно подпитываться Прошлым; его запасы истощены, Прошлое повсюду утратило реальность» [7. С. 81]. Поэтому убеждение Элиота, что «поэт должен развивать или сохранять в себе чувство прошлого и совершенствовать его на протяжении всей своей творческой деятельности» [24. С. 198] и что «чувство истории побуждает человека творить» [Там же. С. 196], кажется ему абсурдным предубеждением против современности [14. С. 61]. Теория имперсональности также односторонне трактуется как «догматическая враждебность к индивидуальности» [Там же. С. 66], а подразумеваемая ею независимость произведения от убеждений автора логически ведет к реанимации эстетики «искусства для искусства», против которой должен быть направлен модернизм в понимании Льюиса. Для него личность, понятая не как «незрелый индивид, вопящий о “выражении” себя любой ценой», а как «постоянство и последовательность в бытии, настолько, насколько это возможно, *одной сущностью* – в мире с собой, если не с внешней действительностью» [Там же. С. 62], предпочтительна намеренно создаваемой в искусстве иллюзии отсутствия индивидуальности.

Итак, критикуя «Мужчин 1914 г.», Льюис развивает свою концепцию модернизма по контрасту с творчеством самых значительных, на его взгляд, писателей-модернистов. Подобная стратегия уже использовалась им в журнале «Бласт» и в целом достаточно типична для авангардной полемики. Тем не менее критика Льюиса 1920–1930-х гг. примечательна не только резкостью (и предвзятостью) суждений, тонкими наблюдениями и неповторимым стилем². Важно, что задуманный Льюисом пересмотр «“революционной” по-

¹ Ср. в эссе Элиота о Бене Джонсоне: «...поверхность Джонсона основательна. Она такова, какова есть, она не претендует на то, чтобы казаться чем-то другим. <...> Нельзя назвать произведение автора поверхностным, если он создает мир, нельзя обвинить автора в поверхностном обращении с миром, который он сам создал; поверхность – это мир» [23. С. 236].

² Практически все исследователи сходятся в том, что «суждения Льюиса остры, пронизательны, остроумны» [25. С. 109]. У. Причард видит особенность авторского критического стиля в «помещении предмета в центр творческой фантазии вместо последовательного и добросовестного обсуждения книги за книгой» [26. С. 206]. А. Гасьорек отмечает, что Льюис предвзят в обсуждении Джойса, в котором игнорируется тенденция «Улисса» к специализации, проявляющаяся в обращении к мифу, и что в его критике (например, журнала «*транзишн*») нередко политическая мотивировка выдается за эстетическую [27. С. 42–46]. Д. Браун говорит о неправомерности сопоставления эстетики Льюиса и Паунда на основаниях, предлагаемых первым автором [26. С. 78]. Д. П. Корбетт приходит к выводу,

зиции» в искусстве не может касаться только других писателей и художников, не затрагивая его самого как одну из центральных фигур английского авангарда. Льюис отдает себе в этом отчет и поэтому стремится представить корректировку своей точки зрения лишь как разрыв связей со своими в прошлом единомышленниками (на примере Паунда), а не как переосмысление своей позиции по отношению к модернизму по существу.

Между эстетическими ориентирами Льюиса времени вортицизма и периодом 1920–1930-х гг. действительно есть преемственность, которая отражает самую суть его критики других модернистов. Так, Льюис постоянно подчеркивает, что «в искусстве революционный импульс индивидуален» [7. С. 25], и критикует Паунда, Джойса и Элиота за то, что воспринимается им как разные формы подавления независимого и творческого сознания личности исторической традицией, эксцессами психологизма, модой на «революционность» или псевдонаучной деперсонализацией. Этим он вторит своей же ранней характеристике вортицизма как движения, которое «обращается к личностям» и «представляет искусство Личностей [*Individuals*]» [16. С. 26].

В то же время несомненно, что в 1920-е гг. отношение Льюиса к современности и модернизму меняется, на что, в частности, указывает появление его масштабной критики культуры, в которой обсуждение литературы и искусства было лишь одной, пусть и важнейшей, составляющей. В «Чертеже калифа» приоритет искусства, способного выйти на улицу и изменить окружающую действительность к лучшему, над критикой очевиден – «пропаганда, объяснительные брошюры и все остальное, чем мы в этой стране вынуждены заниматься», лишь отвлекает художника от работы и отнимает его время [20. С. 39]. Позднее «радикальный анализ идей, в соответствии с которыми наше общество выучено жить» [29. С. 49], а в отношении литературы – построение «критического организма, составленного из самого живого материала наблюдаемых фактов, который мог бы служить союзником новых творческих усилий» [7. С. 116], становится для Льюиса не менее важным, чем создание художественных произведений. Эта критика ценна тем, что в ней как ни в одном другом документе эпохи соединились настойчивая приверженность глубоко и индивидуально понятым ценностям модернизма, пронизывающий анализ более широкого модернистского канона через их призму и неявное признание частичного поражения того новаторского творческого начала, во имя которого она и была создана.

Литература

1. *Modernism: 1890–1930* / ed. by M. Bradbury, J. McFarlane. Harmondsworth : Penguin, 1976. 684 p.
2. *Gąsiorek A.* Wyndham Lewis and Modernism. Tavistock : Northcote House, 2004. 175 p.
3. *The Wyndham Lewis Society.* Collected Writings: Wyndham Lewis. URL: <http://www.wyndhamlewis.org/edition>
4. *Edwards P.* Wyndham Lewis: Painter and Writer. Yale : Yale University Press, 2000. 583 p.
5. *Dasenbrock R.W.* The Literary Vorticism of Ezra Pound and Wyndham Lewis: Towards the Condition of Painting. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985. 271 p.

что позиция Льюиса во «Времени и человеке запада» обусловлена его отношением к собственному прошлому, а не только анализом эстетических или культурных факторов [28. С. 119].

6. Corbett D.P. The Aesthetic of Materiality: English Modernism before 1914 // Corbett D.P. The World in Paint: Modern Art and Visuality in England, 1848–1914. University Park : Pennsylvania State University Press, 2004. P. 215–260.
7. Lewis W. Time and Western Man. Santa Rosa : Black Sparrow Press, 1993. 617 p.
8. Phillips I. In His Bad Books: Wyndham Lewis and Fascism // Journal of Wyndham Lewis Studies. 2011. №2. P. 105–134.
9. Potter R. Modernist Literature. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2012. 265 p.
10. Gąsiorek A. A History of Modernist Literature. Chichester : Wiley Blackwell, 2015. 624 p.
11. Толмачёв В.М. Глава 1. Где искать XX век? // Зарубежная литература XX века: в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века / под ред. В. М. Толмачёва. 2-е изд. М.: Юрайт, 2015. С. 16–72.
12. Nicholls P. Modernisms: A Literary Guide. 2nd ed. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. 406 p.
13. Whitworth M.H. Introduction // Modernism / ed. by M.H. Whitworth. Malden : Blackwell Pub., 2007. P. 3–60.
14. Lewis W. Men without Art. Santa Rosa : Black Sparrow Press, 1987. 325 p.
15. Lewis W. Blasting and Bombardiering. L. : Eyre & Spottiswoode, 1937. 312 p.
16. Wyndham Lewis on Art / ed. by W. Michel, C.J. Fox. N.Y.: Funk & Wagnalls, 1969. 480 p.
17. Wragg D.A. Aggression, Aesthetics, Modernity: Wyndham Lewis and the Fate of Art // Wyndham Lewis and the Art of Modern War / ed. by D.P. Corbett. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. P. 181–210.
18. Normand T. Wyndham Lewis the Artist: Holding the Mirror up to Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 230 p.
19. Lewis W. Rude Assignment: An Intellectual Autobiography. Santa Barbara: Black Sparrow Press, 1984. 311 p.
20. Lewis W. The Caliph's Design: Architects! Where is your Vortex? Santa Barbara : Black Sparrow Press, 1986. 183 p.
21. Edwards P. Cultural Criticism at the Margins: Wyndham Lewis, *The Tyro* (1920–1), and *The Enemy* (1927–9) // The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines / ed. by P. Brooker, A. Thacker. N. Y.: Oxford University Press, 2008. P. 552–569.
22. Jameson F. Fables of Aggression: Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist. Berkeley : University of California Press, 1979. 190 p.
23. Элиот Т.С. Бен Джонсон / пер. Т.Н. Красавченко // Элиот Т.С. Бесплодная земля. М., 2014. С. 228–239.
24. Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант / пер. Т.Н. Красавченко // Элиот Т.С. Бесплодная земля. М., 2014. С. 195–202.
25. Красавченко, Т.Н. Английская литературная критика XX века. М. : РАН ИНИОН, 1994. 282 с.
26. Prichard W.H. Literary Criticism as Satire // Wyndham Lewis: A Revaluation / ed. by J. Meyers. Montreal : McGill-Queen's University Press, 1980. P. 196–210.
27. Brown D. Intertextual Dynamics within the Literary Group – Joyce, Lewis, Pound and Eliot. Basingstoke : Macmillan, 1990. 227 p.
28. Corbett D.P. History, Art and Theory in *Time and Western Man* / Volcanic Heaven: Volcanic Heaven : Essays on Wyndham Lewis's Painting & Writing / ed. by P. Edwards. Santa Rosa : Black Sparrow Press, 1996. P. 103–122.
29. Lewis W. Diabolical Principle // The Enemy: A Review of Art and Literature. 1929. № 3. P. 9–84.

WYNDHAM LEWIS THE CRITIC OF MODERNISM.

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY, 2015, 3(37), pp. 172–184.

DOI 10.17223/19986645/37/13

Tulyakov Dmitry S., Perm Branch of the Higher School of Economics (Perm, Russian Federation).

E-mail: dstuliakov@hse.ru

Keywords: Wyndham Lewis; modernism; literary criticism; visuality; English literature.

The essay draws on Wyndham Lewis's literary criticism written in response to some of the major modernist writers between the late 1920s and mid-1930s, which is considered here both as development of his initial critical writings about modern painting and as evidence of a change in his evaluation of the whole modernist practice.

The argument begins by outlining three reasons that make Lewis's critical oeuvre a valuable object of modernist studies. Firstly, Lewis is a critic who, even in his literary criticism, continuously maintains the point of view of a visual artist, providing commentary upon the significance of the visual in modernist writing, a feature strikingly illustrated in his own fiction. Secondly, Lewis's criticism thoughtfully and revealingly puts the artist in a specifically modernist position towards modernity, demanding from the former both engagement with and critical distance from the latter. Thirdly, Lewis merits attention by virtue of much better known modernist writers, such as Ezra Pound, James Joyce, and T.S. Eliot, whom he relentlessly criticizes on a number of grounds, offering a uniquely perceptive (if not always fair) first-hand account of their work.

In his early art criticism Lewis was mostly concerned with the limitations he saw in European avant-garde painting, which he considered a challenge to be overcome by truly modern English art, of both visual and verbal kind. If modernist painting at large is defined as a thoroughly grounded in modernity constructive response to overwhelming Impressionist mimesis, Vorticism as the most viable form of modernism is supposed to avoid the dangers (including that of romanticizing modern industrial conditions, limiting oneself to pointless experimentation, or retreating from modernity into purely subjective vision) the artist going in this direction faces. This criticism with the aim of self-identification emphasizes, above all, the transformative power that modernist art should gain from the type of detached engagement with modernity proposed for it.

Lewis's literary criticism, being part of an ambitious project of all-grasping cultural criticism, clearly follows the same oppositional strategy, but with even a bigger determination to distance oneself from "advanced" literature in the post-World War I world. Lewis interprets work of Pound, Joyce and Eliot as different forms of betrayal of two fundamental principles that form the basis of his conception of modernism, namely that, just like visual art, in order to be creative, modernist literature has to deal with the present rather than the past and be an expression, rather than suppression (voluntary or involuntary), of the individual. At the same time, the centrality that criticism gains in Lewis's output since the late 1920s indicates his not at first overt reevaluation of the modernist enterprise as it reflects at least a partial failure of creative (as opposed to critical) intelligence in whose name it was created in the first place.

References

1. Bradbury, M. & McFarlane, J. (eds) (1976) *Modernism: 1890–1930*. Harmondsworth: Penguin.
2. Gałsiorek, A. (2004) *Wyndham Lewis and Modernism*. Tavistock: Northcote House.
3. The Wyndham Lewis Society. (c. 2014) *Collected Writings: Wyndham Lewis*. [Online]. Available from: <http://www.wyndhamlewis.org/edition>.
4. Edwards, P. (2000) *Wyndham Lewis: Painter and Writer*. Yale: Yale University Press.
5. Dasenbrock, R.W. (1985) *The Literary Vorticism of Ezra Pound and Wyndham Lewis: Towards the Condition of Painting*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
6. Corbett, D.P. (2004) The Aesthetic of Materiality: English Modernism before 1914. In: Corbett, D.P. *The World in Paint: Modern Art and Visuality in England, 1848–1914*. University Park: Pennsylvania State University Press.
7. Lewis, W. (1993) *Time and Western Man*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
8. Phillips, I. (2011) In His Bad Books: Wyndham Lewis and Fascism. *Journal of Wyndham Lewis Studies*. 2. pp. 105–134.
9. Potter, R. (2012) *Modernist Literature*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
10. Gałsiorek, A.A. (2015) *History of Modernist Literature*. Chichester: Wiley Blackwell.
11. Tolmachev, V.M. (2015) Glava 1. Gde iskat' XX vek? [Chapter 1: Where to look for the 20th century?]. In: Tolmachev, V.M. (ed.) *Zarubezhnaya literatura XX veka: v 2 t.* [Foreign literature of the 20th century: in 2 v.]. V. 1. 2nd ed. Moscow: Yurayt.
12. Nicholls, P. (2009) *Modernisms: A Literary Guide*. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan.
13. Whitworth, M.H. (2007) Introduction. In: Whitworth, M.H. (ed.) *Modernism*. Malden: Blackwell Pub.
14. Lewis, W. (1987) *Men without Art*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
15. Lewis, W. (1937) *Blasting and Bombardiering*. London: Eyre & Spottiswoode.
16. Michel, W. & Fox, C.J. (eds) (1969) *Wyndham Lewis on Art*. New York: Funk & Wagnalls.
17. Wragg, D.A. (1998) Aggression, Aesthetics, Modernity: Wyndham Lewis and the Fate of Art. In: Corbett, D.P. (ED.) *Wyndham Lewis and the Art of Modern War*. Cambridge: Cambridge University Press.

18. Normand, T. (1992) *Wyndham Lewis the Artist: Holding the Mirror up to Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
19. Lewis, W. (1984) *Rude Assignment: An Intellectual Autobiography*. Santa Barbara: Black Sparrow Press.
20. Lewis, W. (1986) *The Caliph's Design: Architects! Where is your Vortex?* Santa Barbara: Black Sparrow Press.
21. Edwards, P. (2008) Cultural Criticism at the Margins: Wyndham Lewis, The Tyro (1920–1), and The Enemy (1927–9). In: Brooker, P. & Thacker, A. (eds) *The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines*. New York: Oxford University Press.
22. Jameson, F. (1979) *Fables of Aggression: Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist*. Berkeley: University of California Press.
23. Eliot, T.S. (2014) Ben Dzhonson [Ben Johnson]. In: Eliot, T.S. *Besplodnaya zemlya* [The Waste Land]. Translated from English by T.N. Krasavchenko. Moscow: Lodomir; Nauka.
24. Eliot, T.S. (2014) Traditsiya i individual'nyy talant [Tradition and the Individual Talent]. In: Eliot, T.S. *Besplodnaya zemlya* [The Waste Land]. Translated from English by T.N. Krasavchenko. Moscow: Lodomir; Nauka.
25. Krasavchenko, T.N. (1994) *Angliyskaya literaturnaya kritika XX veka* [English literary criticism of the 20th century]. Moscow: RAN INION.
26. Prichard, W.H. (1980) Literary Criticism as Satire. In: Meyers, J. (ed.) *Wyndham Lewis: A Revaluation*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
27. Brown, D. (1990) *Intertextual Dynamics within the Literary Group – Joyce, Lewis, Pound and Eliot*. Basingstoke: Macmillan.
28. Corbett, D.P. (1996) History, Art and Theory in Time and Western Man. In: Edwards, P. (ed.) *Volcanic Heaven: Volcanic Heaven: Essays on Wyndham Lewis's Painting & Writing*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
29. Lewis, W. (1929) Diabolical Principle. *The Enemy: A Review of Art and Literature*. 3. pp. 9–84.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЙЗИКОВА Ирина Александровна – д-р филол. наук, зав. кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.
E-mail: wand2004@mail.ru

АЛЕКСЕЕВА Алина Алексеевна – канд. филол. наук, ассистент кафедры истории культуры Новосибирского государственного университета.
E-mail: alina.alexeeva@gmail.com

АНТИПОВ Александр Геннадьевич – д-р филол. наук, профессор кафедры стилистики и риторики Кемеровского государственного университета.
E-mail: sante3@yandex.ru

БАРКОВИЧ Александр Аркадьевич – канд. филол. наук, доцент кафедры прикладной лингвистики Белорусского государственного университета (г. Минск, Белоруссия).
E-mail: albark@tut.by

БЛОХИНСКАЯ Алёна Владимировна – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры русского языка Амурского государственного университета (г. Благовещенск).
E-mail: avblokhinskaya@mail.ru

КОЛОКОЛОВА Лидия Петровна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, стилистики и журналистики Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
E-mail: kollidia@rambler.ru

КОСТЕЦКАЯ Екатерина Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры истории, философии, культурологии и методик преподавания филиала Тюменского государственного университета в г.Тобольске.
E-mail: katerinavb@yandex.ru

МЕЛЬНИКОВА Софья Владимировна – канд. филол. наук, гл. науч. сотр. Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.
E-mail: memuaristika@yandex.ru

МЕРКУЛОВА Эдита Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Нижегородского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
E-mail: edmerk@inbox.ru / emerkulova@hse.ru

НЕСТЕРОВА Наталья Георгиевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: nesterovatomsk@rambler.ru

ОРЛОВА Наталья Васильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
E-mail: nvorl@rambler.ru

ТУБАЛОВА Инна Витальевна – канд. филол. наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: tina09@inbox.ru

ТУЛЯКОВ Дмитрий Сергеевич – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
E-mail: dstuliakov@hse.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами переписку по методике написания и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2015. № 5(37)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Каптур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 02.11. 2015 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 11,75; усл. печ. л. 16,45; уч.-изд. л. 16,25.

Тираж 500 экз. Заказ 1329.

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru